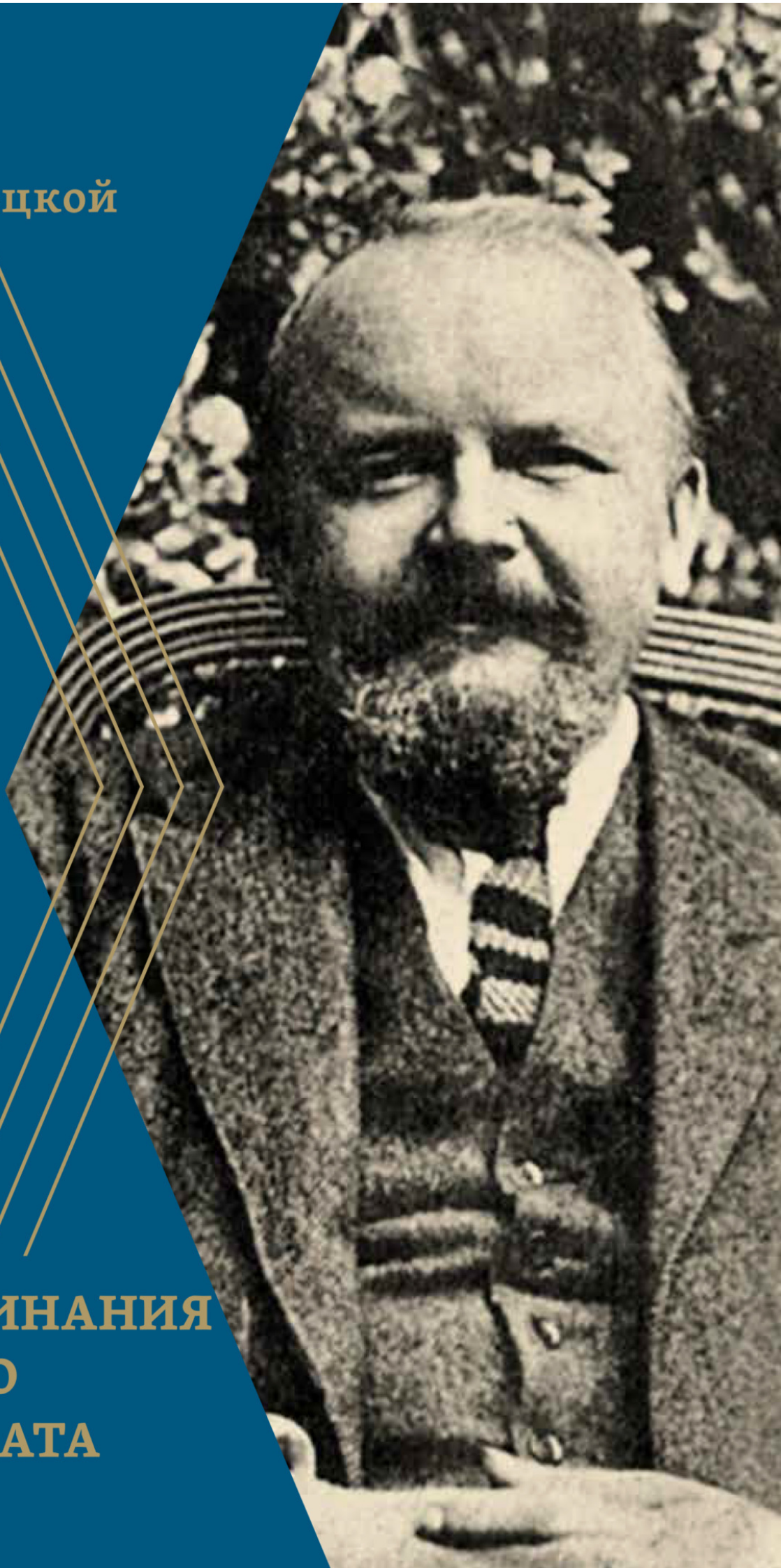


Г. Н. Трубецкой

ВОСПОМИНАНИЯ
РУССКОГО
ДИПЛОМАТА



Григорий Трубецкой

Воспоминания русского дипломата

Издательство «Кучково поле»

2020

УДК 94 (47)
ББК 63.3(2)

Трубецкой Г. Н.

Воспоминания русского дипломата / Г. Н. Трубецкой —
Издательство «Кучково поле», 2020

ISBN 978-5-907171-13-8

Автор воспоминаний – дипломат и известный публицист князь Григорий Николаевич Трубецкой. Его воспоминания охватывают период с 1914 по 1920 год. Во время Первой мировой войны он был русским посланником в Сербии, где имел возможность наблюдать внутреннюю жизнь Сербии в условиях войны, обстановку в правительственных кругах, в армии, в народных массах. После революции он стал одним из руководителей подпольного Правого центра, а затем и видным белым политиком на Юге России. Эта книга – своеобразный синтез воспоминаний и историко-дипломатического исследования. Воспоминания Г. Н. Трубецкого впервые публикуются на его родине и впервые – в полном объеме. Текст сопровождается предисловием, подробными комментариями, научно-справочным аппаратом и др. В формате PDF А4 сохранен издательский макет.

УДК 94 (47)

ББК 63.3(2)

ISBN 978-5-907171-13-8

© Трубецкой Г. Н., 2020

© Издательство «Кучково поле», 2020

Содержание

Россия на переломе глазами дипломата	6
Памяти кн. Г. Н. Трубецкого[29]	16
Облики прошлого	18
Семья моего отца	19
Семья моей матери	29
Дядя Сережа	37
Мои родители	52
Папа	53
Мама́	58
Калуга	64
Наши друзья	74
Гимназия	83
Калужское общество	85
Сергиевское[109]	89
Брат Сережа	91
Москва. Пресня	96
Московский университет (1892–1896 годы)	117
Конец ознакомительного фрагмента.	132
Комментарии	

Григорий Трубецкой

Воспоминания русского дипломата

© Заика-Войвод Е. С, текст воспоминаний, 2020

© Залесский К. А., вступит. ст., коммент., 2020

© 000 Издательство «Кучково поле», оригинал-макет, издание, 2020

Россия на переломе глазами дипломата

Выход в России полных мемуаров князя Григория Николаевича Трубецкого – событие, переоценить которое невозможно. Блестящий русский дипломат, талантливый публицист и общественный деятель, член подпольной антибольшевистской организации, член белого правительства, активный участник православного движения... Все это об одном и том же человеке. Если бы он проявил свои таланты лишь на одном из этих поприщ, то этого уже было бы достаточно, чтобы заинтересоваться его мемуарами! Впечатления и оценка непосредственного свидетеля и участника событий, потрясших Россию (и весь мир) на переломе эпох – в конце XIX – начале XX века – бесценны. А если к этому добавить, что в князе Трубецком счастливо сочетались административный талант государственного деятеля, пылкий ум высокообразованного человека, крепкая вера в Бога и блестящее владение русским языком, то можно понять, почему представленные в этой книге мемуары занимают особое место среди литературы, которую в России не совсем правильно принято называть эмигрантской.

Когда почти 40 лет назад, в 1981 году, в Канаде сын Григория Николаевича готовил к изданию одну из частей данной книги («Годы смут и надежд»), он обратился к русскому писателю и мыслителю Александру Исаевичу Солженицину с просьбой написать небольшое вступление. И сегодня мы должны признать: в такой короткой заметке сложно настолько четко дать характеристику воспоминаниям. Александр Исаевич написал: *«Все воспоминания Вашего отца всегда очень интересно читаются, и также читал я нынешнюю рукопись. <...> Записки, написанные привременно, в 1919, часть документов 1918, – очень высокой ценности. Первичная добротность изложения видного деятеля того времени. Как свойственно Григорию Николаевичу – высокий уровень понимания и изложения проблем, четкая политическая и бытовая обстановка, четкие образы исторических деятелей. Много дают для общего понимания гражданской войны, Добровольческой армии, казачества, союзников и чудесные картинки помещичьего быта 1918 года. С изданием этих записок уже опоздано на 60 лет, и я желал бы ему успеха»¹.*

Было бы некорректно со стороны издательства опустить и помещенное в той же книге вступление «От издательства», которое было написано сыном князя Трубецкого Михаилом Григорьевичем. Оно не было помещено в основной текст, поскольку несколько выбивалось из общего стиля, но ничто не мешает привести его здесь, во вступлении, прежде чем перейти непосредственно к личности Г. Н. Трубецкого.

«Согласно традициям мемуары или воспоминания публикуются либо при жизни автора, либо 100 лет спустя. Но за это время столько произошло бурных перемен в жизни рядового человека в любой стране мира, что наш век может быть свободно удвоен.

Иначе говоря, 60 лет, которые нас отделяют от этих воспоминаний, спокойно могут считаться столетней давностью.

Я очень благодарен А. И. Солженицину за его предисловие. Оно доказывает, что как бы нас не делили на три волны, – мы все же дети того же народа.

Записки моего отца начинаются с ноября 1917 года. В это время происходили выборы патриарха, в которых мой отец принимал деятельное участие, и его речь в Соборе была решительной для восстановления патриаршего престола.

Ввиду этого я дополняю его воспоминания о Добровольческой армии его речью в Соборе и прилагаю маленькую статью, написанную им уже в 1924 году, о том, как эти выборы происходили.

¹ Трубецкой Г. Н. Годы смут и надежд. 1917-1919 гг. Монреаль, 1981. С. 5. – Здесь и далее примечания автора статьи, если не указано иное.

Иногда в газетах появляются статьи об ужасном и недопустимом отношении Франции к Добровольческой армии. Об этих отношениях пишет и мой отец, вопрос, который дополняется брошюрой, изданной «совершенно секретно» в Екатеринодаре в мае 1919 года: «Очерк взаимоотношений Вооруженных сил Юга России и представителей французского командования». Очерк предназначался для членов Особого совещания, экземпляр моего отца, возможно, является единственнымцелевым.

Не может русский человек его прочесть без великого негодования и возмущения. Этот очерк является очень ценным историческим документом. Ввиду этого я его перепечатаваю, как и другие документы, точно так, как они были написаны, с сохранением старой орфографии, в то время как воспоминания моего отца были, к сожалению, уже перепечатаны по новой орфографии. В данное время все издательства «затоварены» и новые книги издаются с трудом. Поэтому я решил приняться за дело самостоятельно и восстановить в память моего отца книгоиздательство «Русь», которое было им основано в Вене, в 1921 году, для выпуска на русском языке книги П. Жильяра: «Император Николай II и его семья»².

Особенность полного издания воспоминаний Г. Н. Трубецкого в том, что они охватывают чрезвычайно обширный период и посвящены практически всей жизни мемуариста. Первая часть, которая носит название «Облики прошлого» и никогда ранее не публиковалась полностью (лишь несколько небольших отрывков), посвящена семье Трубецкого, его родителям и многочисленным родственникам, а также его жизни и работе на дипломатической службе до первых лет нового XX века. Эти записки являются одним из лучших примеров отечественной «мирной» мемуаристики, то есть посвященной не периоду мировых катаклизмов, а мирной жизни России в последнее царствование.

Вторая часть, как следует из названия «Русская дипломатия 1914-1917 годов и война на Балканах», освящает события, в которых Трубецкой непосредственно участвовал, будучи посланником в Белграде. Она особенно интересна тем, что, с одной стороны, автор описывает сложную дипломатическую ситуацию, сложившуюся вокруг Сербии, и предпринимаемые для ее разрешения шаги, а с другой, как очевидец рассказывает об одном из наиболее трагических событий в истории сербского народа и сербской армии, – отступления в 1915 году и эвакуации на остров Корфу. Эта книга была издана в Канаде³, однако при подготовке данного издания использовалась не она, а машинописный текст, хранящийся в архиве потомков Г. Н. Трубецкого.

Своеобразным продолжением служит третья книга мемуаров «Годы смут и надежд», как уже говорилось выше, также увидевшая свет в Канаде (для подготовки этого издания также была использована оригинальная рукопись мемуаров). Она посвящена печальным событиям «года русской катастрофы» и последующим событиям: здесь и выборы патриарха, в чем Трубецкой принимал непосредственное участие, и создание Добровольческой армии, и работа в московском подполье, и белый Юг России – Кубань и Крым.

Наконец, последнюю часть составляет книга Трубецкого «Красная Россия и Святая Русь»⁴, написанная им в 1922 году. И хотя это не в прямом смысле слова мемуары, она как нельзя лучше подходит для того, чтобы завершить том воспоминаний. Это своего рода размышления о судьбе России, о судьбе православия и Православной церкви и вообще христианства. Это своеобразное завещание князя Трубецкого, его обращение к потомкам.

² Трубецкой Г. Н. Годы смут и надежд. 1917-1919 гг. Монреаль, 1981. С. 9-Ю.

³ Русская дипломатия 1914-1917 гг. и война на Балканах. Монреаль, 1983.

⁴ Трубецкой Г. Н. Красная Россия и Святая Русь. Париж, 1931.

* * *

Григорий Николаевич Трубецкой родился 14 (26) сентября 1873 года⁵ в имении Ахтырка Митинской волости Дмитровского уезда Московской губернии⁶. Поместье, получившее свое название по церкви Ахтырской иконы Божией Матери, принадлежала князьям Трубецким со 2-й четверти XVIII века, когда президент Юстиц-коллегии и камергер князь Иван Юрьевич Трубецкой Меньшой (1703-1744) приобрел ее у Василия Никитича Татищева. В 1820-х годах прадед автора воспоминаний князь Иван Николаевич Трубецкой (1766-1844) возвел здесь, на берегу реки Воря, большую усадьбу в стиле московского ампира (архитектор, предположительно, Д. Жилярди), новый камерный храм, а также множество хозяйственных построек.

Усадебный дом в Ахтырке подробно описал Н. Я. Тихомиров: *«Двухэтажный корпус главного дома объединялся галереями с одноэтажными флигелями. Центральная часть здания, увенчанная большим куполом, со стороны парадного двора была обработана торжественным шестиколонным портиком ионического ордера, которому с противоположной стороны, обращенной к пруду и парку, отвечала полукруглая колоннада с обширной террасой и балконом над ней. Порттики боковых флигелей завершались парапетами. Помимо монументальных, простых и строгих в пропорциях основных архитектурных масс, дом привлекал внимание и своей лепниной, которая раньше не так часто встречалась на фасадах жилых зданий XVIII века. Лепной фриз узкой полосой обрамлял карниз портика и полуторонды, лепной герб Трубецких, увитый лентами, заполнял поле фронтона, лепные венки украшали стены над окнами первого этажа, а барельефные медальоны с гирляндами и факелами, помещенными на стене за торжественной колоннадой, завершали убранство центральной части дома. Каждому декоративному пятну здесь было найдено свое место, все было строго уравновешено и композиционно закончено»⁷*. Ахтырка перешла деду автора воспоминаний князю Петру Ивановичу в 1852 году, после смерти его матери Натальи Сергеевны, урожденной княжны Мещерской. С тех пор усадьба стала главной резиденцией ветви рода Трубецких, идущей от Ивана Юрьевича.

Род Трубецких был древним и славным: они вели свою историю от удельного князя Брянского и князя Стародубского и Трубчевского Дмитрия Ольгердовича (конец XIV века), внука великого князя Литовского Гедимина. Его потомки до 1566 года правили Трубчевским удельным княжеством, от названия которого, собственно, и получили свою фамилию. Потомки Гедимина – Гедиминовичи – играли в России большую роль, в ряде случаев обходили по службе и знатности самих Рюриковичей, особенно представителей младших ветвей удельных княжеских родов. Их фамилии были у всех на слуху: Трубецкие, Голицыны, Куракины, Хованский, Чарторыйские...

Князь Петр Иванович Трубецкой – генерал от кавалерии и сенатор – был женат на дочери генерал-фельдмаршала князя П. Х. Витгенштейна и имел обширную семью: у четы родилось пятеро сыновей и три дочери. Причем Ахтырка досталась третьему сыну – Николаю, отцу автора мемуаров.

⁵ Эту дату дает Большая российская энциклопедия (См. БРЭ [Электронный ресурс]. URL: https://bigenc.ru/domestic_history/text/4205661; дата обращения: 20 сентября 2019 года) и составленный по некрологам справочник: Незабываемые могилы. Русское зарубежье: некрологи 1917-2001. Т. 6. Кн. 2. М., 2006. С. 475. В то же время достаточно часто в отечественных публикациях можно встретить дату 17 (29) сентября (без ссылки на источник), а в зарубежных, вообще, 5 сентября (17 сентября).

⁶ Ныне деревня (в составе городского поселения Хотьково) Сергиево-Посадского района Московской области.

⁷ Тихомиров Н. Я. Архитектура подмосковных усадеб. М., 1955. С. 268.

Князь Николай Петрович родился 3 октября 1828 года, прожил 71 год и скончался 19 июля 1900-го тайным советником, почетным опекуном Московского присутствия Опекунского совета ведомства учреждений императрицы Марии, управляющим московской больницы императора Павла I⁸ и членом Совета Елисаветинского института по хозяйственной части. В мемуарах «Облики прошлого» Григорий Трубецкой подробно останавливается на личности отца, матери и других своих родственников – а их у него было очень много. Николай Петрович был человеком хорошо образованным (у него за плечами был Пажеский корпус), много занимался самообразованием, много сделал для развития музыки в России, был известным меценатом, занимался благотворительностью – в общем был милейшим человеком. Но, конечно же, у него не было предпринимательской жилки: часть состояния он потратил на благотворительность, часть – на содержание многочисленной семьи. Приходилось ему поддерживать еще и родственников: один брат уехал в Италию и там стал двоеженцем, другой крупно играл в карты. В конце концов, родовое гнездо – Ахтырку – пришлось продать⁹.

Николай Петрович был женат дважды и имел от двух жен двенадцать детей (позже у него родились 30 внуков и 23 внучки). Все они являются действующими лицами «Осколков прошлого», и поэтому необходимо о них кратко упомянуть, прежде чем остановиться на личности самого Григория Трубецкого.

В 1853 году князь женился на своей ровеснице Любви, дочери лихого казачьего генерала графа Василия Васильевича Орлова-Денисова. У супругов родилось трое детей (на следующий день после родов дочери Марии 25 февраля 1860 года княгиня Любовь Васильевна скончалась):

– Софья (16 ноября 1853 – 27 сентября 1930), мужем которой был известный октябрист, член Государственного совета по выборам от съезда землевладельцев Ставропольской губернии Владимир Петрович Глебов (1850-1926); у них родилось четыре сына и четыре дочери;

– Петр (5 ноября 1858 – 4 октября 1911), егермейстер и Московский губернский предводитель дворянства (1892-1906); от брака с княжной Александрой Владимировной Оболенской (1861-1939) он имел двух сыновей и четырех дочерей;

– Мария (24 февраля 1860 – 29 марта 1926), которая вышла замуж за Григория Ивановича Кристи (1856-1911), тайного советника и егермейстера, Московского губернатора (1902-1905) и сенатора (с 1905); у них родилось три сына и одна дочь.

Вторым браком князь Трубецкой женился в 1861 году на Софии Алексеевне (1841-1901), представительнице чрезвычайно разветвленного рода Лопухиных. У ее отца, действительного статского советника и камергера Алексея Александровича Лопухина (1813-1872) было три сына и четыре дочери. От второго брака Николай Петрович имел девяти детей¹⁰:

– Сергей (23 июля 1862 – 29 сентября 1905), известный философ, статский советник, профессор и ректор Московского университета; от брака с княжной Прасковьей Владимировной Оболенской (1860-1914) он имел дочь и двух сыновей;

– Евгений (23 сентября 1863 – 5 февраля 1920), также философ и публицист, профессор Московского университета, член Государственного совета по выборам от Калужского губернского земства; от брака с княжной Верой Александровной Щербатовой (1867-1942) он имел дочь и двух сыновей;

– Антонина (1 сентября 1864 – 4 марта 1901), которая вышла замуж за Федора Дмитриевича Самарина (1858-1916), члена Государственного совета по выборам от дворянских обществ; у них родились сын и трое дочерей;

⁸ Ныне это 4-я городская клиническая больница Департамента здравоохранения города Москвы.

⁹ В годы советской власти усадьба Трубецких была практически полностью уничтожена: в 1922 г. сгорел господский дом, постепенно пришли в негодность и были разобраны хозяйственные постройки, в 1937 г. закрыли церковь.

¹⁰ Еще одна дочь, Маргарита, родилась 13 июля 1868 г. и на следующий день скончалась.

– Елизавета (15 августа 1865 – 4 августа 1935), ставшая женой Михаила Михайловича Осоргина (1861-1939), действительного статского советника в звании камергера, Тульского губернатора (1905-1907); у них родились три сына и четыре дочери;

– Ольга (8 мая 1867 – 12 января 1947);

– Варвара (25 июля 1870 – 6 июля 1933), которая была замужем за Геннадием Геннадиевичем Лермонтовым (1865-1908), дипломатом, камерюнкером, 1-м секретарем Российского посольства в Риме (1906-1908); у них родились два сына и дочь;

– Александра (18 апреля 1872 – 1 сентября 1925), вышедшая замуж за Михаила Федоровича Черткова (1878-1945); у них родился один сын;

– Григорий, автор представленных здесь мемуаров;

– Марина (29 августа 1877 – 14 августа 1924), которая состояла в браке с князем Николаем Викторовичем Гагариным (1873-1925); у них родилось четыре сына и четыре дочери.

Таким образом, Григорий был одним из самых младших детей в этой большой семье. Поэтому первые его детские воспоминания связаны не с Ахтыркой, а уже с Калугой, куда его отец уехал вице-губернатором, когда Григорию было всего три года. Там он провел счастливые детские годы до 1886-го, то есть до 13 лет. В «Обликах прошлого» автор подробно останавливается на особенностях жизни их семьи, а также подробно описывает места их проживания: дом Квасникова, дом Кологривова, губернаторскую дачу в Загородном саду и др. Из Калуги Трубецкие переехали в Москву, поскольку глава семьи получил назначение в Опекунский совет. Правда, срок исполнения Николаем Петровичем обязанностей вице-губернатора истек в конце сентября 1886 года, а в Москву они прибыли только летом 1887-го года (Григорий Трубецкой подробно описывает, как они до этого гостили в имении у М. М. Осоргина). Трубецкие поселились в квартире в бельэтаже в доме князя Николая Сергеевича Оболенского на Кудринской улице. Ближе всего, на углу Большой Молчановки и Поварской, располагалась 5-я Московская классическая гимназия¹¹, в которой учился Григорий. Тем более что гимназия была на хорошем счету, там было очень серьезно поставлено изучение древних, а также иностранных языков. О том, что преподаватель был достаточно сильный, говорит, например, тот факт, что ее директором состоял действительный статский советник филолог и преподаватель греческого Александр Николаевич Шварц, будущий министр народного просвещения, а историю и географию преподавал статский советник Михаил Иванович Владиславлев, до этого занимавший пост ректора Санкт-Петербургского университета.

Приведенные в данной книге воспоминания Трубецкого фактически являются лучшей его биографией, поскольку исходят из первоисточника, в связи с этим нет никакой необходимости подробно останавливаться на этапах его жизни в предисловии. Вполне достаточно конспективно проследить дальнейший путь Григория Николаевича.

Итак, осенью 1892 года Григорий поступил на историко-филологический факультет Московского университета, в своих записках он подробно разбирает и оценивает преподавательский состав, а слушать лекции ему довелось у таких известных профессоров, как П. Г. Виноградов, В. И. Герье, В. О. Ключевский, Ф. Е. Корш. В конце учебы он успешно защитил кандидатскую работу: *«Я избрал темой своего кандидатского сочинения историю положения 19 февраля 1861 года об освобождении крестьян от крепостного права»*¹².

Выбор места будущей службы, как пишет сам мемуарист, *«вопрос трудный для птенца, росшего в теплом родительском гнезде и не знавшем жизни»*¹³. Но надо иметь в виду, что в Российской империи, как и в чиновном мире, очень многое держалось на личных связях: *«Ну*

¹¹ В 1920-х гг. на базе 5-й гимназии и в ее здании была открыта школа № 91, старое здание было снесено в 1950-х гг., а рядом выстроено в 1956 г. новое, которое существует и по сей день.

¹² См. с. 166 данной книги.

¹³ См. с. 189 данной книги.

как не порадеть родному человечку!», по словам Фамусова. А уж для столь многочисленной семьи Трубецких-Лопухиных нужные связи должны были найтись. Так и получилось: сестра матери князя Григория Эмилия Лопухина в свое время вышла замуж за графа Павла Алексеевича Капниста, позже ставшего попечителем Московского учебного округа, который таким образом приходился молодому выпускнику дядей. У графа было несколько братьев, один из которых, граф Дмитрий Алексеевич, был хорошо знаком с семьей Трубецких. Он как раз с 1891 года занимал пост директора Азиатского департамента Министерства иностранных дел, и посоветовал молодому человеку поступить на службу в его ведомство. Сам Трубецкой отмечает: *«Вступление в Азиатский департамент связывалось для меня с перспективой службы в Константинополе и за границей. Я имел об этом скорее смутное представление, но сама неизвестность казалась заманчивой, интересной»*¹⁴. Григорий подал соответствующее прошение, каких-либо возражений не нашлось: молодой человек с хорошим образованием, князь, Гедминович, да еще и родственник своего будущего начальника. В октябре 1896 года Трубецкой был зачислен на службу в Азиатский департамент. Ему предстоял переезд в столицу империи, Санкт-Петербург.

Однако тем не менее для службы во внешнеполитическом ведомстве молодые люди проходили серьезный отбор, одним из элементов которого была сдача специального дипломатического экзамена: иностранные языки (французский, английский, немецкий), знание международного права, истории дипломатии и др. Трубецкой в декабре того же года экзамен успешно сдал, став полноправным сотрудником Азиатского департамента.

В январе 1897 года граф Капнист оставил работу в министерстве (он был назначен сенатором), однако какое-то влияние у него оставалось, и он его задействовал, чтобы отправить Трубецкого за границу. К тому же в судьбе Григория приняли участие баронесса М. П. Будберг, урожденная Убри, дочь и жена крупных дипломатов, а кроме того, бабушка князя Николая Гагарина, женатого на сестре Григория Трубецкого... В общем, в марте 1897 года *«открылась должность причисленного к посольству секретаря консульства в Ускюбе»*¹⁵. – *Фактически назначенный на эту должность не ехал в Ускюб, но оставался в Константинополе и причислялся к посольству»*¹⁶.

В Константинополе Трубецкой провел примерно шесть лет: сначала он занимал должность помощника секретаря посольства, а с 1901 года – 2-го секретаря. Как отмечает в своей статье Ю. А. Писарев¹⁷, Трубецкой занимался не только своими непосредственными обязанностями, но много времени уделял самообразованию: он выучил новогреческий и турецкий, а позже еще сербский и болгарский языки.

Во время службы в Константинополе изменилось семейное положение Трубецкого. Во время своего пребывания в Москве 28 апреля 1901 года в храме Спаса Преображения на Бору состоялось бракосочетание князя Григория и Марии Константиновны (23 февраля 1881 – 30 октября 1943), дочери графа Константина Аполлинариевича Хрептовича-Бутенёва. Как вспоминал Осоргин: *«Гриша стал женихом Маши Бутеневой. Она ему до того отказала, а потом, тронутая его несчастьем при кончине матери, сама, при посредстве общего их дяди Сергея Алексеевича Лопухина, вызвала его и дала ему слово»*¹⁸. В браке у Трубецких за 10 лет родилось шесть сыновей:

– Константин (7 марта 1902, Москва – 17 апреля 1920, Перекоп, Крым);

¹⁴ См. с. 189 данной книги.

¹⁵ Скопье – город, ныне столица Северной Македонии.

¹⁶ См. с. 201 данной книги.

¹⁷ Писарев Ю. А. Русский дипломат князь Г. Н. Трубецкой о начале Первой мировой войны // Новая и новейшая история. 1990. № 5.

¹⁸ Осоргин М. М. Воспоминания, или Что я слышал, что я видел и что я делал в течение моей жизни, 1861-1920. М., 2009. С. 553.

- Николай (9 сентября 1903, Константинополь – 9 ноября 1961, Монреаль, Канада);
- Михаил Григорьевич (13 мая 1905, Константинополь – 1989, Монреаль, Канада);
- Сергей Григорьевич (15 декабря 1906, Москва – 26 октября 2003, Нью-Йорк, США);
- Петр Григорьевич (2 января 1910, Москва – 28 октября 1966, Франция);
- Григорий Григорьевич (родился и умер в 1912).

В историю князь Григорий Николаевич вошел, прежде всего, как дипломат и как светский деятель Православной церкви, но его личность была настолько многогранной, что он не мог ограничиться только этими областями приложения своих знаний. Обремененный семьей, он решил кардинально изменить свою жизнь и осенью 1905 года оставил службу во внешнеполитическом ведомстве. Это его решение было связано в том числе и с трагическими событиями в семье Трубецких: в конце сентября на приеме у министра народного просвещения скоропостижно скончался от кровоизлияния в мозг старший брат Григория профессор Московского университета князь Сергей Трубецкой. Именно с Сергеем другой его брат – Евгений – в это время как раз готовился начать издание нового общественно-политического журнала, уже фактически были найдены деньги на издание: их обещала дать известная московская меценатка, представительница богатейших купеческих фамилий Маргарита Кирилловна Морозова, урожденная Мамонтова. Евгению теперь настоятельно требовался помощник, им то и стал князь Григорий.

Новое издание, получившее пока ничего не говорящее название «Московский еженедельник», было, как было модно в середине 1910-х годов, либерального толка, в противном случае интерес к нему «образованного общества» был бы довольно низок. Но авторитет Евгения Трубецкого сыграл свою роль, и либеральная общественность крайне тепло приветствовала выход нового журнала. Кроме, собственно, Евгения Трубецкого, редакционная статья которого открывала каждый номер журнала, а также князя Григория, который не только сосредоточился на редактировании текстов, но сам оказался не чужд журналистике, в издании стали активно публиковаться такие известные в то время либералы, как: Николай Астров, Николай Львов, Петр Струве, Сергей Булгаков и другие. Таким образом, журнал, который позже назовут неофициальным органом Партии мирного обновления, находился на правом фланге либерального политического спектра, занимая позицию левее октябристов, но правее кадетов. Как аккуратно будут писать эмигрантские источники, князь Григорий Николаевич участвовал в издании журнала, *«стремившегося найти творческий синтез между русской государственно-стью и интеллигентской мыслью. Не примыкая всецело ни к правительству, ни к оппозиции, „Московский еженедельник“ приобрел в свое время значительный нравственный авторитет»*¹⁹.

Постепенно Григорий Николаевич стал больше внимания уделять не журналу, а новому увлечению: уже в 1908 году он совершил длительную – почти четырехмесячную – поездку на Балканы, вновь увлекшись вопросами международной политики. По ее результатам он опубликовал ряд статей, среди которых особенно выделялась «Россия как великая держава»²⁰, датированная им 17 октября 1910 года. Ее он завершил словами: *«На полях Маньчжурии наши солдаты показали, как и в старину, свою способность умирать; от нас требуется теперь другая способность – умение жить и устраивать жизнь нашего отечества. В этом умении заключается разгадка всех наших проблем – подъема просвещения и производительности, внутренней и внешней политики, государственной обороны, словом всего того, что Зля нас определяет одним общим лозунгом: Великая Россия»*²¹. Статья имела большой успех и даже была переведена на несколько языков.

¹⁹ Ольденбург С. С. Памяти князя Г. Н. Трубецкого // Россия и Славянство. 11 января 1930.

²⁰ См.: Великая Россия: сборник статей по военным и общественным вопросам / ред. – изд. В. П. Рябушинский. М., 1910. С. 21–137.

²¹ См.: Великая Россия: сборник статей по военным и общественным вопросам / ред. – изд. В. П. Рябушинский. М., 1910. С. 137.

К этому времени «Московский еженедельник» благополучно приказал долго жить, а его вдохновитель князь Евгений Трубецкой в следующем году в числе 130 университетских профессоров подал прошение об отставке в знак протеста против увольнения трех коллег Министерством народного просвещения²² и уехал в Медынский уезд Калужской губернии, в имение Бегичево. Григорий Николаевич остался в Москве без какого-либо определенного занятия и теперь получил известность как эксперт по внешней политике и славянскому миру, критиковавший действия правительства с точки зрения национальных интересов Российской империи.

Как уже говорилось выше в чиновном мире Российской империи и Санкт-Петербурга в целом, а в Министерстве иностранных дел в частности, личные связи играли колоссальную роль. И вновь они оказали влияние на дальнейшую карьеру Трубецкого. Дело состояло в том, что еще в детские годы, во время пребывания в Калуге, он познакомился с сыном и дочерью местного воинского начальника барона Фабиана Густавовича Шиллинга. Прошли годы и товарищ детских игр Трубецкого барон Маврикий (Мориц) Шиллинг стал статским советником и в 1911 году занял пост начальника Канцелярии министра иностранных дел С. Д. Сазонова, став его особо доверенным лицом. Сам Григорий Николаевич вспоминал: «Шиллинг решил непременно вновь меня завлечь в дипломатическую карьеру, и я уверен, что это по его совету и настояниям, я получил от Сазонова предложение занять место начальника отдела Ближнего Востока Министерства иностранных дел. Это предложение, мною принятое, было поворотным этапом моей жизни, которым я считаю себя обязанным в значительной степени Шиллингу»²³. Вернее надо отметить, Трубецкой был принят курировать вопросы Ближнего Востока (и Балкан), а его пост официально именовался вице-директор 1-го (Азиатского) департамента Министерства иностранных дел (при том, что пост директора департамента был вакантным), при этом князь носил чин надворного советника и одновременно был назначен состоять в звании камергера. О своей деятельности и взаимоотношениях по службе с руководством Трубецкой подробно рассказывает в своих мемуарах, уделяя много внимания как личностям своих коллег, так и своей позиции. Можно лишь процитировать его слова, что: «Я отвык от служебной лямки, привык к независимости, и меня смущала перспектива подчинения и чиновничества»²⁴.

Наконец, при очередной реорганизации структуры Министерства иностранных дел князь Трубецкой был 1 июля 1914 года назначен советником (то есть начальником) 2-го (Ближневосточного) политического отдела. Он занимал в ведомстве несколько своеобразное и исключительное положение. Вот как его описывает хорошо знавший князя по службе управляющий Юрисконсульской части МИД барон Б. Э. Нольде: «Его новая роль не вызвала ни малейшего удивления, настолько этот москвич, „либерал“ и конституционалист, в котором не было никаких следов петербургского чиновника, казался призванным, по праву и справедливости, взять в свои руки важный рычаг русской государственной машины [...] он сознательно принес в работу на государственном станке свои собственные, свободно выросшие мысли, свое собственное понимание русских государственных задач, мысли и понимание, которыми он никогда не поступился бы и которые ни при каких условиях он не принес бы в жертву никаким выгодам и никакой „карьере“. При малейшем конфликте между инерцией государственного аппарата и своей собственной внутренней свободой, он – все это знали – спокойно и вежливо ушел бы из петербургского служебного кабинета и уехал в Москву и в Васильевское»²⁵.

²² К удивлению профессуры министр Л. А. Кассо на попятную не пошел и прошение об отставке подписал.

²³ См. с. 104 настоящей книги.

²⁴ См. с. 342 настоящей книги.

²⁵ Нольде Б. Э. Кн. Г. Н. Трубецкой. 1873-1930 // Далекое и близкое. Исторические очерки. Париж, 1930. С. 226–227. (Электронную версию см.: URL: <http://elibr.shpl.ru/ru/nodes/22483-nolde-b-e-dalekoe-i-blizkoe-istoricheskie-ocherki-parizh-1930>; (дата обращения: 2 декабря 2019 года).)

Впрочем, это назначение можно было рассматривать как временное, поскольку Сазонов еще до назначения уже рассматривал Трубецкого как желательную кандидатуру для представительства России за рубежом. Ему даже уже было предложено отправиться в Тегеран чрезвычайным министром и полномочным посланником при Персидском дворе, однако князь взял паузу: ему явно не очень нравилось подобное назначение, поскольку ближе ему был славянский мир, а не специфический азиатский. Вопрос, впрочем, решился сам по себе: во время предшествовавшего началу Первой мировой войны Июльского кризиса 10 июля 1914 года у русского чрезвычайного посланника и полномочного министра при дворе короля Сербии гофмейстер Николая Генриховича Гартвига во время беседы с австро-венгерским посланником генералом Гизлем фон Гизлингеном не выдержало сердце. В результате обширного инфаркта он скончался. Место было предложено Трубецкому и он немедленно дал свое согласие и 13 июля назначение состоялось. Впрочем, Григорию Николаевичу пришлось задержаться в России: выехать он смог лишь в конце ноября 1914 года.

Во время Первой мировой войны на долю Трубецкого пришлось сложнейшие дипломатические переговоры и маневры, попытки привлечь на свою сторону Болгарию, он сопровождал сербскую армию и правительство в изгнание. Все эти события подробно описаны им в мемуарах, в части «Русская дипломатия 1914-1917 годов и война на Балканах», написанных по горячим следам (их князь закончил уже 25 января 1917 года). С марта 1916-го он находился в отпуске, успев получить свое последнее повышение по службе: 10 апреля 1916 года он был произведен в действительные статские советники.

1917-й год стал, с одной стороны, возвращением Трубецкого на государственную службу, а с другой – возможно, имевшей большее значения для князя, открыл для него новую сферу деятельности. Являясь с марта 1917 года временно исполняющим обязанности директора Дипломатической канцелярии при Верховном главнокомандующем²⁶, он принял активнейшее участие в работе Всероссийского поместного собора, членом которого он был избран от действующей армии, и сыграл важную роль в восстановлении в Русской православной церкви патриаршества. Хотя, конечно, религиозная тема не была новой для Трубецкого: он был глубоко верующим человеком и всегда принимал нужды Церкви близко к сердцу. Теперь его работы, в том числе и те, что были написаны в эмиграции, стали носить более ярко выраженный философский, религиозный и мировоззренческий характер. Русский философ Николай Арсеньев так писал о Трубецком: *«Веруйте в Свет, да будете сынами Света!» – вся жизнь князя Григория являлась осуществлением этих слов, она была свидетельством о Свете, которому он служил, о высшем Свете. Поэтому-то так очищались и укреплялись люди духовно от соприкосновения с ним. Это был светильник, горевший тихо и ровно, и вместе с тем светло и ярко, и не только в семье своей, но и для приходивших извне»*²⁷.

Князь Трубецкой не просто не остался в стороне от смутных времен, обрушившихся на Россию в 1917 году от наступившей пятилетней Смуты, он принял самое активное участие в борьбе с властью, которую он считал богоборческой, противной сути русского народа и России. Свою позицию он никогда не скрывал и всячески обосновывал в своих работах, в том числе и в тех, что собраны в этой книге. В отличие от многих «общественных деятелей» уже в начале 1918 года покинувших Россию и писавших гневные статьи в тиши парижских кафе, Трубецкой уже в ноябре 1917 года вошел в состав подпольного антибольшевистского «Правого центра», став одним из наиболее деятельных его членов. По делам Центра он несколько раз съездил из Москвы в Петроград, и при этом успевал участвовать в заседаниях Поместного собора, выступать перед делегатами. Его авторитет постоянно рос и, как следствие, 8 декабря 1917 года он был избран заместителем члена Высшего церковного совета от мирян. Но в конце того же

²⁶ В октябре планировалось назначить Трубецкого послом в Лондоне, однако назначение фактически так и не состоялось.

²⁷ Арсеньев Н. С. Памяти князя Г. Н. Трубецкого // Россия и Славянство. 18 января 1930.

месяца Трубецкой покинул Москву и уехал на Дон, где разворачивалась антибольшевистская борьба. Оттуда ему пришлось вернуться в Москву за семьей, а затем вновь пробираться на Юг России. Перипетии жизни князя Трубецкого в годы Гражданской войны также подробно описаны им в мемуарах, вошедших в состав данного издания.

Теперь уже Трубецкой считался известным не только дипломатом и политиком, но и церковным деятелем. Его избрали товарищем председателя Юго-Восточного русского церковного собора (май 1918 года) – единственного мирянина, а затем он встал во главе им же созданного Временного управления по делам исповеданий (август 1918 года), став, таким образом, «обер-прокурором» в Особом совещании при главкоме Добровольческой армии. Сложно охватить все направления деятельности Трубецкого в годы Всероссийской смуты, одно лишь перечисление его постов и должностей поражает (не говоря уже о том, что за каждой из них стоит колоссальный объем деятельности): главноуполномоченный по делам беженцев в Королевстве сербов, хорватов и словенцев, заместитель начальника и начальник Управления иностранных сношений в правительстве при бароне П. Н. Врангеле – последний министр иностранных дел Белой России...

А потом была эмиграция, где вновь блеснула звезда князя Трубецкого, ставшего заметной фигурой русского сообщества в Европе. В Вене он основал издательство «Русь», и что показательно, первой книгой, выпущенной издательством, стала книга П. Жильяра «Император Николай II и его семья»...

Трубецкой скончался 6 января 1930 года в Кламаре, небольшом городке в 10 километрах к юго-западу от Парижа.

Наверное одна из лучших эпитафий князю Григорию Николаевичу Трубецкому принадлежит Николаю Бердяеву: *«Он был человек смертельно раненый революцией, но в сердце его не было злобы и мести, которые терзают столь многих... Более всего поражала в личности князя Г. Н. Трубецкого необыкновенная его цельность в самую расколотую и разорванную эпоху, органичность его типа»*²⁸.

К. А. Залесский

²⁸ См. с. 22 настоящей книги.

Памяти кн. Г. Н. Трубецкого²⁹

Умер благороднейший представитель старой России. Князь Г. Н. Трубецкой принадлежал к редкому у нас типу высококультурных, либеральных консерваторов. Если бы русский консерватизм был таков, как у князя Г. Н. Трубецкого, то, вероятно, Россия избежала бы многих катастроф. Враг крайностей, обладавший даром меры, он противился разрыву времен. Непримиимый противник революции – он никогда не был сторонником черной реакции. Он любил, прежде всего, Православную церковь и Россию и хотел служить этим вечным ценностям. Но ценность религиозная для него всегда стояла выше ценности политической, что не так часто встречается в эмоциональной атмосфере эмиграции. Дипломат в прошлом, потом активный участник Белого движения, он в последние годы был занят главным образом церковной деятельностью. Член Церковного собора, человек очень влиятельный в церковных кругах, он был горячим сторонником патриарха Тихона, о котором писал на страницах «Пути», и всегда старался поддерживать церковное единство. Стремление к церковному миру и единству, боязнь борьбы в Церкви делали трудным его положение в момент церковной распри. Как бы мы ни относились к взглядам князя Г. Н. Трубецкого, мы должны признать, что они всегда были очень искренни, всегда определялись его стремлением к правде, его любовью к Церкви и России. Я давно знал князя Г[ригория] Николаевича], более двадцати лет. Еще ближе знал его брата, покойного философа князя Е. Н. Трубецкого. Семья Трубецких – одна из самых культурных русских семей. Редко бывает, чтобы в одной и той же семье два брата были замечательными философами, как то мы видим в лице князей С. и Е. Трубецких. В первые годы после моей высылки из России мы были в довольно близком общении с князем Г. Н. Трубецким, несмотря на расхождение во взглядах. Но в последние годы, после Карловацкого раскола, мы идейно очень разошлись и редко встречались, что не мешало мне сохранять глубокое уважение к князю Г. Н. Трубецкому. Благородство характера князя Г[ригория] Николаевича] выразилось в том, что он готов был сознать свою частичную неправоту. Так, в одно из последних наших свиданий он поразил меня тем, что сознал свою неправоту в вопросе об отношении Церкви в эмиграции и Церкви внутри России. К этому сознанию привело его изучение антирелигиозной пропаганды в России, безбожной литературы и вызванного этими явлениями религиозного движения. С большим сочувствием относился он к христианскому движению молодежи и принимал в нем участие в качестве друга и советчика. Князь Г[ригорий] Н[иколаевич] очень болел расколом христианского мира, и его очень интересовало движение к сближению Церквей и вероисповеданий. Он принимал горячее участие в интерконфессиональных собраниях русских православных и французов католиков и протестантов, устраиваемых по русской инициативе. За несколько дней до своей внезапной смерти, он участвовал в интерконфессиональном собрании, на котором читал доклад отца С. Булгакова о Православной церкви, и участвовал в прениях. У него всегда был большой интерес и симпатия к католичеству и стремление к сближению, но с сохранением твердости и крепости православия. Князь Г[ригорий] Н[иколаевич] был человеком крепкого православного быта. Он сохранил его в условиях эмиграции. В его усадьбе в Кламаре была устроена православная церковь, которую мы жители Кламара всегда посещаем. У такого бытового православного интерес к сближению Церквей был показатель религиозной чуткости и отсутствие замкнутости. Князь Г[ригорий] Н[иколаевич] соединял крепкую веру и традиционализм с полным отсутствием фанатизма, с большей терпимостью. Это – очень редкое сочетание свойств, особенно в атмосфере, в которой нам приходится жить. Влияние его на окружающую среду было облагораживающее и умеряющее. Традиционализм князя Г[ригория] Н[иколаевича] был очень культурным, умеренным,

²⁹ Опубликовано: Путь. 1930. № 21 (апрель). С. 94–96.

терпимым, по-своему свободолюбивым. Таких людей у нас очень мало, и утрата таких людей очень болезненна и чувствительна. Даже когда князь Г[ригорий] Н[иколаевич] был неправ и несправедлив, в нем не было злой воли, не было злой страсти, не было ненависти. Он был человек смертельно раненый революцией, но в сердце его не было злобы и мести, которые терзают столь многих. В жизни поражал он той необыкновенной простой и бытовым демократизмом, которые свойственны лишь истинному аристократизму. Простота и скромность были его добродетелями. С ним связано было обаяние его личности. Возможно, что высший слой русского дворянства, окончательно разбитый революцией, не будет уже рождать такого благородного типа. Класс, пораженный революцией и оттесненный из истории легко озлобляется. После таких катастроф поколение детей может потерять уже высокое благородство породы и культуры отцов. Но память о таком благородном типе, выработанном длительным культурным процессом, должна всегда сохраняться. Память сама всегда есть признак благородства, забвение же признак неблагородства. Более всего поражала в личности князя Г. Н. Трубецкого необыкновенная его цельность в самую расколотую и разорванную эпоху, органичность его типа. Такой цельной, в лучшем смысле, детской была его вера. Таким людям легко умирать. И нелегко терять их оставшимся в живых в самую мучительную эпоху русской истории.

Н. А. Бердяев

Облики прошлого

На днях (осенью 1925 года) мне попалось следующее место из «Дневника писателя» Достоевского^[1]: «Любопытно, что у нынешней молодежи, у нынешних детей и подростков будет драгоценного в их воспоминаниях и будет ли... Главное, что именно... Какого рода...

Что святые воспоминания будут и у нынешних детей, сомнения, конечно, быть не может, иначе прекратилась бы живая жизнь. Без святого и драгоценного, унесенного в жизнь из воспоминаний детства, не может и жить человек... Но что именно будет в этих воспоминаниях, что именно унесут они с собою в жизнь, как именно сформируется для них этот дорогой запас – все это, конечно, и любопытный и серьезный вопрос...

Современное русское семейство становится все более и более *случайным* семейством. Именно *случайное семейство* – вот определение современной русской семьи. Старый облик свой она как-то вдруг потеряла, как-то внезапно даже, а новый... в силах ли она будет создать себе новый, желанный и удовлетворяющий русское сердце облик... Иные, и столь серьезные даже люди говорят прямо, что русского семейства теперь «вовсе нет». Разумеется, все это говорится лишь о русском интеллигентном семействе, то есть высших сословий, не народном. Но, однако, народное-то семейство – разве теперь оно не вопрос тоже...»

Эти строки написаны в 1877 году. К этому времени относятся первые мои воспоминания, и я чувствую, что пришла пора мне привести их в порядок, для себя и для своих детей. Пусть они узнают, что в этом отношении опасения Достоевского не совсем оправдались, что были в то время, как они есть и сейчас и в России и за рубежом, не одни только «случайные семейства», но крепкие, органически выросшие и связанные с прошлым русские семьи. Пусть они прочтут эти страницы, в которых я хочу передать, как умею, «святые воспоминания», вынесенные мною из детства, и все, что моя память сохранила о дорогом прошлом, частью по рассказам – о членах семьи моих родителей, но главным образом из личных впечатлений и переживаний.

Я плохо помню года, факты, я не берусь писать семейной летописи и рассчитываю, что ее напишет сестра Ольга, если ей удастся получить собранные ею письма и документы. Я же постараюсь, как могу, восстановить хотя бы главные облики прошлого. Памятью о них я живу. Сумею ли я передать другим то, что мне дорого – это вопрос. Но то, что я пишу, это не литература, а пережитая жизнь. Я хотел бы, чтобы мои дети любовью связали с нею свою начинающуюся жизнь.

Семья моего отца

В своих очерках «Из прошлого»^[2] мой брат Евгений художественно изобразил два типа старой дворянской России, к коим принадлежали семьи моего отца и моей матери: семья Трубецких – старого барского и военно-служилого покроя, где дети с малолетства получали военное воспитание. Мой дед князь Петр Иванович Трубецкой был таким типичным генералом Николаевской эпохи; его несколько карикатурно изобразил Лесков в своих рассказах, а брат мой восстановил в человеческих формах и как представителя крепкого старого уклада жизни. Порой он мог казаться самодуром, хотя, по существу, был добрым человеком. Военная выправка и феодальные традиции рода определяли его жизненный кодекс и быт жизни. Это своеобразно сочеталось порою со склонностью писать сентиментальные стихи – эпитафии и посвящения. Это была цельная фигура генерала-князя-помещика старой дореформенной России, которую он пережил на 10 лет, скончавшись в 1870 году^[3], 72 лет от роду. В молодости он был адъютантом фельдмаршала князя Витгенштейна и женился на его дочери^[4]. У меня висел прекрасный портрет ее в молодости, кисти Доу, в соломенной шляпе с открытой длинной шеей, мечтательно согнутой и с кисейными открытыми рукавами. Но мечтательное выражение не было характерным для бабушки в зрелом возрасте. Она была энергичной, деятельной управительницей обширных поместий, по которым разъезжала и успешно хозяйничала, потому что дедушка занят был службой. Немка по происхождению, она, по-видимому, без труда превратилась в помещицу патриархального уклада – превращение, которое заставляет вспомнить портрет Лариной из «Евгения Онегина». Когда нужно было, она умела вспомнить, что она дочь фельдмаршала, ездила в Петербург и с большой энергией добивалась при Дворе чего хотела.

Все сыновья дедушки^[5], в том числе и мой отец, с семилетнего возраста отдавались на воспитание в Пажеский корпус^[6]. Оттуда они писали старательным почерком письма своим родителям, поздравляя «любезного Папеньку» и «любезную Маменьку» с днем их рождения и именин, и приезжали домой на короткую побывку летом. Семейной жизни настоящей у них не было. Кончая Пажеский корпус, они поступали в Гвардию, служили в Петербурге, в то время как дедушка был военным губернатором в Харькове, Орле, а под конец жизни первоприсутствующим сенатором в Москве.

О нравах в Пажеском корпусе я сохранил отрывочные воспоминания из рассказов моего отца. Мальчиков, провинившихся в течение недели, наказывали по субботам. Самым обычным наказанием была порка. Мой отец был в корпусе вместе со своим братом Павлом. Оба почти еженедельно подвергались этому наказанию. Иногда, один брат ручался за другого, и тогда в случае провинности одного, секли обоих. Между воспитателями был один немец, придумавший такую характерную шутку. В субботу, когда его окружала кучка учеников, между которыми предстояло распределять наказания, он вынимал дырявый носовой платок и сморкался в отверстие. Те, на кого попадало, считались счастливыми и освобождались от наказания.

Конечно, такие педагогические приемы типичны для того времени, но только по ним нельзя выносить окончательное суждение о тогдашнем Пажеском корпусе. Были у него и хорошие стороны. В нем воспитывалось крепкое товарищеское чувство на всю жизнь. Я видел тому примеры на некоторых товарищах по корпусу моего отца, с которыми ему пришлось вновь встретиться лишь на склоне лет. И товарищеские узы оказывались так сильны, что один для другого старались сделать все, что могли. Школа, вырабатывающая такой товарищеский дух, не может не иметь хороших сторон. В нее поступали дети лучших дворянских семей с крепкими семейными традициями, и она со своей стороны укореняла в своих питомцах чувство служебного долга и преданности монархии. Для всего поколения, воспитавшегося в тогдашних военных школах, обаяние императора Николая Павловича было особенно сильно. С его личным ореолом связывалось представление о мощи России.

В общем, однако, старорежимная система воспитания, отрывавшая детей от семьи чуть ли не с младенческого возраста и построенная на внешней дисциплине, предоставляла этих детей в значительной степени самим себе, игре их добрых и худых наклонностей. Это сказалось на судьбе моего отца и его братьев.

Отец мой имел от природы добрую чистую душу. Это был Божий дар, который спас его от всех соблазнов и опасностей, которые были на пути всякого в его положении, кончавшего Пажеский корпус и пускавшего в омут светской полковой жизни с ее кутежами и увлечениями. Тоже можно сказать о его брате-сверстнике Павле Петровиче³⁰, с которым он был особенно дружен в детстве.

Старший брат князь Петр Петрович³¹ был блестящий красивый гвардейский офицер. Расчетливая мать отпускала сыновьям деньги на скромное существование. Денег этих не хватало. Делались долги. Тогда дедушка решил женить сына на богатой невесте, нашей однофамилице, княжне Варваре Юрьевне Трубецкой, очень добродетельной и столь же некрасивой. Сын не захотел жениться, тогда дедушка отправил его служить на Кавказ, чтобы он там образумился. Молодому офицеру это скоро надоело. Он написал в Москву: «готовьте обезьяну», приехал и женился.

Разумеется такой брак не сулил прочности. Через несколько лет, когда у него были уже от этого брака две дочери⁷¹, князь Петр Петрович увлекся знаменитой в то время американской певицей³² и бросил свою жену. Последняя не соглашалась дать развод, что не помешало князю Петру Петровичу заключить новый брак за границей. Обстоятельство это, однако, заставило его экспатриироваться, потому что Государь Александр II запретил ему, как двоеженцу, возвратиться на родину, и в семье не признавали вторую жену. Князь Петр Петрович купил виллу в Италии⁸¹ и поселился там навсегда. Ему пришлось испытать тяжелое порою одиночество, потому что ни жена, ни дети не знали России. Впрочем, вторая жена князя Петра Петровича была, по-видимому, талантливой незаурядной женщиной. От этого брака у него родились три сына, из которых старший *Pierre* приобрел известность в Англии и Америке, как художник-портретист, второй *Paolo* всемирно известный скульптор, и наконец третий Джиджи – инженер.

Из всех сыновей Петра Петровича я лично знаю только Paolo. В конце 90-х годов прошлого [XГХ] столетия он уже составивший себе довольно большую известность за границей, приехал в Россию и явился к нам. Было странно познакомиться с этим полуитальянцем-полуамериканцем, в котором было столько семейного сходства и общих черт характера.

Paolo был художником Божией милостью. В своем художественном творчестве он также решительно отрицал всякую науку. Благодаря этому, почти все его произведения отмечены самыми элементарными промахами и недостатками, часто резкой несоразмерностью частей. В маленьких статуэтках эти недостатки порою менее заметны, но как только приходилось небольшую модель увеличивать во много раз, так во столько же раз вырастали все ее дефекты. В сущности, все его произведения были гениальными эскизами.

Отрицая всякую науку, рассудочное знание, Paolo признавал в искусстве только непосредственное восприятие жизни. Уловить и воспроизвести жизнь – вот единственная задача художника, которую он признавал. У Paolo какая-то своя религия жизни. Для него всякое посягательство на жизнь – грех. Поэтому он вполне последовательный вегетарианец, и всех, кто ест мясо он называет *animaux carnivores*³³, *cimetières ambulants*³⁴. Его тяготило, что к гипсу приме-

³⁰ Иване Петровиче (1825-7.11.1887). [Другие братья Николая Петровича (1828-1900)]: кн[язь] Сергей Петрович (1827-1832), кн[язь] Павел Петрович (25.12.1835-16.11.1914). – *Примечание старшей сестры автора Ольги Николаевны Трубецкой (1867-1947)*.

³¹ (1822-1892). – *Примеч. О. Н. Трубецкой*.

³² Имеется в виду пианистка Ада Винанс. – *Здесь и далее примечание редактора, если не указано иное*.

³³ Плотоядные животные (*франц.*).

шивается животное сало, и он успокоился только когда нашел итальянца, заменившего сало растительным маслом.

Поклоняясь жизни, Paolo бессознательно искал и поклонялся в ней правде. Самая лучшая и самая сильная сторона его творчества есть действительно та правда жизни, которую ему удавалось уловить в жесте, выражении. Задранный хвост теленок, жеребенок, жмующийся к своей матке, мать с ребенком (моя сестра Марина), заснувший извозчик в санях, с ключей, опустившей понуро голову под снегом – все это движения, выхваченные из жизни. Безо всякой тенденции и какого-либо желания создать обобщающий образ – в силу одного стихийного таланта Paolo воспроизводил в лучших своих вещах образы материнства, или животной радости жизни, или, наконец, народный облик простоты, смирения и покорности судьбе в лице этого извозчика.

Его статуэтка [Льва] Толстого в русской рубашке с босыми ногами, или статуя императора Александра III на грузной лошади, которую придавил под собой могучий всадник, в котором чувствуется какая-то черноземная сила былинного богатыря^[9] – все это прекрасные идейные образа, хотя художник не преследовал никакой идеи, а хотел уловить только правду жизни. То же самое можно сказать о его статуе Данте^[10], которая дышит средневековой мистикой. Все это постигалось художником внутренним чутьем, хотя он был абсолютно лишен всякого образования, всякого рассудочного синтеза. Толстой очень ценил в Paolo его непосредственность и первобытность.

Вне области искусства у Paolo только одна наследственная страсть – к игре. Все, что он зарабатывает – он проигрывает, играя целые ночи напролет. А зарабатывает он значительные суммы. Никаких других интересов у него не существует. Его разговор поражает в этом отношении скудностью своего содержания и однообразием из года в год того, что он говорит. Встречаясь с Paolo с большими перерывами, иногда по несколько лет, я всегда слышал от него те же шутки и анекдоты, большей частью мои собственные, которые я ему рассказал 25 лет назад, а он их вспоминает. И все разговоры неизменно заканчиваются: *tu es un carnivore, un cimetiere ambulante*³⁵, и т. д.

Другой брат моего отца, Иван Петрович, или как иначе его звали дядя брат Иван – был отчаянный неисправимый игрок. Он был женат на Екатерине Петровне Мельгуновой, которая имела большое состояние. Среда, из которой она вышла, была должно быть невысокая по культуре, разговоры и понятия ее были такие, какие могли бы быть у нянюшки. Когда она была богата, то имела страсть к туалетам, и заказывала их в огромном количестве, причем многие платья никогда не надевала, потому что так панически боялась микробов и почему-то воображала, что они поселились в ее туалетах.

Дядя брат Иван был большой любитель музыки. Он имел свой оркестр из дворовых, который исполнял даже симфонии Бетховена. Он жил в Симбирске, который был дворянским помещичьим городом в дореформенное время, и там вел широкую хлебосольную жизнь, закатывая балы и пиры на всю губернию. Его не возлюбил за это губернский предводитель, как опасного соперника, и однажды подвел под него опасную интригу. Это было, кажется, во время Крымской войны^[11]. Дядя брат Иван занимал какую-то должность по сбору ополчения, но продолжал свой прежний образ жизни. Предводитель возбудил дело о том, что он не находится на месте службы. Дядя сказался больным, была назначена медицинская комиссия, чтобы его свидетельствовать. Он слег в постель, как-то сумел выдать себя за больного, может быть пустил в дело для этого какие-нибудь убедительные аргументы, во всяком случае, получил свидетельство о болезни. Тогда его мать, моя бабушка, подняла страшный шум, как смели заподозрить ее сына – внука фельдмаршала, и предводитель не знал, как выбраться из каши, которую заварил.

³⁴ Передвижные кладбища (франц.).

³⁵ Ты – плотоядный ходячий кладбищенец (франц.).

Впрочем, мой дед сам вовсе не склонен был мирволить сыновьям, и однажды в ту же эпоху, будучи начальником обширного округа по сбору ополчения и имея в подчинении своего сына, он решил его проучить: дядя брат Иван задавал какой-то бал. В разгар бала к крыльцу его дома подъехала тройка с фельдъегерем, который привез приказ отца к сыну: немедленно сесть в тройку и ехать к нему с докладом. Пришлось бросить бал и гостей, и катить за сотни верст к отцу, который в вопросах дисциплины шутить не любил.

Вот этот самый благодушный и беспечный дядя брат Иван был, как я уже сказал, отчаянный игрок. Однажды он выиграл в Монте-Карло миллион. Это и было несчастьем его жизни. После этого его страсть к игре все время подогревалась надеждой на выигрыш. Он спустил все свое состояние.

Братья заплатили его долги, потом в складчину обеспечили его новым порядочным состоянием, но он вновь спустил в игре все, что ему было передано, и братьям удалось сохранить только небольшую часть, проценты с коей выплачивали ему и его семье. Вдова его Екатерина Петровна доживала свои дни во Вдовьем доме^[12] и по соседству часто приходила к нам на Пресню. У нее были необыкновенные рассказы, которые она говорила грустным и убежденным голосом. – «Представь себе, у нас во Вдовьем доме есть старушка такая древняя, что она помнит Александра Македонского». – «У нас во Вдовьем доме есть собака, которая вбежала в церковь и съела причастие. С тех пор, как позвонят к вечерне, она воеет». Когда я кончал университет, она тем же грустным голосом советовала: «Попроси твоего папа устроить тебя смотрителем Вдовьего дома. Прекрасное место, квартира, и много можно получать на дровах. Только одно скучно – на Пасху надо христосоваться со всеми старушками, и некоторые подходят по два и по три раза». И все это говорилось необычайно грустно.

У дяди брата Ивана были сыновья, которые женились и имели свои семьи^[13]. Круг их знакомых и друзей был свой, и мы совсем их не видали, но отец мой и тетушка Марья Петровна Зиновьева много о них заботились. Особенно много хлопот моему отцу доставлял «Женька» (Иван). Мой отец с редкой добротой пекся о нем, но приходилось прибегать к самым своеобразным приемам. Женька был добрый малый, но беззаботный кутила-пьяница. После долгих хлопот моему отцу удалось устроить ему службу на Кавказе. Перед отъездом для верности, чтобы он не закутил, мой отец просил генерал-губернатора посадить его на гауптвахту. Женька не протестовал, но когда мой отец посетил его на гауптвахте, то застал Женьку в одних штанах, остальную часть костюма он спустил, – и заливался песнями с гитарой. Тогда Женьку решили отправить на Кавказ в сопровождении верного человека, управляющего, чтобы не давать ему денег на руки. Управляющему было сказано, чтобы он расплачивался в пути за все, что пускай спрашивает себе еды, сколько хочет, но никаких напитков не оплачивать. Женька и тут нашелся. Сошелся в дороге с каким-то теплым малым, спрашивал двойную порцию еды для себя и для него, а попутчик за то поил его водкой. . . Так он доехал до Тифлиса, где главным начальствующий [гражданской частью на Кавказе] Шереметев и его помощник Татищев были оба товарищи моего отца по Пажескому корпусу. Татищев принял к сердцу Женьку и, в свою очередь, проявил самую большую заботливость о нем, предупрежденный моим отцом о свойствах его характера.

Бедному Женьке не повезло. Он был назначен офицером пограничной стражи. Однажды во время погони за контрабандистами, он упал с лошади, получил удар копытом в грудь; у него сделалась скоротечная чахотка и он умер.

Сверстник моего отца князь Павел Петрович³⁶ рано оставил военную службу, он был, по тогдашнему времени, скорее либерального (особенно в понятиях дедушки) направления. Он был гласным и Московским уездным предводителем дворянства, составил очень хорошую

³⁶ 7 лет разницы! [Князь Павел Петрович Турбецкой родился в 1835 г. и был на 7 лет моложе Николая Петровича Трубецкова (1828-1900)]. – *Примеч. О. Н. Трубецкой.*

справочную книгу всех узаконений по предметам, с которыми приходилось иметь дело предводителям. Во время коронации императора Александра III он заменял губернского предводителя. По церемониалу надо было встречать Государя у заставы верхом. Павел Петрович взял себе на этот случай лошадь из цирка, рассчитывая, что будет всего спокойнее ехать на хорошо выезженной лошади. Каков его был ужас, когда в ту минуту, как он подъезжал к Государю, грянул оркестр, и лошадь пошла испанским шагом... Бедный Павел Петрович не знал что делать, но ему помогли справиться с лошадью.

После смерти своей жены (рожденной Иловайской)³⁷ Павел Петрович переехал на юг, и жил то в имении Подольской губернии, то в Одессе, где купил дом. Его сын Саша страдал астмой и не мог жить на севере. Павел Петрович завел у себя в имении образцовую опытную станцию, которая приобрела известность. Он приезжал изредка в Москву. Он довольно сильно оглох с годами. Нас детей поражала ловкость, с которой он управлялся своим пенсне: от одного щелчка пенсне летело и садилось ему прямо на нос; от чуть заметного движения головы пенсне летело прямо в его боковой карман.

Павел Петрович был очень добрый и почтенный человек и смерть его уже в преклонных годах вызвала общее сочувствие и сожаление.

Был еще брат у моего отца – князь Александр Петрович³⁸, Харьковский губернский предводитель дворянства. Он был женат, если не ошибаюсь на Ивановской^[14]. У него было две дочери^[15] – одна Маруся, вышедшая замуж за гусара фон дер Лауница, впоследствии Петербургского градоначальника, убитого революционером. Другая дочь [Эмилия] трагически погибла, при условиях, о которых дальше будет речь.

Были и сестры у моего отца: Ольга Петровна³⁹, вышедшая замуж за князя Дмитрия Николаевича Долгорукова⁴⁰. От этого брака родились две дочери – Ольга, вышедшая замуж за Волжина, предпоследнего царского обер-прокурора Святейшего Синода, и Эмилия. Последняя была очень благочестива, часто ездила к Троице (Троице-Сергиевская лавра). В это время там славился старец Варнава, к которому многие обращались, как к руководителю во всех решениях, которые приходилось принимать в личной жизни.

Эмилия была у него как-то, кажется перед Пасхой. В это же время в Троицу приехал Алексей Алексеевич Хвостов, орловский помещик, тоже на поклон к о. Варнаве. Последний решил женить своих духовных чад, и сделал каждому из них соответствующее внушение. Они женились и были страшно счастливы. Алексей Алексеевич был губернатором, кажется в Чернигове. Он был у Столыпина во время взрыва его дачи на Аптекарском острове⁴¹ и совершенно оглох от этого взрыва^[16]. У них родился сын, который так же, как и родители, в беженстве поселился в Сербии. Кажется, он слегка ненормален^[17].

Другая дочь дедушки Елизавета⁴² вышла замуж за управляющего своего имения –⁴³ Винклера⁴⁴, швейцарца по происхождению. От этого брака было двое детей: Ольга, в замужестве Шадурская, потерявшая мужа во время эвакуации в Сербию, и сын которой⁴⁵, будучи совсем молодым человеком, заболел и впал в идиотизм. Его поместили в лечебницу в Швейцарии.

³⁷ Марии Григорьевны (в первом браке Иловайской). – Примеч. О. Н. Трубецкой.

³⁸ (1830-24.02.1872). – Примеч. О. Н. Трубецкой.

³⁹ (1841-30.03.1876). – Примеч. О. Н. Трубецкой.

⁴⁰ Ошибка автора: имеется в виду князь Алексей Юрьевич Долгоруков.

⁴¹ Сергей Алексеевич Хвостов (муж А. И. Унковской) был убит при взрыве на Аптекарском острове. – Примеч. О. Н. Трубецкой.

⁴² (1838-4.10.1908). – Примеч. О. Н. Трубецкой.

⁴³ Сына домашнего врача Александра Эрнестовича. – Примеч. О. Н. Трубецкой.

⁴⁴ (1838-23.02.1909). – Примеч. О. Н. Трубецкой.

⁴⁵ Александр. – Примеч. О. Н. Трубецкой.

Во время одного посещения своей матери, он ударил ее так сильно в грудь, что у нее от этого удара развился рак, и она скончалась⁴⁶.

Мне остается сказать о самой близкой сестре моего отца, которую мы горячо любили – Марье Петровне Зиновьевой.

История ее брака тоже характерна для этого поколения. В ранней молодости она была кем-то увлечена, но родители не сочувствовали предмету ее увлечения и запретили о нем помышлять. Тогда она объявила, что никогда и ни за кого не выйдет замуж. Между тем ее полюбил Зиновьев и открылся в своем чувстве дедушке. Последний благоволил Зиновьеву и посоветовал ему поступить в Сенат в Москве, где он сам был первоприсутствующим.⁴⁷ Каждый день утром по делам службы Зиновьев являлся к дедушке с докладом. Он заставлял мою тетью в столовой за утренним кофе, и та угощала его, в ожидании предстоящего доклада. Видя в Зиновьеве маленького чиновника, подчиненного своего отца, тетя была с ним мила и любезна в противоположность к другим молодым людям, на которых враждебно смотрела, как на возможных своих претендентов. Так незаметно они сблизились, Зиновьеву удалось покорить ее сердце, и она вышла за него замуж.

Я узнал ближе тетью Зиновьеву, когда мы переехали из Калуги в Москву. Тетя давно уже овдовела и была бодрой свежей старушкой-бабушкой. Она на четыре года старше была моего отца и оба горячо любили друг друга.

Это было добрейшее существо с крепким складом души, старого закала и воспитания. Чувство долга было в ней непреклонно. Она никогда не позволила бы себе уклониться от него ни на йоту. Она выросла и умерла в старых простых понятиях беззаветной преданности престолу, считая священной особу Государя и всякую критику или осуждение его грехом. Она была религиозна и набожна тоже по-старому. Те же понятия руководили ею и в семейной и общественной жизни. При всей доброте, она была очень вспыльчива и не стеснялась высказывать свое негодование, когда была кем-нибудь недовольна. Она жила в типичном барском особняке в Борисоглебском переулке на Поварской. Передняя вела в огромный двусветный зал с хорами. Зал отделялся от гостиной аркой. Там всегда сидела за рукодельем тетя Маша в типичной обстановке [18]40-х годов с развешенными по стенам картинами-копиями собственной кисти. В зале и гостиной вдоль стен стояли всякие замысловатые часы с двигающимися фигурами и птицами. Это всегда занимало всех детей, которых к ней приводили.

Доброе горячее сердце, живость и отзывчивость – все это в соединении с большим семейным сходством с моим отцом, внушало и нам, его детям, нежное чувство к старой тете, хотя мы всегда немного посмеивались над нею. Тетя это как-то заметила, в начале нашего пребывания в Москве, и немного обиделась, но потом все это сгладились; она неизменно добра была к нам, и мы имели к ней искреннюю горячую привязанность.

Муж моей тети скончался давно. Я его никогда не видел. Знаю только, что в свое время он был попечителем учебного округа, кажется Харьковского. От этого брака родились сын⁴⁸ Николай Павлович и две дочери – Эмилия Бельгард и Марья Шамшева.

Молодость Николая Павловича была отмечена трагическим событием. Он был влюблен в свою двоюродную сестру, дочь князя Александра Петровича Трубецкого [Эмилию]. Мать долго не разрешала ему брака, как противного канонам церкви. Наконец, время и постоянство одержали верх и тетя согласилась. Николай Павлович полетел в деревню, где жила его невеста. Та, в ожидании жениха, надела белое платье. Внезапно у нее сделался молниеносный дифтерит⁴⁹. Она задыхалась. Позвали неопытного местного доктора. Тот решил, что необходимо

⁴⁶ От воспаления легкого (которое при раке не прощает) по счастью без страданий. – *Примеч. О. Н. Трубецкой.*

⁴⁷ Дедушка был губернатором в Орле, а Зиновьев был у него чиновником особых поручений. – *Примеч. О. Н. Трубецкой.*

⁴⁸ Два сына Николай и Петр Павловичи. – *Примеч. О. Н. Трубецкой.*

⁴⁹ У Эмилии был нарыв в горле, а не дифтерит. Она сильно страдала, но в последний момент надела белое платье. Земский врач предложил проткнуть нарыв и сделал это восковой свечой. Гной хлынул [неразборчиво] Эмилия задохнулась. – *Примеч.*

немедленно облегчить дыхание, вскрыв опухоль в горле, и сделал это так неудачно, что у нее сделалось сильнейшее кровотечение и она скончалась. Когда Николай Павлович с радостным нетерпением влетел в дом, он нашел свою невесту уже на столе в том самом белом платье, которое она надела, чтобы его встретить.

Такой трагический исход романа произвел, конечно, сильнейшее потрясение в бедном Зиновьеве. Через некоторое время он уехал за границу. Если память не изменяет, у него была какая-то глазная болезнь. В семье доктора, у которого он лечился, он познакомился с Пашковским учением (баптизмом)^[18] и говорил, что «вместе с светом физическим он увидел свет духовный».

Вернувшись в Россию, Николай Павлович поселился в своем имении Орловской губернии и стал страстным хозяином. Все свои доходы он тратил на расширение и улучшение хозяйства, покупку скота, округление владения и т. д. Хозяйство Зиновьева приобрело известность. Вместе с тем он стал убежденным сектантом, и на почве пропаганды своей веры имел столкновения с местной администрацией, ибо в ту пору это строго воспрещалось.

Когда мы переехали в Москву из Калуги, Бельгарды жили с тетей Зиновьевой в ее доме в Борисоглебском переулке. Он был предводитель дворянства Ефремовского уезда Тульской губернии. Мы, дети, всегда прежде всего схватывали смешные стороны новых знакомых и родственников. Александр Карлович Бельгард, всегда необыкновенно корректный, звавший наших родителей «дядинька» и «тетенька», смеявшийся деревянным приличным смехом, выражавший тем, что говорил и шутил и всем своим существом крайнюю благонамеренность, был для нас неисчерпаемым поводом к передразниванию и смеху. Помню, как он, однажды, развеселившись, перешел со мною, гимназистом, на «ты» и, выпив брудершафт, сказал: «Пошел вон, свинья» и засмеялся своим приличным деревянным смешком. Я много раз повторял эту сцену сестрам. Только позднее, когда я стал старше и перестал судить людей по маленьким смешным сторонам, я понял, каким прекрасным благородным человеком был Бельгард. И он и жена его, моя двоюродная сестра, были редкой доброты, и кажется были просто неспособны кого-либо обидеть. Это была семья старомодного дворянского уклада с такими же простыми крепкими взглядами на все, какими жила моя тетя Зиновьева. У них были две дочери, обе высокие, крупные. Старшая, Маня, была скорее красива, *une belle fille*⁵⁰. Девушкой она имела успех. В нее был влюблен внук поэта Пушкина^[19]. Не знаю, стал ли он ее женихом, или только рассчитывал на взаимность, но когда она предпочла ему князя Святополк-Мирского (Дмитрия Николаевича), Пушкин застрелился, и я помню, какое тяжелое впечатление это на всех произвело. Она может быть вела себя с ним легкомысленно по молодости, но по существу была хорошая, и счастливо прожила со своим мужем. Я почти не знал последнего. Он был членом Государственной думы, крайне правым, и соединял большую образованность с ретроградством, доходившим до парадоксальности. Он в Думе оплакивал уничтожение крепостного права. Мирский редко выступал, но когда говорил, то все его слушали, потому что его мнения были всегда оригинальны и занимательны. Вторая дочь Эмилия не вышла замуж и жила с родителями. Революция в своем вихре сломала всю эту семью. Александр Карлович и обе его дочери в разное время скончались, но кажется все⁵¹ от сыпного тифа^[20]. Осталась моя двоюродная сестра в Москве, одиноко заканчивающая жизнь, которая была так полна счастьем для нее до последних лет. Она живет со своей сестрой Шамшевой. Весной 1929 года получил известие, что Эмилия выехала из Москвы и проживает в Польше, в имении брата ее зятя князя Михаила Николаевича Святополк-Мирского.

О. Н. Трубецкой.

⁵⁰ Красивая девушка (*франц.*).

⁵¹ Александр Карлович скончался от грудной жабы [стенокардии] в Москве, куда приехал с женой после кончины дочерей, которые скончались друг за дружкой: [Мария Святополк-] Мирская в Кишиневе, а Эмилия в тюремном Лазарете в Ростове. — Примеч. О. Н. Трубецкой.

Если кто возбуждал вечно нашу смешливость, то это, конечно, супруги Шамшевы, своей феноменальной глупостью, каждый по-своему. У них были голоса еще более глупые, чем то, что они говорили. Они были помещиками Орловской губ[ернии], зиму проводили в Орле и только наезжали в Москву. У них было много детей. Маша Шамшева была более, чем легкомысленного поведения, но была так добродушна и глупа, что с нее нечего было взять. Ее муж, Петр Иванович⁵², любил благонамеренно рассуждать. Помню, как однажды, тетя Зиновьева, всегда необыкновенно терпеливая и никогда не позволявшая себе ни на минуту распуститься, пожаловалась на ревматическую боль, должно быть действительно изводящую, если она о ней сказала. «Но маменька, – заметил благонамеренный Петр Иванович, – физические страдания не могут сравниться с нравственными». – «Кто тебе говорит о нравственных страданиях», – вспылила на него добрая тетя, и так на него прикрикнула, что Петр Иванович совсем смешался. Он никак не рассчитывал на такой эффект своего благонамеренного замечания.

Старшая дочь Шамшевых вышла замуж за графа [Сергея] Комаровского, отец коего [Леонид] был профессором международного права в Москве. Это была также очень благонамеренная и правая семья. Другая дочь вышла замуж за Мостового. Сын Петушок женился.

Кроме потомства моего деда у нас были менее близкие родственники по моему отцу. В Москве проживала вдова князя Алексея Ивановича Трубецкого (брата моего деда) – княгиня Надежда Борисовна Трубецкая, рожденная княжна Святополк-Четвертинская. Она доживала свой век в нижнем этаже дома, принадлежавшего раньше ее мужу в Знаменском переулке^[21], но проданного им купцу Сергею Ивановичу Щукину^[22], который занимал большой нарядный бельэтаж, с крупными гербами Трубецких на плафоне. У него была большая галерея современной французской живописи вплоть до кубистов. Княгиня Надежда Борисовна была красивая старуха с тонкими благородными чертами лица. Нас детей возили к ней на поклон на Рождество и на Пасху, и кроме того, она появлялась на семейных свадьбах. Ее «подымали» как семейную Иверскую. Умерла она 93 лет от роду.

Другой такой же представительницей старой Москвы была другая старая тетка моего отца, Прасковья Алексеевна Муханова, жившая в старом особняке на косогоре во дворе в одном из переулков Пречистенки. Прасковья Алексеевна, казалось, сходила из рамок старинного портрета на праздники. Начиная с двора, казалось, что попадаешь в какое-то давно отжившее время. Впечатление это усиливалось при входе в переднюю. Дверь отворял древний лакей, на деревянной длинной скамье лежала смятая подушка, на которой, очевидно, он только что отдыхал. Особый запах, тоже старинный, стоял в доме. Прасковья Алексеевна в белом чепце сидела в креслах и размеренным старческим голосом вела разговор такой же, какой в свое время вела, вероятно, ее бабушка, когда она сама в молодости ходила к ней на поклон. Помню ее рассказ, как к ней ночью в спальню залез вор через окно, перепугал ее до смерти, обобрал все, что попало под руку. Бедная старушка неподвижно и беспомощно на все это смотрела, но главная гадость вора заключалась в том, что он не закрыл за собой окна и простудил Прасковью Алексеевну. Она даже не позвонила, потому что все ее слуги были ее современниками, и не проснулись бы на звонок. *Depuis lors j'ai pris à mon service un jeune homme de soixante ans*⁵³, – добавила она. Прасковья Алексеевна, ее дом и слуги были словно уголок Грибоедовской старой Москвы. По своей смерти Прасковья Алексеевна завещала свой дом под какую-то богадельню^[23].

Была еще многочисленная семья Шаховских. Дочь князя Николая Ивановича Трубецкого⁵⁴, другого брата моего деда, которого звали *le nain jaune*⁵⁵ и который ведал Кремлевскими

⁵² Автор ошибается: Петр Николаевич Шамшев (1868-1943).

⁵³ С тех пор я взяла молодого человека шестидесяти лет (*франц.*).

⁵⁴ В данном случае имеется в виду не Николай, а другой его брат Алексей Иванович Трубецкой.

⁵⁵ Желтый карлик (*франц.*).

дворцами, [Наталья Алексеевна] вышла замуж за Шаховского. У них было прекрасное состояние, которое Шаховской совершенно расстроил неудачными комбинациями. У него было, если не ошибаюсь, около 2 миллионов рублей. Он решил каждому из детей оставить состояние такой же ценности, для чего прибег к очень простой комбинации: покупал крупное имение, закладывал его, на эти деньги покупал другое имение, и т. д. В результате на его имениях лежал крупный долг, оборотного капитала для ведения хозяйства не было никакого. Неудивительно, что такой способ ведения дел привел к полному разорению. Шаховские были очень стеснены в средствах и захудали.

Одна из дочерей вышла замуж за архитектора Родионова. Он был хороший человек, но недалекий и довольно бездарный архитектор и не очень толковый. Мой отец, бывший почетным опекуном и ведавший Елисаветинским институтом и Павловской больницей, устроил его архитектором, кажется, в институте. Родионов часто являлся по утрам с докладом к моему отцу, который относился к нему всегда заботливо, но нередко сердился на его бестолковость. Родионов был не без претензий на «изыщенные» манеры, а в дворянском собрании всегда был в партии крайних консерваторов⁵⁶. Благодаря протекции, ему была поручена архитектурная реставрация Успенского собора перед коронацией императора Николая II, и он навлек на себя большое негодование ревнителей старины, пробив окно в стене Собора для коронации.

Была еще у моего отца двоюродная сестра Всеволожская⁵⁷, жившая с мужем в Петербурге. Кроме того, было родство со стороны бабушки, рожденной Витгенштейн, в Италии, Германии и Австрии. Мы их совсем не знали. Живя в Москве и будучи очень русской семьей, дружной и многочисленной, мы, естественно, утратили связи с иностранцами.

В Уши подле Лозанны^[24] жила княгиня Леонилла Ивановна Витгенштейн, рожденная княжна Барятинская. Она была сестрой фельдмаршала Барятинского и вышла замуж за брата моей бабушки [Льва Витгенштейна]. Будучи в Швейцарии в 1905 году я познакомился с нею на склоне ее лет. В молодости она слыла знаменитой красавицей, ее портрет изображали на разных предметах. Она сама однажды в гостинице увидела ковер со своим изображением. Муж ее вернулся в Германию, где был владетельным князем^[25]. Выехавши с ранних лет за границу, Леонилла Ивановна перешла в католичество. В старости она сохранила красоту и была *grande dame* в полном смысле этого слова. Она была необыкновенно живая, отзывчивая, всем интересовавшаяся. Россию она покинула в царствование императора Николая Павловича, который был в числе поклонников ее красоты. Она продолжала живо интересоваться тем, что делалось в России. Когда в 1905 году мой старший брат Петр, бывший одновременно с нами в Швейцарии, приехал к ней, она расспрашивала его про политическое движение, приведшее к Манифесту 17 октября. Мой брат не был из крайних правых, но тетушка, которой в это время было 89 лет, нашла его недостаточно передовым. Помню, что когда потом в Москве я рассказал это моей тете Зиновьевой, которая приводилась ей племянницей, в доказательство того, какую свежесть она сохранила, тетя Зиновьева спокойно заметила: «Бедная тетя, я думала, что она действительно свежа, а она просто впала в детство». Княгиня Леонилла Ивановна пережила и тетю Зиновьеву и все поколение моего отца, и скончалась 102 лет, в 1918 году. В первый раз у нее заболел зуб, когда ей было 96 лет, она позвала зубного врача, но тот ей сделал больно, и она прогнала его. Она помнила императора Александра I. По дороге в Таганрог, где он скончался, император останавливался в великолепном поместье Барятинских – Ивановском. Леонилле Ивановне было 9 лет, и она живо помнила, как Государь гулял с нею утром по их парку. Ей минуло 100 лет в 1916 году, в разгар войны. Она торжественно отпраздновала свой юбилей, принимала депутации и свое потомство до взрослых правнуков включительно и получила

⁵⁶ [Родионов] остался в Москве при большевиках и в 1925 [г.] заведовал Нескучным дворцом [Александринским дворцом в Нескучном саду], где организовал «Музей стула» [Музей мебели]. Туда была перевезена лучшая мебель из Гагаринской [усадебь] на Новинском бульваре. – *Примеч. О. Н. Трубецкой.*

⁵⁷ Екатерина Николаевна Всеволожская (дочь Николая Ивановича Тубецкого, le pain jaune). – *Примеч. О. Н. Трубецкой.*

в этот день поздравления по телеграфу от Государя, императора Вильгельма (II) и от Папы (Бенедикта XV). До кончины она сохранила всю ясность духа и живость сердца.

Я был у ее дочери княгини Киджи в Риме, в великолепном Дворце Киджи⁵⁸, где висит знаменитая деревянная лампа, работы Рафаэля, из ангелов и прекрасная картинная галерея. Из рода Киджи бывали Папы и эта семья сохранила наследственные прерогативы в Ватикане. Когда собирается Конклав для выбора Папы, то всегда старший представитель этой семьи запирает кардиналов и освобождает их, только когда выбор кончен.

Другие члены семьи Витгенштейн, как я уже сказал, имеются в Германии и Австрии. Двоюродная сестра моего отца, Витгенштейн вышла замуж за канцлера Гогенлоэ, который был в родстве с императором. Ей принадлежали громадные поместья в Минской губернии и великолепный дворец под Вильной «Верки». Когда я служил в нашем посольстве в Берлине в 1901 году, мне пришлось познакомиться с одним из сыновей канцлера Гогенлоэ – моим троюродным братом.

⁵⁸ Ныне этот дворец продан итальянскому правительству и в нем помещается Министерство иностранных дел. – *Примеч. автора.*

Семья моей матери

Постараюсь теперь записать все, что помню о семье и родстве со стороны моей матери, рожденной Лопухиной. Мой дед и бабушка Лопухины так же, как и Трубецкие, скончались до моего рождения, и я знаю о них только по рассказам. Как я жалею теперь, что не больше расспрашивал о них всех. В молодости эти вещи не так близко затрагивают, и не заботишься о сохранении воспоминаний. А потом, когда отношение меняется, то оказывается уже поздно. Свидетели минувшего уже ушли, и живые события и черты быта предаются бесследному забвению. Если б беспечная молодость знала, как грустно становится, приближаясь к старости, этот разрыв с прошлым, то она, может быть, не упускала бы этих нежных и дорогих связей с теми, кому идет на смену. Это и побуждает меня занести на бумагу хотя бы обрывки прошлого, сохранившегося в памяти по рассказам.

По счастью, мой брат Евгений, который помнил по личным воспоминаниям тех, кого я уже не застал, начертил такие прелестные их образы, что я не буду повторять и ухудшать нарисованные им портреты, а только постараюсь дополнить фактическими подробностями.

Трубецкие были представителями сановного военного барства старого уклада, Лопухины принадлежали к среднему помещичьему дворянству, состоя, однако, в близкой родственной связи со знатью, по Оболенским. Бабушка, Варвара Александровна Лопухина, была рожденная Оболенская. В этой семье получал иллюстрацию афоризм Кузьмы Пруткова^[26]: «В Петербурге живем мы, а в Москве живут наши родственники». Этот афоризм был характерен для кичливого, придворного и чиновничьего Петербурга, который считал, что в нем соль земли, он двигает государственной жизнью, он это – «мы», а Москва – провинция, милая, почтенная, но не имеющая веса старушка. О ней вспоминали на коронации, во время дворянских выборов, приездов царской семьи. Было хорошим тоном по временам послушать Кремлевские колокола или приехать на похороны почтенной тетушки, особенно если после нее оставалось хорошее наследство, но это была не настоящая жизнь; последняя была только в Петербурге. И питомцы старых родовитых семей, получив воспитание в Москве, ехали служить в Петербург, в Гвардию, дипломатию или министерства и быстро усваивали себе отношение к Москве, выраженное Прутковым.

Между тем, в свою очередь, истые москвичи не терпели этого отношения Петербурга и презирали чиновников и придворных, считая, что настоящее независимое общественное мнение и люди в Москве, что в ней вообще настоящая Россия, а Петербург не видит ее из своих канцелярий и среди суеты и интриг, которые принимает за подлинную жизнь. Доля правды была у обеих сторон. При той чудовищной централизации, которая была в основе старого государственного строя, Петербург правил Россией, диктовал ей законы, формировал администраторов, словом задавал тон государственной жизни. Зато, конечно, не в Петербурге, а в Москве билось сердце России, зарождался и развивался голос народной совести и сознания. И антагонизм двух городов был антагонизмом правительства и общественности, правящих и управляемых. Петербург был огромной канцелярией, а Москва центром производительности и промышленности, и вообще историческим, религиозным, национальным, и всяческим центром живых народных сил. Поэтому москвичи думали, что с большим основанием могут говорить про себя: «мы», а про Петербург – «они», или «наши родственники». Нужно ли добавить, что и те и другие создавали себе иллюзию, принимая себя за всю Россию, и что была еще сама Россия, загадочная, стихийная, спящая, и грозная в своих просыпаниях. Эту Россию старый Петербург и старая Москва проглядели, пока не разнуздали сами народную стихию, в которой потонули.

Но я вернусь к семье Лопухиных.

Они жили в типичном особняке на Молчановке⁵⁹ (впоследствии принадлежавшем Н. А. Хомякову). Дом их был олицетворением Тургеневского дворянского быта, всей прелести и романтизма, взрощенного в усадьбе. И такой подходящей усадьбой было прелестное подмосковное Меньшово, куда семья перекочевывала летом. Небольшой парк с поэтическим оврагом, спуск с лугом к реке, вьющейся под холмистым берегом, горизонт с полями и деревушками по ту сторону реки, свои миниатюрные поля, с березовыми рощами, их окаймляющими. «Посибириха», Рожай и «Сонина горка», прозванная в свое время по имени моей матери и бывшего с ней приключения, как она будучи еще девочкой, носилась верхом на лошади по этой горке. Трудно найти более подходящую иллюстрацию к этому милому быту больших, небогатых, дворянских семей. В старом доме полно молодежи, беспритязательного веселья, атмосфера романа, и во всех углах гости, которые довольствуются диваном с приставным креслом для ночевки, или просто сеновалом.

Такой усадьбой традиционно из поколения в поколение было Меньшово (название Меньшово произошло вследствие того, что эта скромная усадьба в семье Оболенских раньше обычно переходила меньшому брату^[27]), и тем же духом полна была Молчановка. Пять дочерей и три сына в течение многих лет, пока сменяли друг друга в качестве взрослой молодежи, поддерживали в доме настроение веселья и романтизма.

Я опять отошлю тех, кто будет читать эти строки к воспоминаниям моего брата, который так хорошо отметил разницу семейных укладов Трубецких и Лопухиных и дал почувствовать всю прелесть интимной совместной жизни родителей и детей в доме Лопухиных.

Тот же дух перешел наследственно и в последующие поколения.

Для моих детей я хочу сказать несколько слов о судьбе каждого из членов этой семьи, из коих многие стали родоначальниками других многочисленных семей.

Старший сын Александр кончил, еще по-старому, Пажеский корпус^[28], но он стал на ноги в эпоху реформ императора Александра II и избрал судебную карьеру, проложив путь остальным братьям. Он был красив, с седыми волосами в самом расцвете молодости, жизнерадостный и талантливый и быстро продвигался вперед в новой карьере, которая привлекла столько живых талантливых людей. Реформы императора Александра II, пролагая пути молодому поколению, создали особые культурные типы людей – земца, судебного деятеля. Люди земли, привязанные к родному поместью, могли находить полное удовлетворение в широкой земской деятельности, – в обязанностях гласного уездного и губернского, в должности предводителя дворянства, которая получала такое широкое поле деятельности, ибо предводитель был и председателем земских собраний, и местного учебного комитета, и воинского присутствия, по делам только что введенной всеобщей воинской повинности.

Люди, которым была нужна служба, как источник существования, получали возможность подвизаться на благородном поприще судебной деятельности, наиболее независимой, в принципе, из всех государственных служб, наиболее идеалистической, поскольку шла речь о чистом служении правосудию, и в то же время вводившей в соприкосновение с народной совестью в лице нового тогда учреждения суда присяжных. Эта же деятельность имела огромное воспитательное значение для народных масс, ибо она была проводником начал права и обязанности в народном сознании.

Судебная реформа была делом исключительно просвещенных идеалистически настроенных деятелей и задавала исполнителям самые высокие требования, которые, в общем, были с честью выполнены. Последующие года, связанные с революционным брожением в обществе и реакционными течениями в правительстве, создали значительные отклонения в Судебном уставе 1864 года, нарушая порою судебную независимость и вводя элемент некоторого приспособления и подчинения юстиции требованиям внутренней политики. Конечно, это было

⁵⁹ Видимо, дом № 7 по Большой Молчановке, в настоящее время не существует.

прискорбно, ибо колебало начало незыблемости права в народе, только что освободившемся от крепостной зависимости и в котором нужно было упорно и последовательно укреплять уважение к праву.

Во всяком случае, в ту пору, о которой я говорю, судебная реформа привлекла лучшие и благороднейшие элементы среди нового поколения. Судебные деятели были проводниками либерального консерватизма, который был так важен в противовес беспочвенной интеллигенции и классовой реакции. Вот почему всего более подготовленными к такой деятельности были представители просвещенной части дворянства.

Александр Алексеевич Лопухин был женат на Елизавете Дмитриевне Голохвастовой. От этого брака он имел пять сыновей, но к сожалению, супружеское счастье их не было прочным. Елизавета Дмитриевна мало подходила веселой живой и увлекающейся натуре своего мужа. Сама она была членом семьи совершенно иного и несколько тяжеловесного уклада, и мало сходилась с семьей Лопухиных. Она говорила каким-то особенно чистым русским языком, называя сестер своего мужа – «золотка Маша», а братьев «деверь Сережа». В молодости, улавливающей прежде всего то, что кажется смешным, ее словечки и длинные необыкновенно обстоятельные рассуждения, вызывали смех или нагоняли скуку. Она не сумела закрепить за собою чувство своего более легкомысленного мужа и делала ему сцены ревности, иногда резкие и может быть грубые, которые имели результат обратный ее ожиданиям. Она гораздо серьезнее и глубже относилась к своим обязанностям, чем муж, который, в конце концов, ее бросил. Елизавета Дмитриевна не давала развода мужу.

После Русско-турецкой войны 1878 года Ал[ексей] Ал[ександрович] был назначен в Константинополь по делам, связанным с претензиями к турецкому правительству пострадавших от войны русских подданных. Ал[ексей] Ал[ександрович] воспользовался пребыванием в Константинополе, чтобы получить развод от патриархии и женился на предмете своего увлечения в Греческой церкви. Потом, вернувшись в Россию, он через некоторое время был председателем судебной палаты, кажется, в Одессе, но развод и новый брак не имели законного признания в России, и это неправильное семейное положение заставило в конце концов покинуть службу^[29]. Он кончил свою жизнь, как присяжный поверенный. Елизавета Дмитриевна осталась в Орле с сыновьями. Семья Лопухиных признала виновным Алексея Александровича и потому продолжала сохранять родственные отношения с каждым из супругов. Елизавете Дмитриевне можно было поставить в упрек тяжеловесность, быть может дурной характер в молодости, но она заслуживала полного уважения своей безупречной жизнью, которую посвятила воспитанию сыновей. Я ближе увидел ее уже под конец ее жизни, когда она возвращалась морем кажется из Франции, проехала через Константинополь, где мы жили после свадьбы с женой. Характер ее смягчился тогда. Рассуждала она все так же длинно и обстоятельно, но мы ее искренно полюбили, и потом бывали у нее в больнице в Москве, когда она заболела раком, от которого и скончалась хорошей христианской кончиной.

Двое старших сыновей – Алексей и Дмитрий, были сверстниками моих старших братьев, годом или двумя моложе их, и одновременно были студентами Московского университета. Алеша студентом был милым малым, покучивал. Кончив университет, он пошел по судебной части, и скоро выдвинулся своими способностями. Он быстро шел по служебной лестнице, может быть, для него было бы даже лучше, если бы не имел такого успеха, который возбудил в нем честолюбие. Он довольно рано женился на княжне Екатерине Урусовой, во время одного из первых своих служебных этапов в Ярославле, где в то же время начинал свою профессорскую деятельность мой брат Евгений в Демидовском лицее. Помню в своем детстве приезд двух стройных хорошеньких девиц Урусовых в Калугу, где жили их родственники. Они выросли в провинциальной ярославской атмосфере, не особенно культурной, но в почтенной семье. Жена Алеши Лопухина имела к нему чувство, которое в трудные времена, через которые им пришлось пройти, было всепоглощающим и помогло ей поддержать мужа в его испытаниях. Но

в будничное время она была самой будничной женщиной. Ее прозвали у нас «фигура», потому что она очень любовалась своей фигурой и, сравнивая себя с другими, говорила: «А у меня фигура лучше ее». Такая жена не повышала требований мужа к самому себе. Карьера мужа льстила ее самолюбию, и она оценивала его служебную деятельность с этой внешней стороны. Повышаясь каждые три года в должности, Алеша был [в] 40 лет уже прокурором судебной палаты в Харькове. Это было в 1903 году. В это время вице-губернатором там был мой бо-фрер⁶⁰ М. М. Осоргин, а губернатором Ив[ан] Мих[айлович] Оболенский, прославившийся, как представитель твердой власти. Он подавил крестьянский бунт, перепоров массу крестьян. Иван Михайлович был большой балагур, в семье его любили, но не считали серьезным человеком. Он сам пустил про себя сомнительную остроту: «Какое сходство между хорошим шампанским и мною... – Оно sec⁶¹ и я сек». Репутация представителя твердой власти, имя и богатство – все это создало Оболенскому большое положение. Его, чего никогда не делали, Государь произвел в генералы по адмиралтейству, потому что в молодости Оболенский был моряк, сделал генерал-адъютантом и назначил генерал-губернатором в Финляндию. Карьера его бесславно кончилась на этом посту в 1905 году, когда, сдав все позиции сепаратистам, он должен был покинуть Финляндию на броненосце «Слава». Он скончался после тяжелой болезни, которую переносил с большим терпением, сознавая приближение конца. У него остались две дочери: старшая вышла замуж за [Дмитрия Ивановича] Звегинцева, младшая за Петрика Оболенского, имела от него двух сыновей, развелась и вышла замуж за...^[30]

Оболенский очень оценил Алешу Лопухина, с которым к тому же был в родстве, и способствовал его дальнейшему служебному продвижению. В это время, однажды через Харьков проезжал министр внутренних дел Плеве. Оболенский обратил его внимание на Лопухина, и последний ему очень понравился. Он предложил ему место директора Департамента полиции.

В то время это был один из самых видных и крупных постов в России. Плеве сам раньше занимал это место. Не знаю, чем и как он соблазнил Лопухина покинуть ту благородную и чистую карьеру, в которой он шел прямо к высшей карьере и, наверно, впоследствии был бы министром юстиции. Прельстил объемом власти и открывавшихся возможностей. По-видимому, Лопухин надеялся, что, обращаясь к нему – прокурору [Харьковской судебной] палаты, Плеве желает поставить дело Департамента полиции в рамках законности и права, и что он в состоянии будет провести эти начала в жизнь.

Из попытки этой ничего хорошего не вышло. Он восстановил против себя тогдашнего министра юстиции Муравьева, был встречен несочувственно всеми прежними его товарищами по судебной деятельности. Министерство Плеве, как известно, было одиозно в обществе, которое волновалось и революционизировалось изо дня в день. Лопухину ни в чем не удалось изменить практику политического сыска и административного произвола; Департамент полиции оказался гораздо сильнее своего нового директора, а между тем он нес на себе ответственность за осуществление самых непопулярных мер. В конце концов, Плеве убили, Лопухина назначили губернатором в Ревель, где он был в революционное время 1905 года и проявил чрезмерный либерализм, по мнению тогдашнего правительства. Добровольно, или вынужденно, не помню, он покинул этот пост^[31] и ему больше не суждено было вернуться на государственную службу.

Однажды сбитый с правильного пути, он не сумел найти твердой почвы и думал испить прежнюю свою службу в Департаменте полиции новоявленным радикализмом. Видимо, он уверовал в революцию. Во время первой Думы он сблизился с Милюковым, который едва не сделался премьером. Лопухин играл при нем роль спеца и составлял ему проекты различных мероприятий, которые должны были осуществиться, как только Милюков будет призван к

⁶⁰ От франц. beau frère – здесь: зять, муж сестры.

⁶¹ Сухое (франц.).

власти. Он же помогал своему бо-фреру [Сергею] Урусову, попавшему в Думу, в составлении нашумевшей тогда речи о «вахмистрах по воспитанию», правящих в России. Под этим разумелся тогдашний временщик Д. Ф. Трепов.

Все это поведение восстановило против Лопухина его товарища по детству в Орле – П. А. Столыпина, с которым раньше он был в самых дружеских отношениях.

После разгона первой Думы^[32] наступил период реакции. К этому времени относится загадочный случай в жизни Лопухина, имевший для него фатальные последствия. Его старшая дочь Варя бесследно пропала в Лондоне и нашлась только на третий день. Вскоре после того было опубликовано сенсационное разоблачение о том, что один из главных вожаков партии с[оциалистов]-р[еволюционеров] за границей, член их Центрального комитета, Азеф, принимавший деятельное участие в организации террора, является одновременно с этим служащим Департамента полиции. Разоблачение это было опубликовано Бурцевым, который специализировался на такого рода слежке, а получил он его от... Лопухина, во время разговора в вагоне, будто бы врасплох^[33].

В то время некоторые говорили, что разоблачение это должно рассматриваться, в сущности, как услуга правительству, ибо оно дискредитировало среди самих с. – ров их партию, свидетельствуя о крайней степени разложения их ЦК, раз в нем нельзя отличить революционера от агента полиции. Но Столыпин посмотрел на это совершенно иначе, а именно как на злоупотребление служебной тайной. В своем возмущении на этот поступок он пересоллил, ибо приравнял этот поступок к революционному действию. Лопухин был арестован и посажен в тюрьму в ожидании особого суда, который был назначен над ним, под председательством сенатора Варварина. Суд этот состоялся. Оппозиционная печать приняла сторону Лопухина и окрестила этот суд «Варвариным судом». Лопухин был присужден к лишению всех прав состояния и ссылке в Минусинск. За время этих испытаний жена его как-то выросла духовно и была ему неизменной и верной поддержкой. По истечении некоторого времени Лопухин был помилован и возвращен из ссылки. Он ушел в дела, поступил в частный банк и там вскоре проявил свои выдающиеся способности, которые заставили специалистов высоко ценить его^[34]. Он оставался в России при большевиках и покинул ее чуть ли не в 1923 году^[35], переселился в Париж и здесь занялся банковским делом.

Алексей Александрович внезапно скончался в Париже [1 марта 1928 года]. Незадолго до кончины он сказал своим близким, что не желает быть похоронен по православному обряду и просил, чтобы тело его сожгли. Вдова сочла долгом в точности исполнить волю покойного мужа. Никто из нас не присутствовал при этих гражданских похоронах, но я поехал проститься с его прахом, когда он еще лежал на постели, на которой привязана была старая семейная икона. Едва ли он был воинствующий противник Церкви, и, скорее всего, слова, которые он сказал жене, вырвались у него под влиянием случайного настроения.

Старшая дочь [Варвара], о которой шла речь, вышла замуж за какого-то большевика, чуть ли не чекиста, и родители перестали ее принимать. Вторая дочь, Маруся, ничем таким себя не проявила, вышла замуж, развелась и вновь вступила в брак. Я вижу их настолько редко, что не знаю в подробностях судьбу членов семьи.

Совсем другим типом был второй брат Алеши – Митя. Насколько мягкий Алеша был типичным Лопухиным, настолько Митя был весь в Голохвастовых. Он говорил тем же нарочито русским языком, каким говорила его мать. Когда он был в университете, студенты не носили формы, Митя ходил в безрукавке с русской красной рубашкой. Он был, как говорится, кровь с молоком – румяный, с черными как смоль волосами, сверкающими глазами, говорил басом и любил слушать свой голос. Он не имел талантности своего брата, но любил рассуждать об умных вещах; он перерывал своим сочным басом, очень довольный его звуком и круглыми фразами, которые катились у него, как будто на крепких рессорах. Помню, Митя как-то обедал у нас в Петербурге и стал кругло и сочно говорить о евреях, считая их виновни-

ками всех зол всегда и повсюду и поголовно. Пока я слушал плавное течение его речи, наша мама кипела, и, наконец, не выдержала, прервав его голосом, полным негодования: «А Бурнабо...» – «Бурнабо...» Митя приостановился на минуту – ему этот звук понравился: «Ну что же, что Бурнабо – Был один и обчелся». – «Митя – спросил я, – а ты знаешь, кто был Бурнабо...^[36]» – «Признаться, запамятовал, но видно был хороший человек, уж больно жена твоя хвалит». И речь его снова покатила на рессорах. Со всем тем он был благородный малый и прямая натура, военная по существу. И вполне последовательно он выбрал военную службу и вышел в лучший из тогдашних армейских полков – Нижегородский^[37], который стоял на Кавказе. Там он женился на дочери Султан-Крым-Гирея, и с ней приехал к нам, познакомиться ее, в Меньшово. Она всем понравилась. У нее был свой шарм, она как-то очень быстро и просто вошла в обширную семью мужа. Отец ее был почему-то католиком, и сама она поэтому была крещена в католичество, хотя ей было гораздо ближе православие. Кажется она впоследствии и присоединилась к православию, но пока она еще была католичкой, это обстоятельство, как ни странно, помешало Мите быть принятым в Академию Генерального штаба. Оказывается, в свое время опасались жен-полек, и так как поляк и католик считались синонимами, то было издано правило о том, что офицер, женатый на католичке, не может быть принят в академию. Пока недоразумение было выяснено, прошел год, и только на следующий год Митя упорством добился своего, поступил в академию и кончил ее двухлетний курс.

Во время Японской войны он выдвинулся, как начальник штаба отряда генерала Мищенко, который делал лихие набеги в северной Корее. Перед последней войной Митя был командиром не помню какого армейского уланского полка. Он был настолько на виду, что для него сделали исключение – назначили командиром лейб-гвардии Конно-гренадерского полка^[38]. В это время его единственный сын Георгий только что кончил Николаевское кавалерийское училище. Это было счастливейшее семейство, тесно спаянное между собой. Родители души не чаяли в своем сыне. После трудной армейской лямки, Митя стал генералом, командиром славного гвардейского полка. Сын – любимец и гордость родителей, вышел в офицеры.

В это время вспыхнула война. Георгий вышел в Конно-гренадерский полк и уехал с отцом на войну. Мать приехала в Петербург, чтобы поступить сестрой милосердия в какой-нибудь отряд, где она могла бы быть ближе к мужу и сыну, и, как они, отдаться войне.

Прошло каких-нибудь две недели с небольшим, и в Петербург пришло известие, сначала туманное о бое при Гумбинне (если не ошибаюсь 6 августа 1914 года)^[39], в котором среди многочисленных потерь Гвардии, был убит Лопухин, но было еще не выяснено – отец, или сын. Братья отца, в числе их Боря [Лопухин], особенно близкий к семье Мити, не решались сказать это своей бель-сёр⁶², ибо неизвестность усугубляла тяжесть известия. Наконец удалось установить, что был убит Георгий пулей в лоб... Легко себе представить, каким тяжелым ударом для родителей была эта гибель единственного сына. Митя за короткое время успел снискать к себе любовь и уважение офицеров своего полка своей мужественностью, прямоотой, справедливостью и доброй душой. Постигший его удар поразил его прямо в сердце, но он ни на минуту не уклонился от исполнения своего воинского долга и ответственных обязанностей командира полка на войне. Наружно, на службе он был все тот же, но один из полковников рассказывал мне, что ему пришлось невольно подслушать его рыдания ночью. Бедный Митя. Он всего на несколько месяцев пережил своего сына. Он был ранен пулей или снарядом в живот. На месте нельзя было сделать операции. Его повезли по тряской дороге куда-то далеко, и он скончался в больших страданиях^[40].

⁶² Belle soeur (франц.) – здесь невестка, жена брата.

От всей семьи осталась одна мать и жена Лили Лопухина, сохранившая свою молодость до 50-летнего возраста. Уже после большевистского переворота, в 1918 или 1919 году, она вновь вышла замуж за какого-то человека⁶³, который имел к ней долголетнее чувство.

На несколько лет моложе старших братьев был Боря, у которого в юности молотилкой оторвало правую руку. Младший в семье был Юша, между ними еще Вика. Боря и Юша остались старыми холостяками. Боря служил одно время в Западном крае уездным предводителем дворянства по назначению. Юша служил по судебной части. Оба были средних способностей, но большие добряки. Оба немножко сентиментальны и немножко смешны. Боря в молодости легко увлекался, легко обижался, вскипал, внезапно, как кофейник, и потому его любили поддразнивать. Помню, как он взволнованно рассказывал про одно свое увлечение: «Она сидела на скамейке и читала, а я... я испекся». Последние годы во время войны оба брата поселились в Москве. Иногда они устраивали маленькие обеды. Боря сам готовил и умел приготовить невероятно вкусные и совершенно новые блюда. Они были оба очень радушны, и все ценили эти их обеды. Оба брата после большевистского переворота оставались в Советской России, в Орле. Наступление денкинских войск застало их там, но перед самым входом в Орел этих войск, оба брата были убиты.

Вика был наименее близок нам. В юности он был очень красив, и столь же легкомыслен. Будучи гимназистом, он однажды, в Орле, в цирке взобрался на слона и направил его на губернаторскую ложу. Его чуть ли не выслали за это из Орла. Помню его красивым юнкером Николаевского кавалерийского училища. Потом он перешел на гражданскую службу, женился на какой-то еврейке^[41], впрочем не плохой женщине, был губернатором, но тоже, что-то у него не вышло, и он вынужден был покинуть службу^[42]. Эту бедную женщину, страстно любившую своего мужа, постигла трагическая участь. Оба они, и муж и жена, были уже совсем пожилые, когда Вика, увлекшись другой женщиной, бросил свою жену, к тому же совсем глухую^[43]. Это было при большевиках. Летом Вика жил на даче под Москвой. Верная его жена решила пойти хоть издали взглянуть на него. Денег у нее не было, и она отправилась пешком по шпалам железной дороги. Вследствие глухоты, она не услышала поезда, который шел, и была убита на месте.

Когда братья Лопухины были молоды, у них была привычка вечно напевать какой-нибудь полюбившийся им мотив, и я изображал их, как лейтмотив каждого. Алешин мотив был – вся мягкость: Пуари, пуари, пуари пуай, пуари, пуари, пуари. – Митя мрачно пел: *il est mort pour avoir aime*⁶⁴ – рипой, причем *mort* он выговаривал так, как будто после «р» стоял твердый знак. Боричка пел: «О, Роберт, святое провидюэнье». Юшин мотив: «Он фуармазон, он пьетё уодно стакааном красное вюнно»⁶⁵.

Милые Боря и Юша. Какие оба были уютные, и типичные в своем роде, москвичи орловского происхождения. Я сохранил к ним нежное чувство.

Следуя порядку своих воспоминаний, упомяну о втором сыне дедушки Лопухина – Борисе Алексеевиче. Он был женат на Вере Ивановне Батуриной^[44]. У него были типично выраженные семейные черты Лопухиных и сравнительно мало развитая индивидуальность. Он всю жизнь прожил в провинции, исключая последних лет жизни, когда они переселились в Петербург на какое-то спокойное место. Жена его была скучная и с претензиями. Несмотря на очень скромные средства, она хотела, чтобы все было не хуже, чем у других. У них было два сына – Володя и Женька, и очень толстая сестра⁶⁶. Володя совсем юным женился на младшей княжне Урусовой (Ярославской) сестре «фигуры», жены Алеши Лопухина. Когда я начинал службу

⁶³ Ротм[истр] Стеценко. – Примеч. О. Н. Трубецкой.

⁶⁴ Он умер зато, что любил (франц.).

⁶⁵ (Под звуки вальса). – Примеч. О. Н. Трубецкой.

⁶⁶ (Не вполне нормальная). – Примеч. О. Н. Трубецкой.

в Петербурге, помню его старательным чиновником министерства. Она была глупое и добродушное существо. Они производили впечатление двух голубков, но счастье их было недолговременно. Она бросила своего мужа и вышла за кого-то замуж⁶⁷, Володя, в свою очередь, вновь женился, и последнее время перед большевистской революцией был директором Департамента личного состава и хозяйственных дел Министерства иностранных дел. Его ценили за добросовестность и трудоспособность. Женька имел способности к математике, и был, кажется, учителем гимназии в Петербурге. О толстой сестре ничего не помню и не знаю.

⁶⁷ Второй муж – Михаил Анатольевич Толстой (ум. 1951), инженер путей сообщения.

Дядя Сережа

Гораздо более яркой личностью был младший в семье сын моего деда и мой дядя Сергей Александрович Лопухин. Он был типичный Лопухин, характерный представитель того дворянского культурного типа, который олицетворялся этой семьей. В нем прежде всего отразился быт среды и эпохи – московского особняка на Молчановке и Меншовской усадьбы, быт, в котором переплетались многолетние традиции старой дворянской семьи, романтизм и уют и новые веяния просвещенного либерализма, начавшиеся в [18]60-х годах. От природы живой ум, блестящее остроумие, благородство, неисчерпаемое добродушие, веселость, недурной голос и приятная внешность – все в молодости создавало ему успех и делало его общим любимцем. Он кончил курс юридического факультета Московского университета, потом отбывал повинность в Сумских гусарах⁶⁸ и был на Турецкой войне⁶⁹. Вскоре после войны он женился на графине Александре Павловне Барановой. Родители ее далеко не сразу согласились на этот брак. Граф Баранов был генерал-адъютант и близкий человек императору Александру II. Брак их дочери-красавицы с молодым Лопухиным, у которого почти ничего не было за душой, казался родителям не слишком блестящей партией для дочери. Но чувства молодых людей превозмогли над возражениями Барановых, давших свое благословение на брак. Одно из первых воспоминаний моего детства – это приезд в Калугу моего дяди молодым гусаром со своей невестой, или женой, – этого я не помню. На меня, конечно, большое впечатление произвел мундир с блестящими шнурами и ментик, может быть, поэтому так и врезалось в память их посещение. Помню, как они пришли пить чай к нашей няне Федосье Степановне, и помню, какую красивую пару они представляли.

Мой дядя покинул военную службу, от которой он на всю жизнь сохранил солдатский Георгиевский крест^[45], и пошел, как и братья, по судебной части. Много лет он провел в Туле, проходя там первые должности. Очень скоро Бог благословил его большой семьей. Всего у него было 10 человек детей – 5 мальчиков и 5 девочек. Помню, когда пришло известие о рождении одиннадцатого ребенка, мой отец предлагал послать дяде Сереже телеграмму: «Поздравляем дорогую половину одиннадцатого».

Я сказал, что Бог благословил моего дядю большой семьей, но я добавлю, что он благословил его и редким счастьем. Залог этого счастья мой дядя имел уже в самом себе – в своей ясной уравновешенной душе, которая всегда была так живо открыта на встречу всем восприятиям и радостям жизни. Никто не умел так наслаждаться как он всем, что жизнь может дать тому, кто умеет ею пользоваться и относиться ко всему с открытым умом и сердцем. Он был идеальный семьянин и, казалось, был поглощен своим семейным счастьем – женой, которая души в нем не чаяла, детьми; в жизнь и личность каждого из них он вникал с поразительной чуткостью и легкой любовной насмешливостью, мягко и безобидно давая каждому верный камертон, ибо никто не умел так чутко отличить всякую малейшую неестественность и позу, а эти недостатки ему органически претили. Никто, с другой стороны, не мог с такой же живостью переживать увлечения и интересы своих детей, – в этом он был схож с моей матерью, когда дети стали взрослые и вступили в пору романов и серьезных чувств, приводивших к бракам, никто не переживал так живо всех перипетий их жизни, как их отец. Вместе с дочерьми он увлекался героями их романов, но вместе с тем невольно ревновал их к женихам и молодым мужьям. Все дочери нашли отличных мужей, и отец, конечно, отдавал вполне им должное и любил их, но это не мешало ему подтрунивать над каждым из них и даже порою на них раздражаться. Старшая дочь Анночка вышла замуж за Мишу Голицына, которого дядя Сережа

⁶⁸ В 1-м Сумском гусарском наследного принца Датского полку.

⁶⁹ Имеется в виду война 1877-1878 гг. за освобождение Болгарии от власти Османской империи.

конечно любил, потому что нельзя было не любить такого хорошего человека. Но Миша также раздражал его. У него была привычка часто сомневаться и находить преувеличенными оценки, которые высказывались, по разным вопросам, и он говорил: «Едва ли». Это «едва ли» имело способность сердить дядю Сережу и он в его честь прозвал одну свою кобылу: «Едва ли». Но все, входившие в семью Лопухиных, подпадали под чары этой семьи, влюблялись не только в свою невесту, но и в ее семью, и через своих жен проникались такой любовью к новым родителям, что легко и безропотно переносили насмешки своего тестя, принимая их с должным уважением.

Средства Лопухиных были самые ограниченные, потребности росли с каждым годом по мере увеличения числа детей и их роста. Но никогда материальные заботы не омрачали счастья этой семьи, и к недостатку денег мой дядя относился с невозмутимым спокойствием и благодушием. Тем более не будучи избалованы, они умели ценить всякое удовольствие. Мой дядя страстно любил природу, – в этом было также семейное сходство его с моей матерью. Он черпал в ней всегда новый источник наслаждений. Когда он обзавелся своей усадьбой и скромным клочком земли в Тульской губернии, то он и его милая любящая жена и дети страстно полюбили свое Хилково^[46]. Дядя увлекался хозяйством в поле и в саду и никуда не хотел уезжать летом из Хилкова. Его трудно было выманить из его семейного гнезда, в котором его сердце жило полной жизнью. Мы, племянники и племянницы, обожали его. Когда он попадал в круг молодежи, он тотчас становился ее средоточием. Он был всегда так чуток, так отзывчив, так мил, так весел и остроумен, что мы готовы были вперед смеяться всему, что он скажет и радовались всему, что от него исходило. Но эти посещения были редки, потому что он слишком полон был своей семьей и, как бы ему хорошо ни было в другом месте, он все же чувствовал себя в гостях, немножко рыбой, вынутой из воды, и полноту своей жизни находил только в своей семье, которая как будто излучалась из него и была его продолжением и восполнением. Он не мог долго жить без своей жены, тети Саши, которую вечно добродушно чем-нибудь поддразнивал, стараясь вызвать с ее стороны замечания на свои шутки. Этим замечаниям тетя Саша тщетно старалась придать характер серьезного и достойного напоминания о хороших манерах. Дядя Сережа только этого и ждал и больше всего любил, чтобы она делала ему эти замечания, принимал их как ребенок, заставлял свою жену рассмеяться и целовал ее руку. А она жила его жизнью так всецело, как может жить кажется только русская любящая женщина, однажды и на всю жизнь отдавшая свое сердце мужу и детям, находящая полный расцвет своей жизни в полном самоотречении. Мало, кто был так избалован в этом отношении, как дядя Сережа.

Если у него был какой-нибудь более крупный недостаток – то это был недостаток тоже типичный для быта, из которого он вырос, – это была лень, дворянская лень, навеянная уютом и удовлетворением простыми все теми же искони веков условиями жизни, которые укрепляли привычки. Дядя Сережа чувствовал себя вполне хорошо, в сущности, только в ночных туфлях, да еще когда мог порою расстегнуть ворот, чтобы ничто не теснило. Лень соединялась у него с некоторым налетом добродушного скептицизма, связанного с его природным большим здравым смыслом. Он видел, что люди увлекаются то тем, то другим. В каждом увлечении он тотчас видел его крайность и ту полуправду, которая обычно ему присуща. И он предпочитал сохранить роль благожелательного и добродушно-насмешливого наблюдателя. «Чего люди мнутя...» и «перемелется, мука будет» эти два изречения, которые я отнюдь ему самому не приписываю, как будто по существу были сродни его натуре, восполняя друг друга. Это не значит, чтобы он был «к добру и злу постыдно равнодушен». Со своей чуткостью он всегда отзывался душой на все доброе, благородное и прекрасное. Скептицизма на него навивала только реализация в жизни тех или других, в принципе, прекрасных начал, ибо прикосновение к жизни всегда связано с некоторым опошлением, а его чуткая, но не очень деятельная душа болезненно чувствовала малейшую фальшь и дисгармонию.

Этой ленцой и малодейтельностью натуры объясняется, почему с таким широким открытым умом, с такими большими способностями дядя Сережа дал гораздо меньше, чем мог, в государственной и общественной жизни. Он не тихо, но и не скоро проходил судебную карьеру. Его знали, уважали и ценили, но он не выдвигался вперед так, как того заслуживали его способности, и никогда ничего не предпринимал для этого. После сравнительно долгого пребывания в Туле, [где] он был прокурором, или председателем окружного суда в Орле, потом прокурором судебной палаты в Киеве. Там его застала первая революция 1905 года. В этом же году в его служебной карьере едва не случилось крупной перемены. После Манифеста 17 октября Витте, стоявший во главе Кабинета [министров], ощупью выбирал свой курс, колеблясь между реакцией и сдвигом влево. В это время кто-то ему рекомендовал дядю Сережу в качестве кандидата на пост министра юстиции. Дядя был вызван в Петербург, но пока он ехал, настроения наверху изменились. Лопухин никакого участия в политике не принимал принципиально, как судебный деятель. Но в качестве такового он был сторонник[ом] строгой закономерности и независимости суда. С точки зрения реакционной это одно уже могло считаться левым. Между тем в связи с назревавшими революционными настроениями в обществе, в правящих кругах усиливалось течение в пользу твердой власти, поддерживавшееся министром внутренних дел Дурново. Такому направлению отнюдь не отвечал выбор С. А. Лопухина.

Приехав в Петербург, он облекся в мундир и поехал представляться Витте. Тот его любезно принял, заметил Георгиевский крест на груди, справился, по какому случаю он получил, и, поговорив на самые общие темы, отпустил дядю. Тот без особого огорчения собрался обратно в Киев. По дороге он остановился в Москве у [стариков] Бутеневых, у которых эту зиму проводили и мы, только что покинув Константинополь и дипломатическую службу. В это время разразилось так называемое вооруженное восстание в Москве, в декабре 1905 года. Лопухины, дядя и тетя, застряли у Бутеневых. Наступили кошмарные дни бунта и расстрела Пресни. На улицу трудно было выходить, потому что шла бессмысленная и беспорядочная стрельба, строились баррикады и порою появлялись отряды, требовавшие от прохожих, чтобы они спешно убегали по домам. В эти томительные и тяжелые дни мы почти безвыходно сидели дома, и только прислушивались к пушечным выстрелам и трескотне пулеметов, которые порою доносились с Пресни.

Чтобы как-нибудь сократить время, мы попросили дядю Сережу почитать нам что-нибудь вслух. Он согласился, и стал читать Лескова... но как читать! – Я никогда, кроме разве у актера Ленского, не слышал такого мастерства в чтении. Читал он необыкновенно просто, но люди вставали как живые, и не только слышались их голоса, но казалось, что видишь их перед собою. Московское сидение так и осталось навеки связанным для меня контрастом двух переживаний: бессмысленной смуты и пушечных выстрелов на улице, и художественным наслаждением от чтения Лескова, которое помогало как порою забыть от окружавшего нас кошмара.

Литература, как и природа, была источником, из которого дядя Сережа черпал полную грудью наслаждения. Он был тонким ценителем подлинной правды и красоты. В [18]80-х и [18]90-х годах, когда он жил в Туле, там было небольшое, но очень приятное общество близких друзей и родственников, которые друг друга видали чуть не ежедневно. Прокурором, а потом председателем суда был двоюродный брат дяди Сережи – Николай Васильевич Давыдов. Мне вероятно придется еще говорить о нем, если я успею довести свою повесть до моих зрелых лет, но и теперь, скажу несколько слов в связи с Тульской жизнью Лопухиных. Николай Васильевич был из семьи, родственной Лопухиным, и во многом схожей, во всяком случае, по своему быту, укладу и понятиям. Это был живой, веселый, неизменно добродушный человек, общий любимец и всюду душа общества. Он был довольно легкомыслен, женился на танцовщице, но глядя на жену его Екатерину Михайловну, невозможно было сказать, чтобы она когда-нибудь могла быть танцовщицей. Она была простая, скромная русская женщина, вид которой вызывал представление скорее о маленьком одноэтажном особнячке во дворе какого-нибудь пере-

улка губернского города, чем о театральных подмостках. Она предана была душой и телом своему легкомысленному Кокоше, которого считала существом высшего порядка, посвящала ему все свои заботы и все ему прощала. А было что прощать, ибо жизнерадостный и легкомысленный Николай Васильевич, любивший свою жену и уважавший все ее достоинства, не удовлетворялся тем, что давало ему дома общество скромной его жены и некрасивой дочери Соняши, насчет прелести которой он впрочем имел кажется некоторые иллюзии. Он не мог обходиться без общества, как рыба без воды, любил покутить, и не удерживался от увлечений. У него была даже, по-видимому, вторая семья на стороне. Не прочь он был и выпить в обществе таких же веселых и остроумных собеседников, как и сам он. Однажды, вернувшись домой ночью в весьма веселом виде, он решил сделать вид, что ничего не случилось. Вошел в спальню, разделся, и перед тем, чтобы лечь спать, стал на молитву. «Кокоша, – раздался голос жены, которая молча, в кровати, наблюдала за мужем, – все это очень хорошо, но почему ты молишься в цилиндре...» Эффект благоразумного поведения, на который рассчитывал Николай Васильевич, решительно не удался... Николай Васильевич был редко добрый человек. К нему вечно обращались со всех сторон с просьбами похлопотать о получении места, помещения в больницу, смягчении наказания. Все знали, что он общий любимец и, благодаря редко приятному нраву, имел самые обширные и разнообразные дружеские связи. Николай Васильевич никогда никому не отказывал, с редкой мягкостью и деликатностью входил в положение каждого, был всегда со всеми совершенно ровен и мил, невзирая ни на чье общественное положение. Неудивительно, что всюду и всегда он был самый популярный и любимый человек, член бесчисленных обществ и кружков, где всюду был необходим. Другим младшим сослуживцем дяди Сережи был брат его жены граф Николай Павлович Баранов. В то время он был холостяк, и семья сестры заменяла ему его собственную. Он был любимым дядей детей Лопухиных, которые считали его своей собственностью, и он их любил и находил в этом доме весь домашний семейный уют, которого ему недоставало. Николай Павлович был очень начитан, у него была прекрасная библиотека. Он был скромный благородный, чистый сердцем человек, и очень приятный сожитель, любил и понимал шутки, сам умел шутить и бывал *pince sans rire*⁷⁰. Он женился уже совсем не молодым на Анне Алексеевне Олениной⁷¹, которая лет на 30 была его моложе⁷². Этот неравный по годам брак, быть может, ускорил его кончину.

В Тулу наезжал иногда сверстник Николая Васильевича и родственник его и дяди Сережи – Федя Сол[л]огуб. Это был в своем роде человек далеко незаурядный. По натуре он был художник – поэт, живописец и немного актер. Он был очень талантлив, но был слабый человек, несчастливый в семейной жизни. Ему нужна была твердая опора в жизни, а в своей семье он не мог ее найти. Мать его была почтенная Мария Федоровна из крепкой старозаветной семьи Самариных, со слишком густым для такого человека, как Федя Сол[л]огуб, укладом жизни, являвшимся чем-то вроде продолжения Домостроя. Жена его была умная, холодная красавица с темпераментом и нравами Екатерины Великой. У них родились две девочки, но счастье их было непрочно^[47]. Своей жене, когда он был еще женихом, Сол[л]огуб посвятил прелестное стихотворение:

Паутина

Нас с тобой связали грезы,
Летней ночи сумрак жаркий,

⁷⁰ *Pince sans rire* (франц.) – насмешник.

⁷¹ Автор ошибочно приводит отчество Олениной, правильно: Александровна.

⁷² Граф Н. П. Баранов родился в 1852 г., его жена А. А. Оленина – в 1874 г.

Да зарниц над рожью спелой
К полуночи отблеск яркий
Нас связали гроз раскаты...
Запах спеющей малины...
Да колеблемые ветром
Нити зыбкой паутины.

Разочарование в жене было ударом, исковеркавшим всю жизнь Феди Сол[л]огуба. Свое горе он прикрывал и потопил в шутке, которая стала чем-то вроде маски в его жизни. Со своей женой он сохранил шуточно-дружеские отношения. Однажды при ней в тесном кругу друзей он сказал:

«Хотите я вам скажу экспромпт про мою жену...

Моя жена родилась в ночь,
Она же сукина и дочь.
Рождена бароном Боде
Или кем-то в этом роде».

Вообще при искрившемся остроумии, Сол[л]огуб обладал даром экспромтистов. Однажды говорили о романах и о том, можно ли до бесконечности разнообразить их сюжеты и положения. Сол[л]огуб слушал и сказал:

«А, по-моему, все романы резюмируются одним известным стихотворением:

Их было две: она и он,
Оне выходят на балкон.
– Как мило светит нам луна, –
Внезапно молвила она.
– Недурно, – отвечал ей он,
И вдруг... нарушили закон».

Вообще, Сол[л]огуб сделался каким-то прислучным острословом, и весь разговор, начиная с самого голоса, был всегда пародией. Так он разменял на блески и мелочи несомненный дар Божий, которым обладал. А будь он в других условиях и главное обладай характером потверже, из него в любой области искусства мог бы выйти художник с именем, ибо душа его мягкая и незлобивая таила в себе Божью искру. Эта душа вылилась в немногих серьезных его стихотворениях, в которых сказывается нежное и чуткое чувство красоты:

Созвездие

Когда твой взор задумчивый и чистый
Поднимешь ты к далеким небесам,
И встретишь свет созвездья серебристый, –
Столь памятного нам –
Ты помолись о том, кто молчаливо
Любил тебя болящею душой,
Кому была ты в жизни сиротливой
Господнею росой.

Огромное большинство других произведений Сол[л]огуба шуточного характера. В них на каждом шагу расточено столько блеска, остроумия и в такой прекрасной стихотворной форме, что по ним можно судить о размерах размененного им на эти мелочи таланта, вкуса и образования. У Сол[л]огуба было большое влечение к театру, и в этой области, как декоратор, он проявил присущий ему вкус и талант. Он первый, задолго до Билибина, создал русский лубок и был настоящим новатором в этом деле.

Понятно, что такой человек находил удовольствие в обществе своих тульских друзей, живых, веселых, остроумных и талантливых. От этого времени сохранилось его стихотворное послание Н. В. Давыдову:

Дон Кокон

Дон Кокон, привесив шпаги,
Мы по Тульским площадям
Будем полные отваги
Обижать прохожих дам.

С закругленными усами,
Шляпы на бок накренья,
Завернувшись епанчами,
Громко шпорами звеня.

Мы пройдем по стогнам Тулы
Нагоняя всюду страх,
Разворачивая скулы
В обывательских щеках.

Это кто... – передовые...
На погонах серебро...
– В миг к...алы роковые
Под девятое ребро.

Это кто... – исправник здешний...
– Шпаги наголо. И вот
Он хватается сердешный
За распоротый живот.

И когда разбив трактиры
И насытившись борьбой,
Возвратим ножнам рапиры
И воротимся домой.

Видя грозные фигуры,
Каждый молвит, кто не глуп:
– Это цвет прокуратуры,
С ним бесстрашный Сол[л]огуб.

Семья Лопухиных была притягательным центром для родных и друзей. В Туле поселились одно время Бутеневы. Жена моего тестя, урожденная гр[афиня] Баранова⁷³, была родной сестрой тети Саши Лопухиной. Дети Лопухина и Бутеневы были сверстники и вместе учились. Домашним учителем у Лопухиных был Василий Семенович Георгиевский, впоследствии принявший монашество и ставший митрополитом Евлогием. Он был очень любим детьми. Моя жена училась у него Закону Божьему.

Другая сестра тети Саши, Евгения Павловна (тетя Женя), была замужем за известными земским деятелем в Тульской губернии. Рафаилом Алексеевичем Писаревым. Я хорошо помню, как в первый раз услышал о ней и увидел ее на свадьбе моего брата Петра в 1884 году. Я был на этой свадьбе мальчиком с образом и сидел рядом с моей тетей Александрой Павловной Самариной. Помню, как она кому-то сказала: «А вы видели Женю Писареву, как она сияет своим счастьем». Эти слова почему-то меня поразили, я хотел посмотреть, кто это и как сияет, и вскоре к моей тете подошла высокая молодая прелестная женщина, и я тотчас понял, что это она сияет.

Если мой тесть (ваш дедушка) [Константин] Бутенев вносил в Тульскую среду Лопухиных элемент европейского воспитания и культуры, которого у них не было, то Писарев представлял другую стихию, которой тоже недоставало немного городской дворянской жизни, укрытой от соприкосновения с жизнью простого народа. Для дворян на государственной службе деревня была главным образом дачей, местом отдыха, для людей земли настоящая жизнь и настоящая Россия были в деревне, а город был надстройкой этой жизни. Это характерное противоположение так метко схвачено Толстым в разговоре братьев Левиных.

Р. А. Писарев был горячим, убежденным земским работником, тогда только еще начинавшим работу на этом поприще. До свадьбы он был веселый красивый молодой человек, любивший развлечения. Толстой взял его облик для своего Васеньки Весловского в Анне Карениной. После свадьбы он поселился с молодой женой в своем поэтическом родовом гнезде Орловка Епифанского уезда. Как человек увлекающийся, он немного пересаливал в начале «сев на землю», и в старый двухсветный зал своего дома стал сыпать картошку. Эти крайности молодости потом обошлись; осталось непрекращавшееся до смерти увлечение земской работой, которая давала выход горению его души, жаждавшей отдать себя служению малым сим, простому народу. До конца жизни он сохранил юношеский жар души и несокрушимый идеализм, и эти свойства его характера создавали особенно притягательную силу и обаяние его личности. Его увлечение заражало молодых начинающих деятелей, как Георгий Львов, впоследствии Миша Голицын, Петя Раевский. Все они были отчасти его учениками.

В 12 верстах от Тулы была Ясная Поляна Толстого. Совершенно естественно эта близость поддерживала живой интерес к Толстому в Лопухинском обществе. Многие из них по часту бывали в Ясной Поляне. Помимо обаяния великого писателя, Толстой подкупал своей простотой, приветливостью, личным шармом. Дядя Сережа ценил в нем, конечно, исключительно великого художника, и со своим ясным и трезвым умом оценивал по достоинству его рассуждения. Он наслаждался всеми проявлениями художественной натуры Толстого, процессом его творчества и личным общением с этим, несомненно, обаятельным человеком. Он участвовал в первом представлении «Плодов просвещения» и живо рассказывал, как Толстой сам увлекался репетициями и вносил поправки в свой текст^[48].

Далеко не все обладали тем же трезвым критическим чутьем, и личное обаяние Толстого оказывало на многих влияние в смысле полного или частичного восприятия толстовства, или в форме опрощения, или в усвоении его учения ее непротивлении злу. Увлекались этим часто люди чистые сердцем и в то же время недалекие или полуобразованные люди, не привыкшие разбираться в отвлеченных построениях. А таких людей всегда было у нас большинство, и

⁷³ Вторая жена К. А. Бутенева – графиня Екатерина Павловна Баранова.

Толстой справедливо считается сыгравшим против своей воли ту же роль в нашей революции, какая принадлежит Руссо во французской.

Если художественный интерес Лопухина находит питание в Ясной Поляне, то умственным его запросам могло давать удовлетворение общение с другим человеком – его родственником и моим крестным отцом – Петром Федоровичем Самариним.

Это имя будит во мне самые дорогие, самые интимные воспоминания моего детства и юности, и я не хочу целиком предвосхищать этих воспоминаний, которым место, когда я дойду до истории нашей семьи и своей личной жизни. Но незаметно для меня самого воспоминания о дяде Сереже Лопухине заставили меня захватить ряд его современников и сожителей по Тульской губернии. Когда вспомнишь всех этих близких людей, которых не стало (и каждый из коих заслуживал бы отдельного жизнеописания), то невольно удивляешься культурному богатству, таившемуся в серой русской провинции. Конечно, как всегда и всюду, выдающиеся люди были оазисами. Однако сколько незаурядных талантливых русских людей было в одной Тульской губернии 40-30 лет тому назад.

Раз я уже упомянул Петра Федоровича Самарина, то скажу теперь же несколько слов о нем, о его жене и имении, где они жили.

Петр Федорович принадлежал к древней московской семье Самариных, которую мне пришлось уже упоминать, с которой у нас были родственные связи по Оболенским, от которых происходила семья моей матери. Старший брат Юрий Федорович был известный писатель, один из столпов старого славянофильства, известный деятель освобождения крестьян. Семья Самариных отличалась крепкими устоями и православным духом, и в то же время высоким основательным усвоением западной культуры. Юрий Федорович недаром признавал, что Германия была как бы вторым его отечеством. При этом они были воспитаны в том поколении, когда считалось недостаточно просто знать иностранные языки, но нужно было уметь ими и пользоваться так, как это делали просвещенные люди, каждый на своем родном языке. Отсюда то непередаваемое изящество и благородство, которое сказывалось, говорили ли они на французском, немецком или родном языке. Это была печать высшего духовного аристократизма. Лев Николаевич Толстой принадлежал тому же поколению. Поэтому его французские разговоры и письма в «Войне и мире» отличаются таким совершенством, и сам он, хотя бы и в рабочей блузе и при всем его стремлении опроститься, производил впечатление такого барина в лучшем смысле этого слова.

Петр Федорович был младшим в своей семье. Он родился в 1828 году и женился на дворянской сестре моей матери Александре Павловне Евреиновой. В эпоху освобождения крестьян он принадлежал прогрессивному меньшинству Тульского дворянского комитета, потом вместе с известным деятелем князем Вл[адимиром] Ал[ександровичем] Черкасским поехал в Польшу и работал с ним по установлению нового порядка вещей после Польского восстания. Вернувшись из Польши, Петр Федорович служил по выборам и был Тульским губернским предводителем дворянства, но он был слишком просвещенным человеком для тогдашнего крепостнического большинства тульского дворянства и поэтому не сохранил своей должности. Дворяне предпочли ему другого, более подходящего их уровню человека Арсеньева, кандидатура коего на последующих выборах одержала верх. Это было большим ударом Петру Федоровичу. Он с тех пор покинул общественную деятельность и поселился сначала в деревне, потом переселился в Ялту, где построил дом; там и скончался.

В таких общих внешних чертах сложилась жизнь этого замечательного человека. Конечно, не этими рамками определяется внутреннее содержание этой жизни и его личности.

Он был типичным и в то же время своеобразным представителем семьи Самариных. Глубоко и основательно образованный, как и все его братья, Петр Федорович был человеком выдающегося природного ума, превосходя в этом отношении быть может даже своего знаменитого брата. Но у него, сильнее, чем у Юрия Федоровича, который, однако, болезненно сознавал в

себе этот недостаток⁷⁴, был развит рефлекс. Сомнения и скептицизм, как последствия такого постоянного анализа, парализовали деятельность, приводили к мучительному бесплодию в жизни. Эта болезнь, в течение многих поколений поражавшая русских людей, приобщившихся к культуре более высокой, чем окружающая среда, была своего рода крестом в жизни Петра Федоровича. Его сомнения и скепсис вытекали из крайней добросовестности, доходившей до мнительности, столь характерной для Самариных. Он принадлежал к разряду тех людей, которые сознают, что лишены веяния благодати и страдают этим, и бессильны бороться против разъедающего анализа, парализующего волю. Вместе с тем это был мнительно благородный и чистый человек. Никакая мелкая мысль, никакое тщеславие, никакая пошлость не имели доступа в его душу. И все мучительные для него недостатки растворялись без остатка в отношении к детям и молодежи. Его влекло к свежей непосредственности молодежи. С нами, детьми, он совершенно преображался. Это была неисчерпаемая доброта, благодушие и веселость. Он готов был на четвереньках ползать и играть с маленькими детьми, разделять забавы подростков, от души хохотать с молодежью, принимая самое живое участие во всех играх и затеях. Старшие и чужие могли бояться его саркастического взгляда, но мы с раннего детства до зрелой молодости никогда ни капли не боялись дядю Петю и любили его больше всех. Впрочем мы не разделяли его ни в мыслях, ни в чувствах с его женой Александрой Павловной Самариной, нашей любимой из всех тетей Линой. Если дядя Петя был сложная гамлетовская натура, то тетя Лина была воплощенная простота и доброта.

В молодости она была красива и привлекательна. Я ее помню только пожилой и не менявшейся за 20 лет на моей памяти. С красивым лицом, короткой шеей, она задыхалась от полноты. Конечно, ни о какой красоте в то время не могло быть речи, но для нас не могло быть лица более привлекательного, так все оно дышало добротой и лаской. Никто не умел так баловать, как тетя Лина. Она умела угадывать, что каждому может доставить наибольшее удовольствие, и никогда не ошибалась в выборе. Мы были очень неизбалованы и неприхотливы в детстве. И каждый приезд Самариных был событием в нашей жизни. Глаза разбегались от подарков и угощения, и все это сопровождалось такими добрыми взглядом и смехом, что мы чувствовали, что попадаем как будто в какую-то полосу сказки, где все возможно и все хорошо. Особенно сильно это чувство бывало, когда мы приезжали в Молоденки⁷⁵.

Это была усадьба и имение, создание рук Самариных. Они были бездетны, богаты. Они купили имение, не представлявшее ничего красивого, выстроили большой каменный дом с террасами и балконами, насадили парк и рошу. Дядя Петя увлекался розами и выписывал всевозможные сорта. Дом был устроен со всеми удобствами, нам детям, казалось, с роскошью. У дяди Пети был огромный кабинет, кажется двухсветный, весь обставленный шкапами с книгами. Этот кабинет казался нам святая святых, мы туда не смели входить без зова, и этот кабинет усугублял в наших глазах таинственный престиж дяди Пети. На другом конце дома и полной противоположностью кабинета был низенький и небольшой будуар тети Лины, весь убранный русскими вышивками. Там мы чувствовали себя гораздо свободнее.

Молоденки – это было волшебное царство, и в нем царили мы – дети, а Самарины только старались все время, что бы еще придумать, какое новое баловство и удовольствие.

Все наше детство, юность, молодость согреты лучистыми любящими глазами тети Лины и полным доброты прищуренным взглядом дяди Пети. Как живые они стоят передо мною, и я не знаю, как передать мне их милые дорогие образы. Тетя Лина, отдававшая всем свое сердце, в то же время, казалось, безраздельно жила жизнью дяди Пети. Она предугадывала малейшее его желание, она поворачивалась всем существом в его сторону, когда он грустил, тосковал,

⁷⁴ Помнится, что в полном собрании сочинений Ю. Ф. Самарина есть одно замечательное письмо его к Гоголю, в котором он говорит о мучительной внутренней трагедии, которую переживал. – *Примеч. автора.*

⁷⁵ Епифанского уезда Тульской губернии, в настоящее время Кимовский район Тульской области.

или был нездоров. Она знала своим любящим и простым сердцем, что единственное лечение от сухости, разочарования в людях, от сомнений и анализа – это дети и доброта. То, чем она и дядя Петя были для окружающих, вся доброта, которую они источали, – это было в то же время для него санаторий. Я не видал более полного и безраздельного олицетворения доброты, чем тетя Лина. Правда она не всех любила. Некоторых она не переваривала, и середины в чувствах она не знала. Она вечно кипела, как самовар. Ничего легче не было заставить ее вскипеть, и дядя Петя любил ее поддразнивать и заставлять вскипеть, причем, по мере того, что она волновалась и кипела, он становился все более невозмутим. Мы, дети, были убеждены, что он видит три аршина под каждым из нас, и что от него невозможно укрыться. Не нужно было ни одного слова с его стороны, чтобы укрепить в нас это убеждение; достаточно было увидеть его умный прищуренный взгляд – две щелочки сквозь пенсне. Этот человек все видел и все понимал. И как он добродушно хохотал от наших рассказов, и как умел возбудить эти рассказы, создать оживление.

Боже мой! Когда я вспомню и увижу перед собой эти бесконечно милые дорогие близкие лица, слышу их голоса, их смех, клокотанье тети Лины, передо мной мелькает рой светлых воспоминаний, и я молодею душой. Как сейчас чувствую тетю Лину, всю над собой, когда меня постигло первое большое горе в моей жизни, умер мой отец, и вот она, не говоря ни слова, вся склонилась надо мной, и оставалась так... И я слышу ее частое дыхание, я чувствую, как вся душа ее исходит любовью ко мне, и чувствую, как эта любовь, в которую я погружаюсь, держит меня и укрепляет... В такие минуты жизнь как будто приостанавливает свое течение.

Секрет прелести и обаяния тети Лины заключался в ее простоте и в том, что она слушала только свое сердце. Я вспоминаю рассказ старших из дней ее молодости. Тяжело болел Николай Алексеевич Милютин, известный деятель освобождения крестьян. Его пришли навестить и старались развлечь его умными разговорами Иван Сергеевич Аксаков и княгиня Ек[атерина] Ал[ексеевна] Черкасская. Больной слушал, но, видимо, не отвлекался от тяжелых мыслей. В это время вошла в комнату молодая, красивая и жизнерадостная Александра Павловна Самарина. Она села и стала болтать о всяких пустяках, не заботясь ни об умных людях, ни об умных вещах. И больной просиял, смотрел и слушал ее. И, конечно, не то, что она рассказывала, было ему интересно и приятно. Но она внесла с собою в комнату жизнь и простоту и ласку, и оба гостя переглянулись между собою, без слов сказавши: вот что ему нужно.

Я отвлекся в сторону. О Самариных я надеюсь еще много говорить и вспоминать, теперь же я коснулся их в связи с семьей Лопухиных. Нужно ли говорить о том, сколько вся эта семья почерпала в Молоденках ласки и баловства, а С. А. Лопухин – питания умственного из общения с Петром Федоровичем, к которому относился не без робости.

Раз я заговорил о друзьях семьи Лопухиных в Туле, то скажу и о других из числа выдающихся людей, с которыми сталкивала их жизнь. Это даст мне возможность помянуть их.

Когда Лопухины переехали в Орел, губернским предводителем дворянства там был Михаил Александрович Стахович. Милюков в некрологе говорил о нем как одном из лучших представителей дворянской культуры, которая так долго представляла почти всю культуру России. Богато одаренный, прекрасно образованный, с несомненным талантом красноречия, Стахович был, действительно, типичным представителем дворянского либерально-консервативного просвещения. Его отец уже был просвещенный человек и причастный литературе. Он написал известные в свое время сцены: «Ночное».

Михаил Александрович был общественный деятель, либерально настроенный. Наиболее известные его выступления были в защиту свободы совести в реакционную эпоху министерства Плеве и против террора в I Думу, членом коей был выбран от Орла. Речь его была всегда благородна и изящна. Если в его красноречии был недостаток, – то это может быть некоторая

нарочитость. В нем сказывался блестящий салонный «козёр»⁷⁶, любивший красивые эффекты. Одну из своих речей в Орле он начал обращением: «Господин орловское дворянство». Он любил и понимал литературу, был под личным обаянием Льва Толстого, у которого постоянно гостил в деревне. Влияние Толстого сказалось, между прочим, в том протесте, который вызывало в нем всякое насилие – будь то стеснение свобод совести правительством или революционный террор.

Когда началось образование политических партий, Стахович был одним из учредителей Союза 17 октября^[49], но он недолго ужился там. В основании этой партии участвовала естественная реакция против увлечений и теоретизма кадетской партии, но не было внутреннего пафоса, кроме того, который мог внушаться национализмом. Союз 17 октября, создателем коего был реалист-политик А. И. Гучков, был слишком глубоко-реалистичен для таких людей, как Стахович, граф П. А. Гейден и Шипов. Совершенно так же кадетская партия своей партийной прямолинейностью была слишком груба для тонкой аристократической натуры Н. Н. Львова. Все эти люди объединились в эпоху I Думы и образовали новую партию, которую кажется окрестил Стахович – это была Партия мирного обновления^[50].

Широкого распространения эта партия никогда не получила. Про нее говорили, что все ее члены умещаются в купе вагона. Ее основатели не имели настойчивости и аппетита власти. Они были, быть может, для этого слишком «баринами». Но, образуя аристократическое меньшинство, каждый из них в силу личного уважения, которое внушал, заставлял к себе прислушиваться. Эта маленькая группа была чем-то вроде голоса общественной совести. Впоследствии эта роль перешла «Московскому еженедельнику»^[51].

Таким благородным просвещенным баринном, немножко легкомысленным, немножко дилетантом, *bon-vivant*⁷⁷, незаменимым собутыльником, гастрономом и добрейшим чистым человеком жил и умер Михаил Александрович. Во время последней революции он как-то мимолетно был Финляндским генерал-губернатором, причем, кажется, не принимал всерьез своей должности. Мне рассказывали, как однажды он явился на заседание Временного правительства совершенно пьяным. Потом осенью 1917 года он был назначен послом в Мадрид, но не успел доехать до места своего назначения, когда случился большевистский переворот. Он застрял в Париже. Здесь я встретился с ним осенью 1920 года, когда произошел крах армии Врангеля и эвакуация Крыма. Русские общественные организации интриговали, ссорились, озлобленно обвиняли друг друга. Стахович хотел стряхнуть с себя этот дурман. Он как-то позвал меня вместе с молодыми [Владимиром] Писаревыми обедать и угостил в хорошем ресторане. Он умолял не говорить о политике, и, в свою очередь, она мне претила. Стахович был в ударе. Он был очаровательный хозяин-хлебосол и с блеском делился воспоминаниями о Тургеневе и Толстом... Один из его рассказов был про посещение Ясной Поляны известным рассказчиком Ив[аном] Фед[оровичем] Горбуновым. После его отъезда Толстой признался, что боялся, не будет ли ему стыдно за Горбунова, когда он будет рассказывать. Но когда Горбунов начал, Толстой весь отдался наслаждению. Он был поражен именно тем, как у Горбунова не было ни одной фальшивой ноты. «Так же весело его слушать, как смотреть на работу настоящего костромского плотника, когда у него стружки летят». Это был, кажется, последний раз, что я его видел. Вскоре он стал терять зрение, хворал, говорил, что для него осталось только «прочее время живот в мире и покаянии скончати». Он умер, если не ошибаюсь, осенью 1923 года и похоронен близ Парижа в *Saint Germain en Laye*⁷⁸.

⁷⁶ Causeur (*франц.*) – человек, умеющий увлекательно разговаривать на разные светские темы.

⁷⁷ Бонвиван, кутила, любитель жизни (*франц.*).

⁷⁸ Имеется в виду город Сен-Жермэн-ан-Лэ в департаменте Ивелин, на реке Сена, в 19 км к западу от Парижа.

Кроме Стаховича, Лопухины застали в Орле Сергея Николаевича Маслова, молодого еще земца, который несколько трехлетья подряд выбирался председателем земской губернской управы.

С чуткой, нежной, я бы сказал женственной душой, Сергей Николаевич был кристально чистый благородный человек. Он был холостяк, как Стахович, но он совсем не был жуиром. Он был предан земскому делу так, как на то способен был только хороший русский дворянин, который с молоком матери впитал в себя долг служения государству и народу. И Орловское земство было во многих отношениях образцовым, обращавшим общее на себя внимание. Сергей Николаевич был хозяин и человек земли, поэтому он не мог разделять увлечений кадетов. Он был также либеральным консерватором в лучшем смысле этого слова. Они оба с моим дядей Сергеем Алексеевичем очень ценили друг друга и их оценки событий и людей обычно совпадали.

Сергей Николаевич не был создан для бурного времени, для борьбы. Вихрь революции закрутил его хрупкую нежную натуру и преждевременно свел в могилу.

Он был членом Особого совещания в правительстве Деникина^[52] и стоял во главе Управления продовольствия, где я ближе его узнал. Ко времени эвакуации Новороссийска он заболел сыпным тифом и его перевезли чуть ли не в бессознательном состоянии, на пароходе, в Александрию. Там он поправился, был представителем Земского союза в Египте, очень тяготился своей оторванностью от близких. Было совсем решено, что он приедет во Францию. Но Бог судил иначе, и Сергей Николаевич скончался и был похоронен в Александрии в начале 1925 года. В его лице ушел один из самых прекрасных представителей старого земства и той дворянской культуры, которая создала это единственное в своем роде учреждение, высоко державшее заветы бескорыстного и самоотверженного служения народу, сочетая его с крепкими устоями людей земли, а не беспочвенного идеализма.

Я не буду следить за всеми этапами передвижения семьи Лопухиных. Из Орла они попали в Киев, где жил в то время мой брат Евгений с семьей. Он часто читал дяде Сереже свои статьи. В Киеве же был в это время генерал-губернатор[ом] знаменитый Драгомиров. Вскоре после поездки в Петербург по приглашению Витте дядя Сережа был назначен сенатором и переехал с семьей в Петербург, сначала на Васильевский остров, где ему удалось найти совсем не Петербургскую квартиру, а нечто вроде помещичьего дома. Здесь его дочь Маша стала невестой Володи Трубецкого, сына моего брата Петра, который за год до того также переехал из Москвы в Петербург. Свадьба состоялась в январе 1907 года в Москве, а через три года, февраля 1910 года^[53] дядя Сережа скончался, недолго поболел до того. Он недомогал не более года. Ни один из членов этой семьи не доживал до 60-летнего возраста. Моя мать нам всегда это говорила, и сама скончалась за неделю до того, что ей должно было минуть 60 лет, а дядя Сережа был младший и умер последним из детей моего деда. Он похоронен в Донском монастыре в Москве. Мне придется вероятно не раз упоминать его в связи с событиями моей личной жизни, которой я пока не касался.

Мне придется теперь говорить о сестрах моей матери, но я сделаю это вкратце, чтобы не повторяться впоследствии. У меня еще смутное воспоминание детства – тетя Маша-старушка – сестра моего деда^[54], которую мы так звали в отличие от тети Маши – сестры моей матери, а ее племянницы. В памяти почему-то врезалась – небольшая комната, круглый стол, за которым сидят мои дяди и тети и щипят корпию⁷⁹; подле стола – тетя Маша-старушка. Воспоминание это, верно, относится к началу турецкой войны. О тете Маше-старушке знаю между прочим, что в нее был влюблен поэт Лермонтов и у нее хранилась целая шкатулка писем от него, которые, по ее распоряжению, были сожжены после ее смерти.

⁷⁹ Корпия – нащипанные из старой полотняной ткани нитки, который в те годы использовались в медицине вместо ваты.

Сестры моей матери: прежде всего, две оставшиеся незамужними и жившие вместе – тетя Маша и тетя Лидя. Тетя Маша была слегка горбата, с круглым красным лицом очень Лопухинского типа. Это была добрейшее существо. Про нее мой брат Сергей говорил то, что занесено в воспоминаниях вашего дяди Жени [Е. Н. Трубецкого], что он считает ее гораздо более великим человеком, чем Наполеона и других героев истории, потому что вся жизнь ее посвящена самоотвержению и любви. Эту любовь и нежную заботливость испытали на себе мои братья, когда, кончив гимназию в Калуге, переехали в Москву, где поступили в университет. Они жили с тетушками под их крылом, на Кисловке⁸⁰, и конечно моя мать могла быть спокойна за них. Они были предметом самого нежного попечения. Тетя Маша умерла первая, и тогда тетя Лидия переехала к Капнистам. У нее был нервный удар, от которого она никогда не оправилась и при ней состоял целый штат – две старые девушки, и человек Иван, который катал ее в креслах. Когда мы переехали из Калуги в Москву, то на лето мы переселялись в Меньшово и туда на лошадях переезжала тетя Лидя. Меньшово принадлежало ей. Мой отец выстроил там довольно поместительный деревянный дом. Все мы племянники очень любили тетю Лидю. Она с доброй улыбкой следила за молодежью, и не двигаясь со своего места в комнате, или саду участвовала в общей жизни. К ней поминутно прибегал кто-нибудь и держал ее в курсе событий, и она с той же улыбкой добродушными словечками определяла положение. В ней была молодость души и Лопухинская способность к «экзальтации», благодаря чему она могла со своими племянницами переживать их увлечения, живо воспринимать все интересы молодежи, и с поощрительной улыбкой следить за развитием романов, которые иногда переплетались и никогда не переводились в Меньшово. Для нас детей и молодежи так уютно было чувствовать над собой старшее поколение, которое смотрело на нас, как благожелательные зрители из ложи на действующих лиц. Тетя Лидия прожила с нами лет пять и скончалась в Москве у Капнистов от повторного удара.

Была еще младшая сестра – тетя Ольга, красивая, привлекательная, долго не выходящая замуж. Она была моей крестной матерью. Помню целое лето, проведенное у нас в Калуге, когда моя мать утомившись многими годами забот и хлопот о многочисленной семье, должна была, по совету докторов, уехать на 2 или 3 месяца к Самариным в Молоденки, на полный отдых. У меня сохранилось воспоминание о кротком и женственном облике тети Ольги. Она довольно много занималась со мною, давала уроки. Мне было тогда вероятно лет семь. Уже не первой молодости, лет 37-ми, она вышла замуж за своего троюродного брата Андрея Сергеевича Озерова.

Озеровы жили в Петербурге. Это была семья очень близкая Двору. Софья Сергеевна была фрейлиной императрицы Марии Федоровны, очень приближенной. Один из братьев Сергей Сергеевич был флигель-адъютантом, а сам Андрей Сергеевич был приближенным адъютантом, а потом гофмаршалом великого князя Михаила Николаевича. Старуха-мать Екатерина Андреевна^[55] не желала для своего сына брака с бедной кузиной, и не скоро дала свое согласие. Счастье было недолговечным. Бедная тетя Ольга не перенесла родов и скончалась. После ее кончины, ее муж из году в год приезжал к нам летом в Меньшово, дорожа всем, что было связано с ее памятью.

Была еще одна сестра у моей матери, которую я приберег на конец, потому что она, ее дети и муж были нам особенно близки. Об ней придется часто вспоминать потом, но и здесь отдельно хочу о ней сказать. Это была моя тетя Эмилия Капнист. Она была значительно моложе моей матери, была еще девочкой, когда моя мать выходила замуж. В молодости она имела прелестную внешность и много прелести. Она была удивительно женственна и на всю жизнь сохранила привлекательность. Муж ее граф Павел Алексеевич Капнист в молодости был весельчак, любил покутить и сохранил широкий размах. Он был человеком выдающегося ума и практи-

⁸⁰ Имеется в виду Большой Кисловский переулок.

ческой государственной складки, был прекрасно образован, ибо не только кончил Московский университет, но еще учился в Германии. С большими способностями и знаниями он соединял не меньшую самоуверенность. Он мог говорить о вещах, о которых имел самое слабое представление, так авторитетно, что люди более скромные не смели вступать с ним в пререкания. Он начал с судебного ведомства, был директором Канцелярии министра юстиции графа Палена [в 1874-1877 годах], потом очень молодым был назначен [в 1877 году] прокурором Московской судебной палаты. После этого он переменял карьеру и был назначен попечителем Московского учебного округа. В этой должности он пробыл 14 лет, до 1895 года. В это время генерал-губернатором в Москве был великий князь Сергей Александрович. Капнист ему не понравился, и был назначен сенатором I департамента, одного из самых живых и значительных Департаментов Сената, где рассматривались жалобы и протесты против действий административных властей. Последние годы бедного дяди Капниста были омрачены материальными тяжелыми передрыгами. Внезапно обнаружилось, что у него крупные долги, которые он не в состоянии уплатить. Ему помогли его братья – посол в Вене граф Петр Алексеевич, женатый на очень богатой графине Стенбок, и бездетный и холостой брат граф Дмитрий Алексеевич, бывший директор Азиатского департамента Министерства иностранных дел, внушениям и содействию которого я обязан выбору своей дипломатической карьеры, что считаю для себя во всех отношениях счастливым и за что на всегда сохранил благодарную память графу Дмитрию Алексеевичу.

У Капнистов была дочь Соня, приблизительно моя сверстница, рано умершая, потеря которой осталась на всю жизнь раной для тети Эмилии, и было два сына: старший Алексей был на два года старше меня; мы были с ним почти сверстниками, товарищи и друзья. Младший Дмитрий, был на 6 лет моложе меня, и был товарищем игр моей сестры Марины, которая была старше его на два года. Алексей с детства имел какое-то влечение к морю. Родители потребовали, чтобы он кончил гимназию и поступил в университет. Но когда он перешел на 2-й курс, ему разрешили удовлетворить свое влечение. Он был принят в Морской корпус по особому разрешению Государя, которое состоялось даже при не совсем обычных условиях. Государь Александр III был в Ливадии, когда вместе с другими бумагами, он получил и прошение об определении Капниста в Морской корпус. Государь для скорости вложил прошение со своей резолюцией в конверт, адресовал его морскому министру, наклеил почтовую марку и бросил в ящик. Почерк Государя узнали на почте и почт-директор лично отвез письмо морскому министру, прося его дать ему конверт, как уникаму.

Капнист довольно много плавал, потом был в числе первых профессоров Морской академии, когда ее открыли. Очень недовольный порядками во флоте, он ушел в отставку в 1908 или 1909 году, поселился в деревне, был предводителем дворянства в Полтавской губернии^[56]. Призванный на службу, когда началась война в 1914 году, он был назначен помощником начальника Морского генерального штаба, а в конце войны был уже контр-адмиралом и начальником штаба^[57]. После большевистского переворота семья его перебралась в Кисловодск. Он последовал туда же, но там, во время захвата Кисловодска большевиками, был схвачен, посажен в тюрьму и зверски убит в числе многих погибших тогда. Это был редко хороший благородный человек с чисто младенческой душой. Об нем не раз придется мне вспоминать.

Его младший брат Дмитрий рос одиноко среди старого поколения своих родителей и дяди Дмитрия. Он мало привык к обществу сверстников и всегда казался в нем немножко стариком. В детстве одно время он долго болел, и тогда сам завел бумагу с чертежом, где черными и красными чернилами аккуратно вел записи своей температуры и рисунок кривой колебаний. Он любил приставать к старшим, чем впрочем отличаются почти все мальчики известного возраста. Помню как он на своем детском велосипеде разъезжал по коридору верхнего 3-го этажа Капнистовского дома в Москве (огромная казенная квартира попечителя учебного округа была как раз против Храма Христа Спасителя) и развозил по комнатам молодежи –

студентов-племянников, всегда живших у Капнистов, – квитанции на право ночевать в собственной комнате. Помню, как он долго и упорно одним пальчиком стучался в дверь Бори Лопухина, пока последний не вылетал из нее совершенно разъяренный. Этого только и нужно было Дмитрию, который удирал от него на своем велосипеде. Борьба с ним была невозможна. Как младший, он был балованным Веньяминчиком, и если старшие молодые люди жаловались его матери, она говорила им: «Бедные, маленькие, вас Димитрий обидел». Однажды мы с моим другом Семеном Ивановичем Унковским поймали его в саду и тут же изобразили военный суд, причем были и прокурором, и адвокатом, и судьями. Приговорили обвиняемого к порке и тут же произвели не особенно сердитую экзекуцию. Нам потом здорово досталось от тети Эмилии, но свое удовольствие мы получили. Бедный Дмитрий. Он был и остался очень хорошим малым, благородным, добросовестным, необычайно трудоспособным, но он как-то засох, и у него никогда не было молодости в характере. А между тем он с ранних лет всегда был кем-нибудь увлечен, и всегда избирал своим предметом самую молодую, красивую, привлекательную и жизнерадостную девицу. Если у него был хороший вкус, то сам он не обладал прелестями, которые могли нравиться, и которые в таких случаях важнее серьезных достоинств, кои у него были. Он так молча и упорно преследовал предмет своего увлечения, что обычно становился ему в тягость. Он оставался верен своим увлечениям, пока они не выходили за кого-нибудь замуж, тогда он переносил свое чувство на другую. Так он действовал с ранних лет почти до 40-летнего возраста, когда судьба над ним сжалась и он женился на Ольге Бантыш, совсем молоденькой и не выдавшей жизни. А он уже был членом Государственной думы, после того, что проделал судебный стаж, участвовал в сенаторской ревизии Туркестана графа К. Палена и был предводителем [дворянства] Золотинского⁸¹ уезда Полтавской губернии.

О родителях его сознательно не вдаюсь в подробности, потому что это слишком близкие для меня люди, и я буду говорить о них, когда буду рассказывать о себе, если только память позволит мне повести святую повесть о моей семье и себе самом, и я успею это сделать.

⁸¹ Правильно: Золотоношского уезда.

Мои родители

Я хотел занести сюда хотя бы в самых общих чертах то, что мне припомнилось о семьях моего отца и моей матери, отчасти по рассказам, отчасти по личным воспоминаниям. Я думаю все время о моих детях. Мне хотелось бы, чтобы они не были безразличны к памяти тех, кто мне дороги и близки. И теперь я подошел к тому, что ближе всего лежит моему сердцу, что может быть всего труднее передать так, как хотелось бы. Я знаю заранее, что мои слова не удовлетворят меня. Я буду говорить о моих родителях.

И здесь поперек моим попыткам лежит ужасный недостаток памяти. Вот откуда выглядывает на меня лик смерти, когда хочешь и не можешь вызвать к жизни то, что так недавно трепетало всеми красками. Да помогут мне близкие дорогие мне души вдохнуть в эти страницы воспоминаний живую память о себе, или хотя бы дуновение своей личности.

Мне стыдно, что я знаю так мало подробностей о жизни моих родителей до той минуты, когда они попадают в поле моих личных воспоминаний.

Папа

Мой отец родился [3 октября] в 1828 году, и, как я уже говорил, воспитывался в Пажеском корпусе. Впоследствии от старой княжны Тани Гагариной, скончавшейся в Баден-Бадене, я знаю, что в это время он бывал иногда по воскресеньям у них в доме в Петербурге. Мой отец вышел в [лейб-гвардии] Преображенский полк, некоторое время был адъютантом полка^[58]. От этого времени у меня остался почему-то в памяти его рассказ, как в полковой праздник было такое разливанное море, что даже в стойла лошадям лили шампанское. Мой отец участвовал в Венгерской кампании 1848 года⁸², по крайней мере, я помню бронзовую медаль в память этой войны^[59] в числе его орденов. Он был адъютантом командующего гвардией генерала Арбузова, потом князя А. И. Барятинского^[60]. Последний предложил моему отцу ехать с ним на Кавказ, когда был назначен туда наместником, но мой отец остался в Петербурге. Он женился первым браком на графине Л. В. Орловой-Денисовой. От этого брака у него было трое детей: старшая Софья Николаевна Глебова, вторая Марья Николаевна Кристи и сын Петр Николаевич. Они унаследовали крупное состояние своей матери и ее сестры графини Толстой, которая после ее смерти взяла к себе всех трех детей и воспитала их. Все трое имеют в настоящее время большое потомство. Моя сестра Глебова – прабабушка⁸³ и сохранила до сих пор (декабрь 1925 года) поразительную живость и подвижность. Не всякий молодой за ней угоняется⁸⁴.

Мой отец рано овдовел, покинул военную службу и жил в Москве. Он страстно любил музыку. В это время великих реформ для русской музыки также наступила знаменательная эпоха. Перед тем, незадолго, проявился гений Глинки. Громадный толчок в музыкальном развитии России дали братья Рубинштейны, – в Петербурге Антон, в Москве Николай. Я не буду повторять того, что сказано о значении Николая Рубинштейна в воспоминаниях моего брата Евгения. Его гений и его музыкальная деятельность были своего рода откровением музыки. Он разбудил природные дремавшие способности и врожденную у нас музыкальность и дал этим способностям и силам должное направление. Его усилия падали на благодарную почву и приносили богатые плоды. В Московском обществе нашлись просвещенные и чуткие ценители музыки, которые сплотились вокруг него и помогли ему создать Императорское Музыкальное Общество и Консерваторию с кадром крупных даровитых профессоров и артистов. А симфонические концерты, которыми он дирижировал, и камерные вечера стали широкой музыкальной школой, привлекая тысячи слушателей во всегда полные залы. Концерты эти были своего рода событиями, и ими жила музыкальная Москва. Я помню атмосферу какого-то светлого торжества, которая чувствовалась в залах Дворянского собрания, когда бывал хороший концерт и особенно когда выступал Антон Рубинштейн. Николая я не застал и помню его только в моем раннем детстве, но дух Николая Рубинштейна был живуч долгие годы в Москве. Вплоть до революции сохранились старые верные его поклонники и последователи, которые оставались неизменными посетителями симфонических концертов.

Мой отец был в числе друзей и почитателей Николая Рубинштейна и деятельно помогал ему во всех его начинаниях, будучи одним из основателей Музыкального общества^[61]. В то время хор, выступавший в концертах, составлялся из любителей. Отец мой был в числе постоянных участников, и здесь на спевках он встречался и сблизился с моей матерью, которая была очень музыкальна и, как я слышал, была любимой ученицей Фильда. Таким образом общее увлечение музыкой сыграло решающую роль в жизни моих родителей.

⁸² Имеется в виду поход русских войск в Венгрию на подавление восстания, который проходил в апреле – августе 1849 г.

⁸³ Среди ее внуков – народный артист СССР П. П. Глебов.

⁸⁴ Добавлено от руки: скончалась 7 сент[ября] [19]36 г[ода].

Я снова прибегаю здесь к воспоминаниям «Из прошлого» моего брата. Читайте и перечитывайте эту книгу, если хотите понять сердцем, кто были мои родители и чем была для них музыка.

Мой брат был на 10 лет старше меня. Он описал годы семейной жизни моих родителей, когда меня не было еще на свете. Для меня Ахтырка, в которой я родился, существует только по рассказам, а не по личным воспоминаниям. В памяти моей от этого времени запечатлелись отдельные отрывочные сцены, сами по себе незначительные, но почему-то врезающиеся в детскую память. Мои более связные воспоминания начинаются с переезда нашего в Калугу. Переезд этот был обусловлен материальными затруднениями, которые стали испытывать мои родители. Они вынудили моего отца с большим горем пойти на продажу родового поместья Ахтырки, содержание коего стало ему не по средствам, и он продал это имение за гроши. Еще раньше, чем решиться на этот шаг, отец мой стал искать государственной службы, и был назначен в Калугу вице-губернатором в 1877 году^[62]. Здесь протекли счастливейшие годы нашей семейной жизни.

Я не помню своих родителей иначе, как пожилыми. И все мои воспоминания с самой ранней поры моей жизни складываются вокруг бережной нежной и всепоглощающей любви моего отца к матери. Он не мог жить без нее, он молился на нее, и когда у себя в кабинете он садился в кресло читать газету, он пододвигал ее портрет так, чтобы видеть ее каждую минуту, когда глаз отрывался от чтения; после его смерти мы нашли его письмо к нам детям, в котором он писал: помните, что вы обязаны Маме больше, чем жизнью...

У нас детей сложилось твердое представление о Папе, что на нем почивало особое благословение Божие. За несколько лет до кончины моего отца, в Москву приезжал известный о. Иоанн Кронштадтский и служил молебен, если не ошибаюсь, в Елизаветинском институте, хозяйственной частью коего ведал мой отец, как почетный опекун. Разговорившись с моим отцом после молебна, о. Иоанн сказал ему, что на нем благословение Божие, и что пока он жив, в его семье все будут живы. Предсказание это сбылось, и мой отец скончался, не зная горя семейных потерь.

Я никого не знаю, кто был бы таким счастливым человеком, как он. Источником этого счастья была его душа младенчески чистая, ясная и добрая. Физически он был редко здоровый человек и никогда не хворал. Моя мать всегда говорила, что переезд в Калугу сохранил моему отцу много лет здоровья, ибо, конечно, в Москве нельзя было бы установить такого правильного, ничем не нарушаемого образа жизни. Он вставал всегда в один и тот же час в 8 часов утра, пил два стакана чая, потом шел в кабинет, где ему давали маленькую чашку кофе, которую он выпивал, наскоро прочитывая известия в «Московских ведомостях», потом ехал на службу. После завтрака опять уезжал на службу, потом по делам и визитам, перед обедом ложился отдыхать, тотчас засыпал и просыпался ровно через 1/4 часа, после обеда иногда занимался и почти ежедневно кончал вечер партией в винт, у нас дома или у кого-нибудь из друзей. Во все перерывы в течение дня он забегал к моей матери, рассказать где был и кого видел и обо всем посоветоваться.

Мой отец был необыкновенной доброты и незлобивости. Он вечно за кого-нибудь хлопотал и, если о ком заботился, то он уже обдумывал его во всех подробностях. Личные свои дела он не умел вести. Его неисправимой доверчивостью к людям нередко злоупотребляли. Он готов был поверить явному мошеннику, если тот обещал не надуть его. Он был совершенно не способен сердиться или обижаться на кого-нибудь, и поэтому у него не было и не могло быть врагов. При этом никогда никакое мелкое чувство и мелкая мысль не имели доступа в его чистое сердце. Ему органически чужды были тщеславие и зависть. Ему даже была простота от Бога. Это был в своем роде цельный самородок. Только получившие дар Божий чистоты сердца могут быть так просты и непосредственны, как дети, быть так цельны и настолько чужды мысли

и старания чем-то такое казаться, а не просто быть. Изю всех детей моего отца в наибольшей мере этот дар непосредственности был унаследован моим братом Евгением.

Ко всем этим счастливым качествам у моего отца присоединялась способность удовлетворяться и находить удовольствие в самых скромных условиях жизни. Он, который смолodu привык к богатству и даже к роскоши, наслаждался разведением самых скромных грядок у себя в саду, и с таким же интересом относился к хозяйству в Меншове, где урожай мог поместиться в двух ваннах, как в былое время в крупных имениях. Но главным его интересом и его страстью была музыка. Ради нее он готов был обо всем забыть. Для чистых душ музыка это та же молитва, конечно, не пошлая веселенькая или чувственная музыка, которая является грубой материализацией искусства, а та музыка, которая уносит над землей, «всякая ныне житейския отложив попечения», та небесная музыка, которая как благодать сходит на композитора и исполнителя и заражает и уносит слушателей в иной мир. Вот эта музыка-молитва звучала в чистой душе моего отца так же, как и моего брата, который так умел передать эти переживания, говоря о 9-й симфонии Бетховена. И та же музыка уносила мою мать в надзвездные пространства.

Главным лишением для моего отца, когда он переехал в Калугу, было, конечно, удаление от симфонических концертов и музыки, связанной с Николаем Рубинштейном, невозможность принимать деятельное участие в Императорском Музыкальном Обществе. Но мой отец тотчас основал музыкальное общество и музыкальную школу в Калуге. Он создал даже оркестр из любителей и устраивал концерты, с целью пропагандировать музыку и в то же время для усиления средств Братства борьбы с расколом^[63], которое он также организовал. В Калужской губернии было много старообрядцев, и с ними устраивались собеседования и велась проповедь.

Мой отец приглашал на концерты в Калугу своих друзей – артистов. Мне было лет 6, когда к нам приехал Николай Рубинштейн. Хорошо помню это посещение, как к нему приехал с визитом, чтобы благодарить за участие в концерте в пользу Братства его руководитель Архимандрит Мисаил. Оба они стояли в столовой у входа в гостиную, куда мне нужно было пробраться. Они разговаривали и кланялись друг другу. Потеряв надежду, что они покинут это место, я на четверинках пополз между ними, и они, продолжая свои поклоны, с удивлением увидели меня у своих ног. Мне было очень страшно, но все обошлось благополучно. Помню также, как старшие не решались просить Рубинштейна сыграть что-нибудь и меня послали к нему с нотами. Мне тоже было страшно идти, но Рубинштейн добродушно принял ноты и сел играть. Я, конечно, не мог тогда оценить его игры, мне только передалось благоговейное напряжение всех слушавших.

Приезжал также давать концерт профессор Консерватории пианист Пабст, отличавшийся блестящей и сильной игрой, и молодая в то время певица Климентова-Муромцева. С ее приездом связаны забавные воспоминания. Мой отец был феноменально рассеян. Когда он решил ее выписать, то написал не только ей, но и моему брату Петру: «Скажи этой дуре, чтобы не вздумала ломаться и приезжала». Он перепутал конверты, и Муромцева получила письмо, предназначавшееся моему брату. Она очень добродушно отнеслась к этой ошибке и возвращая брату письмо, которое ему предназначалось, сказала: «Напиши в Калугу, что дура не будет ломаться и приедет». Перед концертом мой отец командировал за ней в Москву огромного жандарма Степанова с большой рыжей бородой и рядом медалей на груди. Степанов участвовал в любительском оркестре, играя на флейте. Ему было поручено привести артистку. Появление огромного жандарма в доме Муромцевых произвело переполох. Муж Марьи Николаевны был известный, в то время считавшейся левым, профессор университета, впоследствии председатель I Государственной думы. Муромцев был начеку, ожидая всяких неприятностей от властей. Поэтому когда появился жандарм, он решил, что это по его душу пришли. Но вскоре все выяснилось, и Марья Николаевна с удовольствием признала в жандарме своего коллегу.

О феноменальной рассеянности моего отца я припоминаю некоторые случаи, кроме тех, которые привел мой брат. Так, однажды, придя к знакомым, он совершенно забыл, что находится в гостях, а не дома, и все ждал, когда же, наконец, уйдет его собеседник, а хозяин, в свою очередь, недоумевал, почему так долго сидит мой отец. В конце концов, последнему надоело сидеть, он извинился, что ему надо выйти, и только когда вышел на воздух, понял свою ошибку и вернулся домой. Никто не коверкал так имен, как мой отец. Однажды ему нужно было видеть по делам директора одного из департаментов Министерства финансов г[осподина] Тухолку. Он поехал к нему на квартиру, позвонил у двери. Дверь отворил ему какой-то господин. Мой отец спросил его: «Здесь ли живет г[осподин] Падалка...» – «Здесь нет г[осподи]на Падалки, здесь живет директор департамента Тухолка» – был ответ. – «Ну не все ли равно Падалка или Тухолка, – сказал мой отец, – «Мне его нужно видеть». – «Это я Тухолка», – с достоинством возразил господин, и моему отцу пришлось извиниться, по счастью он напал на необидчивого человека. Такие недоразумения случались с ним постоянно, но мой отец был так известен своей рассеянностью и так было очевидно, что он не хочет никого обижать, что на него и не обижались. В последние годы его жизни его рассеянностью воспользовался один мошенник, предложивший моему отцу выгодные условия закладной под дом, которым владел на Смоленском рынке. Дом выходил на две улицы и значился под двумя номерами. Мой отец осмотрел один дом, а закладная была составлена на совсем другой дом под теми же номерами, но в другом порядке. Этот дом совершенно не стоил тех денег, которые дал мой отец. В конце концов жулик перестал платить за него проценты, дом пошел с торгов, и так как никто не хотел купить его, то он достался моему отцу с приплатой в пять рублей к сумме долга.

Помнится, когда сделка еще не состоялась и нельзя было ожидать такой именноделки, я все же, хотя был еще молод, решил высказать свои сомнения, ибо владелец имел определенную репутацию мошенника. Но мой отец ответил мне: «Он обещал мне, что не обманет меня». Что можно было делать, при такой доверчивости... Моему отцу долго пришлось возиться с этим жуликом. У него было несколько домов, которыми он спекулировал, и он подкупал полицию. Поэтому когда его искали, будто бы, чтобы вручать повестки в одном участке, он проходил в соседний свой же дом, значившийся в другом участке, и таким образом оставался недосягаем. Однажды я был в кабинете моего отца, когда он пришел в связи с какими-то своими махинациями. Его разговор был явно жульнический, и он старался доказать, что по закону он чист. Я тогда, при нем же, сказал моему отцу: «Я удивляюсь, почему ты не обратишься к великому князю [Сергею Александровичу] (генерал-губернатору), чтобы принять административные меры. Ведь его могут в 24 часа выслать из Москвы». Нужно было видеть, как изменился в лице и как совершенно иначе заговорил этот мошенник. Но мой отец, после его ухода, только упрекнул меня за то, что я обидел этого человека.

Моя мать была на 12 лет моложе моего отца. В ту пору, что я их помню обоих, кроме последних двух лет жизни моего отца, когда он начал заметно дряхлеть, я совершенно не замечал разницы в их возрасте. Каждый из них сохранил до конца необыкновенную свежесть и молодость духа. Мой отец никогда не задавался отвлеченными вопросами и интересами. Его долг ему был ясен и долг этот ему подсказывал не только рассудок, но и сердце. Покинув военную службу в молодых годах, он сохранил в душе ту внутреннюю дисциплину, которая составляет суть военного призвания. Он вырос в крепких устоях старого дворянства, которое не разделяло Престола и Отечества и считало своим долгом и делом чести служить им не за страх, а за совесть. Император Николай Павлович, его царственный и рыцарский облик сохраняли обаяние для людей его поколения, воспитавшихся и прошедших военную службу в его царствовании. Портреты его, в том числе известная гравюра Сверчкова^[64] – Николая Павловича в санях, в одиночке – висели всегда у него в кабинете.

Поступив на гражданскую службу, мой отец продолжал так же честно и нелицеприятно служить Государю и Отечеству, как он это делал будучи военным. Не надо думать, что это

заставляло людей его воспитания быть формалистами и прямолинейными. Отнюдь нет. Сердце участвовало в их служении не меньше, а иногда и больше, чем рассудок, и иногда это бывало большое сердце. Люди поколения и понятий моего отца были прямыми продолжателями того служилого и боярского класса, на костях которого сложилась и выросла Россия. И когда понятия эти стали разлагаться, то и основы империи дали трещину.

Как мой отец был на службе, таков он был и в жизни, с прямой, ясной, чистой душой. Характер моей матери был сложнее, потому что и сама она выросла в другой среде, более открытой новым запросам.

Мама́

В юности своей мама была веселая, живая, шалунья, верховодившая среди молодежи, музыкальная, чуткая и с той способностью увлечься чем-нибудь, «экзальтироваться», как говорил мой отец, которую она сохранила до конца.

Выйдя замуж, ставши матерью, она прониклась чувством ответственности, на нее выпавшей. Это была великая и горячая душа, пламеневшая любовью к Богу и людям. И весь смысл ее существования сосредоточился для нее в семье, в детях. Если оба мои старшие братья вышли замечательными людьми, то это потому, что мама вложила в них всю свою душу.

Однажды, когда моей сестре Марине было лет 9, к ней обратилась не без ломания одна молодая дама: «Скажите, как вас воспитывает ваша мама, что вы такие все хорошие...» Марина ей ответила: «Нас мама совсем и никогда не воспитывает». Дама пришла в восторг от «прелестного» ответа.

И Марина была права, потому, что мама никогда не приставала к детям с тем, что обычно разумелось под воспитанием – хорошие манеры, регламентация всех мелочей жизни, а между тем вся душа ее горела в детях. Первой основой воспитания у нее было самовоспитание, личный пример. Она понимала, что в душу ребенка с первыми проблесками сознания западают семена, определяющие ее на всю жизнь, и что нет ничего более святого, чем эта младенческая душа, нет ничего более ответственного, чем подход к ней. Как же можно к ней подойти, чтобы бросить в нее эти семена добра... – Только самому очистившись и с молитвою и любовью наклоняясь над колыбелью. Ангел Божий, охраняющий ребенка, сообщает ему один драгоценный дар, который потом так часто растрачивается в жизни: чутье правды и искренности. Никакие нравоучения и строгие внушения, не согреты искренними убеждениями, не могут пробиться к душе ребенка. Они могут создать только внешнюю дисциплину. Ее польза и даже необходимость несомненны. Это, как помочи, которые научают первым шагам. Но еще важнее воспитание духа. Оно дается только полной искренностью, полной правдивостью и любящей материнской душой.

Я знаю по рассказу самой мамы такой случай. Мой старший брат Сережа был еще совсем маленький. Она была с ним в детской. В это время пришла прислуга доложить, что кто-то пришел с визитом. – «Скажите, что меня нет дома» – ответила мама. – Сережа вытаращил глаза: «Как мама, ты говоришь неправду!» – Мама густо покраснела, и сказала: «Я ошиблась, я хотела сказать, что сейчас уйду из дома», и тотчас поднялась и ушла из дома, хотя раньше никуда не собиралась. Она измерила расстояние между условным кодексом правды и душой ребенка, не воспринимающей этой условности, для которого несовместима неправда и его мама.

На внешнюю сторону воспитания мама обращала меньше внимания, предоставляя ее гувернанткам, зато она сосредоточивала все внимание на совесть и душу. Можно сказать, что все ее воспитание было как будто приготовлением к говению. В вопросах совести у нее не существовало пустяков, и она всегда это говорила: вся жизнь складывается из «пустяков», и человек незаметно катится вниз, если не серьезно относится к своему долгу, своим обязанностям. У мамы были любимые притчи, которые она всегда напоминала, и которые врезывались нам детям в память. Одна из них была про лодочника, которому нужно было переехать реку прямо против того места, откуда он отчалил и который забирает далеко вперед. «Зачем ты это делаешь» – спрашивает его мальчик, и лодочник показывает ему, как течение относит лодку в сторону, как сильно нужно грести и забирать вперед, чтобы пристать к намеченной цели... «Забирайте же и вы повыше, гребите сильнее, чтобы жизнь не отнесла вас далеко назад. Только так вы можете достигнуть вашей цели».

Еще одно место из Гоголя особенно любила мама. Она всегда выписывала его и читала нам. И я выпишу его здесь. Это известное лирическое отступление по поводу Плюшкина: «И

до какой ничтожности, мелочности, гадости мог снизойти человек! Мог так измениться! И похоже это на правду... – Все похоже на правду, все может случиться с человеком. Нынешний же пламенный юноша отскочил бы с ужасом, если бы показали ему его же портрет в старости. Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое, ожесточающее мужество, – забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге: не подымете потом! Грозна, страшна грядущая впереди старость, и ничего не отдает назад и обратно! Могила милосерднее ее, на могиле напишется: „здесь погребен человек“; но ничего не прочитаешь в холодных, бесчувственных чертах бесчеловечной старости».

Мама читала эти вещи, когда имела задушевный разговор, в котором будила совесть, пробуждала раскаяние, возбуждала стремление к исправлению. Никто не умел так, как она, вызывать эту внутреннюю исповедь у своих детей. Она сама была нашей живой совестью. Сколько раз я останавливался перед дурным поступком не потому, что это было не хорошо, а потому, что это огорчит мама или возмутит ее. Останавливала не только любовь к ней, но и страх перед ней, – страх не наказания, не внешних последствий, а страх, внушаемый ее нравственной личностью. Такой страх перед матерью не есть ли тот же страх Божий... – Мама нам imponировала, мы все ее боялись, я может быть больше других в своем детстве и отрочестве. Одно время у меня это было слишком сильное и неправильно выражавшееся чувство. Я боялся, и это вызывало во мне скрытность, но все же это происходило не от страха наказаний, ибо не в этом была сила воздействия мама, а в нравственном авторитете. Потом это ненормальное чувство прошло, осталось другое, которое мы испытывали все и до конца. Мама нам imponировала, и когда у нас являлось сомнение, так ли мы поступили – мы боялись ее, потому что в ней олицетворялся суд живой неподкупной совести, который болел за каждый наш грех сильнее нас самих, но никогда не смягчал зла, никогда не выдавал серого за белое. Нам детям приятно было видеть, что мама imponировала не только нам, но и своим сестрам и братьям и вообще всем, кто ближе стоял к ней, а особенно нашим гувернанткам, которые смертельно боялись ее. И это было более чем удивительно, потому что она не только ничего не делала, чтобы внушать такое чувство, но искренно огорчалась, когда видела, например, что это создавало одно время расстояние между ею и мною. Впрочем, это расстояние ей удалось заполнить своей материнской любовью, ибо ничего не действовало на нас так сильно, как ее огорчение, когда мы сознавали себя виновными в нем.

Мама была великая молитвенница. Все свои заботы, мучения и недоуменные вопросы она несла Богу и слагала у Престола его. Она молилась о каждом из нас так, как может молиться любящая и верующая мать, раскрывая перед Богом свои заботы, радости и огорчения.

Однажды, когда тетя Саша Лопухина, жена любимого ее младшего брата, поделилась с нею острым беспокойством о ком-то из своих детей, Мама написала ей письмо, в котором старалась ее успокоить и привела пример из собственного опыта, как однажды ее мучительно тревожила забота о здоровье ее сына Жени. Он сильно рос, у него были слабые легкие и доктора находили, что ему нужно лечение на юге. Между тем в это время средства были расстроены. В это время в Калуге жил почти столетний Семен Яковлевич Унковский, крайне почтенный хороший старец, который очень любил мама. Нуждаясь в нравственной поддержке она поверила ему свою тревогу, и старик сказал ей: «Что вы такое, чтобы рассчитывать на свои силы и свой разум... Скажите себе, раз навсегда, что вы ничего не можете, положитесь во всем на милость Божию. Помните слова псалма: „Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его; если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж“» (126 псалом).

И мама вспоминала, как она поверила тогда этому совету, и как ребенок матери, передала Богу свои заботы и Господь все устроил. И потом всегда в жизни мама помнила этот совет и никогда не обманывалась в своем последнем прибежище. Это не был фатализм, не было желанием отогнать свои заботы, пока билось ее любящее сердце, заботы эти не иссякали, но

это была детская и вместе с тем пламенная вера в Бога и сознание своей личной немощи, беспомощности человека без Бога.

О чем просила мама у Бога для своих детей... На мое счастье у меня есть под рукою одно письмо мама, написанное своим сестрам тете Маше и тете Лиде Лопухиным, когда у них жили мои старшие братья – студенты в Москве. В этом письме ответ на поставленный вопрос. В феврале 1882 года Женя заболел сильнейшей ветряной оспой, сопровождавшейся большим жаром. Он видел тогда не то сон, не то бред, связанный с концом мира. Тут были и фейерверки, пускавшиеся известным в Калуге пиротехником Перовым, который давал им самые затейливые названия, вроде например: «двухъярусный дамский каприз». Эти фейерверки в бреду как бы олицетворяли для Жени пошлость. И тот же бред завершался какой-то небесной музыкой, в которой участвовал хор ангелов. Мама писала по этому поводу своим сестрам 27 февраля 1882 года из Калуги: «...Обе вы мои дорогие сестры! Обнимаю вас от всего моего благодарного и любящего сердца и благодарю вас благодетельниц моих за все, что вы понесли и потерпели за моего больного Женю. Я знаю, что вы не нуждаетесь в благодарности, так как и сами в некотором роде матери моих сыновей, но чувствую потребность высказать вам, что чувствую к вам, голубушки мои дорогие. Скажи Жене, что мы с большим интересом читали его описание сна или полубреда. Меня сначала очень беспокоила эта музыка, которую слышал Женя, по воспоминанию о Пете Ростове; но я вспомнила, что и со мною бывало нечто подобное. В этой ночи у Жени резюмировалось все то, что его волновало за эти 4 года, и дай Бог, чтобы во всю жизнь, при всех невзгодах и тревожностях житейских, надо всем для него возносилось славословие ангелов. Я помню, как первые сомнения сыновей возникли от сопоставления пошлости людской с величием Бога. Они искали образ Бога в человеке, и, не находя, сомневались в Боге, но Бог открылся им, по обещанию: «Ищите и найдете, стучите и отворят вам». И вот теперь, в этой кончине мира, Женя осязательно как бы видел, что пошлость людская не умаляет величия Божия. Представление Перова «Венецианская ночь» не мешала чудным явлениям и силы небесные все покрывали.

Благодарю Бога ежедневно за Его милость ко мне, что услышана моя молитва, хотя самая недостойная она была и продолжает быть. Еще до рождения детей, во время беременности, я молилась и особенно любила слова: «Даруй им души всеразумные к прославлению Имени твоего». Дай Бог, чтобы до конца жизни сыновья мои продолжали искать света и совершенствовались по возможности. Высшего счастья нет на земле. Я мечтаю о том, чтобы со временем они были миссионерами. Но миссионерами не в Японии и даже в России, а в своей собственной среде. Лишь бы гордость не примешалась к желанию распространения истины. Если двигателем будет сознание обязанностей, возлагаемых на них, тем сокровищем веры, которое дано им от Бога, тогда нет места гордости»...

Господи Боже мой! Когда я читаю это письмо, по неизреченной милости Божией сохранившееся в копии у меня здесь в беженстве, – слезы умиления и благодарности проступают у меня в душе, и я думаю: Может ли погибнуть страна, где есть такие матери, которые так думают, так чувствуют и так молятся... Пусть все рухнет, что тлен, пусть отгорят все фейерверки человеческой пошлости. Огнем познается всякое дело. Но не умрет и не погаснет то, чем из века в век жила Россия. Молитвы русских матерей и молитвы русских праведников не останутся не услышаны перед Престолом Господа, и да оправдают их дела сыновей. Пусть же и моя молитва, меня грешного и недостойного будет услышана, и не по моим грехам, а по представительству моей матери, сыновья мои так же, как и их дяди будут иметь души всеразумные, к прославлению имени твоего Святого.

Молитва моей матери была услышана. Мои братья были миссионерами в том лучшем смысле, в каком это понимала мама. Они и жизнью и трудами своими проповедовали до конца Добро и Правду, и всегда связывали свое дело с именем мама. Я меньшего прошу для своих детей. Не всем дано быть замечательными людьми и мыслителями, но всем можно и должно

быть христианами. Мама всегда говорила мне: «все равно, какую дорогу ты выберешь. Не в этом суть дела. Все пути могут быть почтенны. Но на всяком пути и во всяком положении, будь христианином. К этому стремись, а не к славе и не к успеху, и все прочее приложится тебе». Вот и мой вам завет. С ним идите в путь и с ним готовьтесь вернуться в Россию, и все прочее приложится вам. «Лишь бы гордость не примешалась к желанию распространения истины».

Я также лично получил завет моей матери, который передаю моим детям. Мне было лет 15. Я плохо учился, ленился и огорчал мама. Когда наступила Страстная неделя – обычное время нашего говения, мама имела со мной один из тех разговоров, секретом коих она обладала, когда она глубоко заглядывала в душу и пробирала до основания. После этого она подарила мне Новый Завет, и на первой странице написала место из апостола, которое приходилось на этот день. Вот оно: «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю радуйтесь. Крепость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом; И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваша и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте» (Ап. Павел, Филип. IV, 4-8).

Трудно лучше передать то настроение, которое мама всегда стремилась внушить нам. Оно отвечало вере, руководившей ее собственным повелением во всю ее жизнь. И что бы я дал, чтобы мои сыновья следовали этим заветам в своей жизни.

Прав был мой отец, когда напоминал нам в своем посмертном завете, что мы обязаны маме больше, чем жизнью. Во всяком случае, я чувствую, что каждым добрым своим движением, всем своим духовным содержанием обязан ей и наследственно своему отцу. Но мама развивала в нас не только религиозные и нравственные стороны души, но и отзывчивость на все запросы духа.

В ней была редкая чуткость к красоте в самых разных ее проявлениях – в музыке, в природе, в литературе. Первые воспоминания детства связаны у меня с музыкой. Я вижу перед собой детскую в загородном доме, где стоят две кровати: моей сестры Марины, которая была моложе меня на 4 года и моя. Два больших окна выходят в сад. У другой стены кровать няни. Над ней икона Св. Николая Угодника с очень темным ликом, и перед иконой лампада. Комната во втором этаже. Мы улеглись в свои кровати. Комната погружена в полумрак, освещаемый лампадой, от которой падают световые пятна сквозь шнуры, окружающие кровати, на подушку и простыню. Внизу, в зале-столовой мама играет «Лунную сонату» Бетховена, и звуки ее сливаются с этими световыми пятнами на постели от лампы или от луны, порою выплывающей из облаков. Эти звуки грустные и сладостные, полные каких-то волшебных чар. От них замирает сердце, и так уютно, тепло лежать в кровати и слушать мама, и кажется, что и видишь и слышишь запах ее пальцев от ее любимого мыла Опопонакса^[65] и хочется целовать эти тонкие розовые пальцы. И понемножку, незаметно погружаешься в детский сон, где звуки, грезы и действительность перемешаны между собою, и музыка незаметно переводит из одного мира в другой.

«Лунная соната» Бетховена осталась для меня на всю жизнь связанной с обликом мамы, ее мечтательным романтизмом, мягкой женственностью и полетом в заоблачный мир, и ни одна интерпретация этой сонаты никогда не удовлетворяла меня так вполне, как ее: она восходила на суд моих детских воспоминаний, а какая самая прекрасная действительность может выдержать сравнение с этим миром грез светлого детства... – Помню, как однажды я невольно вспоминал игру мамы, и это при самых необыкновенных условиях. В начале моей дипломатической карьеры я плыл на русском пароходе из Константинополя в Афины. И вдруг я услышал в кают-компании знакомые звуки «Лунной сонаты». Техника страдала, но интерпретация унесла меня в далекое детство. Я справился, кто играет. Это был русский флотский офицер.

Мне сказали, что он потерял жену и с тех пор единственное, что играет и умеет играть – это андантэ «Лунной сонаты», а на всех остановках парохода ходит только на кладбища.

Наша семья была так многочисленна, и было столько девочек разного возраста, учившихся играть на фортепьяно, что весь день раздавалась музыка разного качества, и на меня не хватало времени. К большому моему сожалению, когда я стал взрослым, – меня в детстве не учили музыке, а между тем, как все мои братья и сестры, я жадно воспринимал ее. С разными музыкальными пьесами невольно связывались разные ассоциации воспоминаний, и теперь иногда услышишь какую-нибудь вещь и сразу пахнет какой-нибудь эпохой детства или юности, когда эту вещь разучивали сестры, или играла мама. Старшие сестры с мамой или между собой играли часто в четыре руки. Нам с детства были хорошо знакомы все симфонии Бетховена, Шумана, Гайдна, Моцарта, не говоря о сонатах и вещах, написанных для фортепиано. Позднее, мы пережили увлечение Чайковским и русской музыкой.

Так же, как музыку, мама воспринимала красоту природы. Когда она уезжала куда-нибудь в деревню, она могла целые страницы посвящать описанию весны, леса, солнечного заката. Она почти совсем не путешествовала в своей жизни. Впечатления ее сосредоточивались в Московской, Тульской и Калужской губерниях, но от этого они были не менее сильны и захватывающи. Только выдав сестру Лизу замуж, она попала в Крым и в первый раз увидела море. Потом она несколько раз повторяла эти поездки, когда Самаринцы основались в Ялте, и мы у них останавливались. Здесь мама положительно сходила с ума от восторга. Сестра ее посмеивалась над ней: «семнадцатилетняя Соня» увлечена морем. Мама проводила у моря целые дни. Она не могла насмотреться на него, налюбоваться солнцем, лазурью, разлитой в воздухе, всей красотой юга. Каждый день и час готовил ей сюрпризы переменой освещения, переливами красок. Она, как ребенок, увлекалась собиранием ракушек и камушков, подбирала целые коллекции, и потом вернувшись в Москву, зимой любила поливать их водой и вспоминать связанные с ними переживания. Письма ее были целые поэмы моря и солнца. Она с волнением передавала свои впечатления. Никто из дочерей не мог поспеть за ней в этих увлечениях, но некоторые из них унаследовали ее восприимчивость к природе, например, моя сестра Марина, которую я также часто называл «семнадцатилетней». Вообще, у нас в семье женщины положительно молодеют иногда с годами в отношении восприимчивости к красоте. Да это отчасти и понятно. В молодости столько своей личной жизни, что она не позволяет впечатлениям извне заполнить ее.

Мама́ ничего не умела переживать наполовину. Она бывала вся охвачена тем или другим впечатлением, интересом или привязанностью. Поэтому ей удавалось и на детей воздействовать в желательном направлении. У нее были свои коронные вещи в литературе, которые она всегда сама читала детям с тем, чтобы внедрить в них какую-нибудь основную мысль, заставить их пережить известное нравственное состояние. Одной из таких вещей было «Муму» Тургенева. Мама в своей юности видела и знала крепостное право и его отмену. Это было одним из сильных переживаний ее жизни. Она не могла мириться с низведением человека до вещи, которой владеют. Не пошлый либерализм, а глубокое христианское чувство живо было в ее душе. И в детях она хотела глубоко укоренить святое и бережное отношение к душе каждого из малых сих. При ней никто не смел проявлять тщеславия и гордости, потому что чувствовал заранее один взгляд мамы, которым был бы пристыжен до корней волос.

Мама не обладала таким исключительным талантом чтения, воспроизводившего интонации живых людей, какой был у ее брата дяди Сережи Лопухина и отчасти у тети Эмилии Капнист. Зато она умела передавать тот пафос, который возникал сам собою в ее душе от столкновения нравственных идей и переживаний. И в меня неизгладимыми чертами врезался образ крепостного раба с такими трогательными человеческими чертами и грубое попрание его личности госпожой, для которой он был только раб и вещь. Забывается фабула рассказа, но не забывается это впечатление, живо пережитое детской душой, с чередованиями сострадания, жалости, симпатии и возмущения. И во всем этом выделялось то центральное впечатление,

которое мама хотела внедрить в нас – человеческая душа должна быть свята для нас. Когда мы были постарше – детьми 12-13 лет, мама всегда читала нам «Les Misérables» Victor Hugo⁸⁵. Роман сам по себе был увлекателен, но при чтении его мама умела совершенно искусственно, без скучных и ненужных комментариев обратить внимание на то, что хотела, и сосредоточить в этом максимум впечатления.

Способность живо увлекаться и уходить всецело в предмет своего увлечения была сильно развита у мамы. Об этом пишет мой брат Евгений, вспоминая, как папа говорил с нежной насмешливостью: «А мамáшинька опять заэкзальтировалась».

Она всех людей любила и говорила, что у нее нет любимцев, и, конечно, сама искренно хотела в это верить, но, конечно, также, у нее всегда были любимцы, и мы все это чувствовали. Главные ее любимцы и притом самые естественные, были в разное время – старший первенец ее мой брат Сережа и младшая дочь Марина. Я буду говорить о каждом из них отдельно в свое время и непрерывно с ними о маме. Здесь же только скажу, что в известные эпохи жизни мама вкладывала как будто всю свою душу в чувство к своему любимцу, и тогда все, что с ним было связано, совершенно оттесняло всю ее личную жизнь. Но спешу оговориться, что хотя остальные дети это видели и понимали, они не могли пожаловаться, чтобы мама забыла о них. Мы ее так любили, все, что исходило от нее, было для нас настолько неоспоримо хорошо, что мы признавали полную законность ее предпочтений и мы хотели только, чтобы и на долю каждого из нас выпадало немножко ее ласки и любви, и мама была такая молитвенница, что я не сомневаюсь, в ее молитвах сглаживался всякий элемент возможной несправедливости и фаворитизма, и она вкладывала свою материнскую душу в молитву о каждом из своих детей.

Как спокойно жилось под кровом этой молитвы! И каким верным компасом она была для нас. Достаточно было ее увидеть, чтобы понять степень своего отклонения от правильного пути. Я помню, как я сильно это испытывал, всякий раз как возвращался домой, зажив самостоятельной жизнью. Все равно, как вступив на паркет, чувствуешь комки грязи, прилипшие к подошве, так, возвращаясь в родительский дом, я от одного прикосновения с ним чувствовал всю приставшую ко мне наносную пошлость.

Я хотел дать общие облики моих родителей раньше, чем приступить к воспоминаниям о нашей семейной жизни и своей личной. Воспоминания эти, конечно, будут все время переплетаться с ними. Я не знаю, как, вообще, удастся мне воссоздать историю нашей жизни без писем под рукой и с такой плохой памятью. Может быть сестра Ольга восполнит этот пробел и напишет семейную хронику по имеющимся у нее документам. Что бы я дал, чтобы прочесть старые письма Мама, увидеть ее почерк, который мы так любили, ее «фиолетовые» письма!

⁸⁵ «Отверженные» Виктора Гюго.

Калуга

Мои первые более ясные воспоминания связаны с Калугой. Мне было 4 года, когда мы туда переехали, моей сестре Марине было всего несколько месяцев.

В детстве я не ценил красоты и живописности места, где мы находились. Много, много лет спустя, попав уже немолодым в Калугу, я испытал волнение, знакомое всякому, кто посещает место, где прошло его счастливое детство, и я вновь пережил забытые впечатления, связывавшиеся в детстве с каждым уголком и всеми подробностями, которые показались мне такими знакомыми. Но к этим впечатлениям прибавилось еще новое незнакомое в детстве любованиe красотой и живописностью Калуги. Весь облик этого старого дворянского города сохранился в 1918 году, когда я там был последний раз, таким же, как и 40 лет перед тем. Та же главная улица Никитская с магазинами и старыми прекрасными дворянскими домами, площадь с рядами, Собор [Троицы Живоначальной], присутственные места екатерининской [по]стройки, живописный овраг видом на Оку с моста, чудный дом Кологривовых, известный по воспроизведениям, потом улица, на которой мы жили, дальше Загородный сад и в конце его летняя губернаторская дача – деревянный двухэтажный дом тоже Екатерининского времени. Там всегда жили мы.

За домом обрыв, внизу коего извилистая Яченка, впадающая в Оку. За нею луг и большой густой бор, а направо Пафнутьевский⁸⁶ монастырь, «Железники» Деляновых. В городе много старых церквей и отдельные хорошие дворянские дома эпохи ампира. Калуга – не промышленный город, в нем остатки старого дворянского быта и управление губернией. На нем лежит печать мирной идилической провинции, особенно на окраинах, улицах, близ Загородного сада, где как будто выросли в землю низенькие, иногда полуразвалившиеся мещанские домики, с окнами, в которые с улицы вваливаются свиньи, вместе с ребятишками. На перекрестках «тетки», торгующие яблоками. На одной из нижних улиц, сходящих к Оке, был трактир и на нем вывеска, на которой изображены были двое мужиков за столом, один со стаканом, другой с бутылкой, и под этим надпись: «Васи-лей, Евлам-пей».

В центре города стоял городской театр – деревянное здание, украшенное резьбой в лжерусском вкусе. Перед театром был луг, на котором мирно паслось стадо с очень сердитым быком. Нам всегда говорили, чтобы мы остерегались подходить близко к этому стаду, потому что бык этот будто бы однажды поднял какого-то актера на рога.

Во время Турецкой войны в Калуге жило много пленных турок. Это были добродушные солдаты, и к ним отношение было также самое добродушное. Никакой враждебности не чувствовалось ни с одной из сторон. Помню одного замечательного акробата-турка, ходившего по канату, и с высокого шеста бросавшегося в воду в Яченку, сидя по-турецки со скрещенными руками, и так же выплывавшего на поверхность. Помню, как меня подводили к нему ребенком во время представления. Мне он казался каким-то сверхъестественным существом.

Другое воспоминание, связанное с войной, – это торжественная встреча Киевского гренадерского полка, возвращавшегося на свою постоянную квартиру в Калугу. Мы смотрели из окна дома Яковлевых на Никитской. Нас была большая семья – девять человек детей моих родителей. (Старшие полусестра и полубрат жили у своей тети Толстой.) Мой старший брат Сергей был на 11 лет меня старше. За ним следовал брат Евгений, меньше, чем на год его моложе. Потом сестры Тоня, Лиза и Ольга. Это было старшее поколение. Ольга была немножко по середине, но мы ее считали в числе старших. Наш «второй пяток», как называла нас няня,

⁸⁶ [Свято-]Лаврентьев. – Примеч. О. Н. Трубецкой.

начинался с сестры Вари, которая на три года была моложе Ольги, Лина⁸⁷, я и младшая Марина, которая была на 4 года моложе меня и приехала в Калугу грудным младенцем.

Я помню своих братьев в старших классах гимназии. Когда они кончили ее, они поехали в Москву и первые годы жили там зимой, но потом они убедились, что хождение в университет и слушание лекций только отнимает у них время, между тем как они со всем пылом юности занимались философией не по университетской программе, и они стали жить и зимой в Калуге подолгу. Старшие сестры также зимой ездили в Москву, жили у Капнистов и выезжали в свет. Пока братья были еще в гимназии, и потом, когда все возвращались домой, мы жили дружной жизнью большой семьи, наслаждаясь своим многолюдством. Конечно, каждый пяток имел свой мир и свою особую жизнь.

Проникнем в этот мир, а для этого войдем в двухэтажный (низ каменный, а верх деревянный) дом Кологривова на [Золотаревской]^[66], куда мы водворились после кратковременного [2-летнего] проживания в доме Сперанских⁸⁸. Вход со двора. Тогда нам дом казался большим, потому что в детстве все кажется больше, но теперь, вспоминая, вижу, как он был тесен для большой семьи.

Из передней лестница вела в верхний этаж, где жили родители и были приемные комнаты. У подножия лестницы стояла высокая пальма, доходившая до верха дома. Направо была дверь в нижний этаж, где было наше царство. Маленькая проходная комната, где стоял большой шкаф, а за шкапом был наш детский потайной уголок. Сюда мы спасались от преследований, прятались от гувернанток, во время огорчения и во время игр, здесь выжидали события и порою, замирая сердцем, слушали чьи-нибудь шаги, когда нас искали, и здесь же мы устраивали засады для нападений. Словом, этот уголок был полон для нас таинственного значения и играл большую роль в нашей жизни.

Из проходной комнаты мы входили в узкий коридор между стеной и матерчатой перегородкой, которая с двух сторон отгораживала спальню трех старших сестер. В коридорчике между окон стоял старый красивый туалетный стол с трюмо красного дерева ампир, очевидно, вывезенный из Ахтырки. Дальше дверь в комнату, которая была классной и где стояли у окон письменные столики с этажерками старших сестер, а посередине большой стол, обитый клеенкой, за которым происходили уроки. Это была половина старших сестер. Если вы не шли в комнату сестер, а поворачивали вдоль перегородки их спальни, то вы натыкались на дверь. Пройдите в эту дверь и затворите ее за собою, и вы очутитесь уже в нашей половине – второго пятка, где мы царствовали безраздельно. Прежде всего вы попадали в настоящий коридор, по обе стороны которого были слева сундуки, а справа шкапы. Дверь направо вела в комнату гувернантки, другая дверь налево в девичью. Из девичьей дверь вела в сенцы и черную людскую кухню. В сенцах было холодно, но когда отворялась дверь из людской кухни, то оттуда всегда несло теплом и приятным запахом черного хлеба и щей. Как мы любили бегать в людскую кухню и доставать там горбушку горячего черного хлеба, который пекли дома. Особенно любили мы соленый черный хлеб. В маленькой девичьей жила горничная, служивавшая старшим сестрам. Это была та самая Анна Васильевна, которая потом, как обломок минувшего, оставалась при тете Ольге в Москве.

Из коридора снова дверь в другую часть коридора. Налево была комната няни Федосьи Степановны с образами и лампадой в углу. Здесь, когда мы были совсем маленькие, жил я с сестрой Мариной. Небольшой темный коридорчик вдоль няниной комнаты замыкался снова дверью, которая вела в угловую комнату, служившую классной для нас – младшего пятка. Наконец, из классной направо была дверь в спальную, примыкавшую к комнате гувернантки, с которой не было прямого сообщения. Это было очень важно для нас, ибо когда мы шалили

⁸⁷ Имеется в виду Александра.

⁸⁸ Квасникова на Воскресенской улице. – Примеч. О. Н. Трубецкой.

и шумели, гувернантка могла только стучать в стену и не могла внезапно нагрянуть к нам. Ей предстояло совершить все описанное мною путешествие через коридор, разделенный дверями, и в эти экстренные случаи мы могли успеть спрятать все концы в воду. В спальне были кровати Вари, Лины и там же спал и я, когда вырос из младенцев, но не дорос до гимназического возраста.

К нашей детской классной примыкал еще чулан, где спала наша детская горничная «Надя расторопная», как ее звали. Из ее чулана шла лестница на чердак.

Покажется странным, почему я вдаюсь в такие подробности, но каждая из них была полна значения для нас, вокруг них вертелась вся наша детская жизнь. Недаром я, при всей своей ужасной памяти, вижу перед собой все до мелочи, каждое окно и дверь. Многочисленные двери и переходы в наше царство играли огромную роль, они совершенно обособляли наш детский мир и создавали огромное расстояние между детской и верхним этажом, немножко чужим и страшным, особенно когда мы боялись грозы за наши шалости.

Я, однако, говорил, что гувернантки боялись мама не меньше нас, и потому не всегда решались идти к ней жаловаться на нас, а мы этим, конечно, пользовались. Помню одну очень глупую швейцарку m-lle Portalès. Она была очень жадная, и мы хорошо знали ее недостаток. Когда она считала, что ее средства педагогического воздействия были исчерпаны, она направлялась решительными шагами наверх жаловаться мама. Но нужно было пройти длинный путь коридорами. Я бежал за ней и кричал: *Mselle, Mselle, voulez vous des pommes?*⁸⁹ и протягивал ей маленькие очень сладкие яблочки, которые покупал на углу по пятаку десятков. M-lle Portalès продолжала молча и непреклонно идти быстрым шагом, но в проходной комнатке перед передней она внезапно останавливалась, вперяла в меня убийственный взгляд и говорила: «*Mon petit, vous voulez m'acheter?!*⁹⁰» Когда она это говорила, я уже знал, что мое дело выиграно, и совал ей энергично мои яблоки. M-lle Portalès торжественно принимала их и с достоинством возвращалась в свою комнату, а я бежал к себе, не обращая больше на нее никакого внимания.

Но вооружимся бóльшим мужеством, чем м-ль Порталэс, и проникнем по лестнице во второй этаж.

Лестница кончалась небольшой площадкой – передней, где висели шубы. Тут же, когда мне было лет 10, соорудили некоторые приспособления для гимнастики, которой меня обучал унтер-офицер по утрам. В передней была кафельная печь. Из передней – дверь в залу-столовую. Мы любили по утрам, когда пили молоко, выбегать на лестницы, вынимать один из медных прутьев, которыми держался ковер на ступеньках лестницы, и воткнув на него кусок хлеба, поджаривать в печке в передней.

Другая дверь из верхней передней вела в узкий продолговатый кабинет папá, всегда сильно накуранный. Стены были увешаны портретами предков и многочисленными фотографиями. Из портретов особенно памятен портрет графа Брюса напудренный и подрумяненный, герцогиня [Морни], рожденная княжна Трубецкая, портрет Бетховена, принадлежавшие раньше Глинке, а потом как-то перешедший моему отцу, помнится с трогательной надписью какого-то Булгакова, подарившего его папа, большие портреты масляными красками родителей моего отца и его деда фельдмаршала Витгенштейна. Мебель была самого старинного и оригинального покроя, обтянутая зеленым сафьяном, кресла были неказисты, но необыкновенно удобны.

Из столовой, где стоял большой стол и большое фортепьяно, был вход в гостиную. В столовой мы бывали несколько раз в день для принятия пищи, а в гостиную не ходили без надобности и проникали не без опаски. Особенно неприятно бывало, когда нас наказывали и ставили там в угол, на более или менее долгое время, в зависимости от проступка. Всегда

⁸⁹ Мадмуазель, мадмуазель, не хотите ли яблок? (франц.).

⁹⁰ Мой маленький, ты хочешь меня купить?! (франц.).

страшно было, что войдет кто-нибудь чужой до того, что мама отпустит, – и увидит позорное наказание. Когда мы уехали из Калуги, хозяева долго сохраняли на стене надписи карандашом, которые мы дедали от нечего делать, на память о своем наказании. В гостиной в простенках стояли зеркала и перед ними бронзовые часы в стеклянных колпаках. На стенах висели хорошие картины. Все это убранство казалось мне холодным и чужим.

Рядом с гостиной была спальня мама с такими знакомыми принадлежностями: серебряным туалетным и умывальным сервизом, секретер, за которым она писала свои фиолетовые письма. Там же стояла маленькая школьная парта, за которой я по утрам брал у нее уроки, когда мне было 7-8 лет. К спальне мама примыкала комната, где жила ее горничная Анна Сергеевна и еще более старая экономка Елизавета Петровна, впоследствии переселившаяся во флигель на том же дворе, где жили старшие братья, а внизу была господская кухня и людские комнаты. В верхнем этаже была еще одна довольно просторная⁹¹ комната, где спал папа,⁹² и в самом конце буфет с лестницей на двор, через который проносили блюда. Были еще конюшни, каретный сарай, кучерская, где жили кучера, сначала Никита, потом Егор, который долгие годы продолжал служить нам в Москве, а потом был у сестры Ольги. При доме, за внутренним двором был небольшой и довольно запущенный сад. Им мало пользовались, потому что на лето переезжали в загородный дом.

Жизнь протекала зимой необыкновенно правильным размеренным порядком, один день, как другой. Кроме домашних игр в будни не было никаких развлечений. Десять лет нам полагалось первое жалование 50 копеек в месяц, кроме того на именины и рожденья мы получали от папá и мамá по рублю, и столько же на Пасху в яичке. Но и знали же мы цену денег! Пятачок были деньги. На них можно было купить порою десяток яблок, или палочку шоколада или нуги. Бакалейная лавочка Большакова рядом с нашим домом была главным нашим поставщиком. На пятак можно было купить разноцветной почтовой бумаги, которую мы считали верхом роскоши, и ходили покупать ее и декалькомани⁹³ в магазин Савинова или Кудрявцева в рядок. Я вижу перед собой Савинова с черной бородкой и седовласого Кудрявцева. Раньше всех из нашего пятка начала получать жалование Варя, и она выдавала Линочке и мне по 5 копеек в месяц. Мы вообще считали ее капиталисткой и прибежали к ней в трудные минуты жизни. Она обладала талантом вспоминать какие-то давние наши долги и помогала нам их взыскивать, иногда 15-20 копеек по частям – целое состояние! Однажды мы с Линочкой решили на ее именины поднести ей кулебяку и потребовать за это с нее на чай. Дали людской кухарке 15 копеек. На эти деньги она нам изготовила маленькую кулебяку. Мы ее поднесли, но наша комбинация не прошла, Варя вознегодовала, что мы требуем с нее на чай за подарок и отказалась его дать и вернуть нам кулебяку, которую мы хотели, по крайней мере, за то разыграть. Самая безденежная была всегда Линочка. Однажды я предложил ей за пятак проткнуть себе ухо иглой с ниткой. Она это сделала, и бегала за мной с ухом, из которого висела нитка, а я отказывался ей платить, ибо никогда не рискнул бы такой суммой, если бы поверил серьезно, что она проткнет себе ухо. Когда мы уехали из Калуги, Линочка так и осталась должна Большакову 3 копейки за какой-то товар, отпущенный ей в кредит. Она не знала потом, как вернуть этот долг.

В раннем детстве я был тихий мальчик, с большой головой, за которую меня прозвали: головастик. Старшие сестры таскали меня на куркушках⁹⁴, тискали, мяли, приговаривая: «головашеку». Сообразительностью я не отличался. Мой первый детский роман относится еще к Ахтырке. У наших соседей Карповичей была девочка Варя, немножко меня моложе. Однажды мне очень понравился суп, который нам давали за обедом. Я решил отнести его

⁹¹ Небольшая. – *Примеч. О. Н. Турбецкой.*

⁹² Более просторная в 2 окна, где жили братья. – *Примеч. О. Н. Турбецкой.*

⁹³ Переводные картинки для сухого переноса на бумагу, картон, керамику при помощи высокой температуры или давления.

⁹⁴ На закорках.

своей приятельнице, чтобы ее угостить, и налил суп себе в карман. Я был неповоротлив и слушался беспрекословно сестры Линочки, живой и стремительной девочки, которая была старше меня на 1½ года. Однажды во время прогулки мы проходили мимо лужи. Линочка только повелительно сказала мне: «Гриша» – и я немедленно бросился в лужу. Когда меня стали бранить, я сказал: «Рина мне прикажара, я и попры» – я говорил «р» вместо «л»⁹⁵ в детстве. Во время Турецкой войны она написала письмо Черняеву¹⁶⁷¹, которое даже каким-то путем попало в газеты. Она любила загадывать слова, говоря первый слог. Раз она дала такую загадку Николаю Рубинштейну: «фор». Тот ничего не понимал. «Ну, на чем ты играешь – топиана». Рубинштейн много смеялся.

Самая рассудительная и спокойная из нас была Варя, и самая практичнейшая. У нее было много способностей и талантов, которыми мы не обладали. Она рисовала, любила сложную механику. Помню, как из старой коробки конфет она соорудила винтовой пароход. Она пользовалась среди нас некоторым авторитетом, особенно в раннем моем детстве, когда меня легко было затуркать. Я всего боялся, и больше всего мама. За столом я сидел около нее совершенно окаменевший, не отвечая ни на один вопрос и в полной неподвижности. Однажды, чтобы вывести меня из оцепенения, мама положила мне на голову маленькую тарелку, на нее ложку. Все на меня обратилось, смотрели, смеялись, я страдал, но еще больше окаменел, не роняя ни звука.

Таким я был лет до шести, и потом няня и сестры рассказывали, что в один прекрасный день со мной совершилась внезапная перемена: меня повели к парикмахеру стричься, и я вернулся от него преображенный – стал буйным шалуном. Няня прозвала меня «круговой отец». Впрочем у нее для всех детей были свои прозвища. Варю она звала «круговая мать», Линочку «самодерга», «зубной нерв». У нас между собой были также свои прозвища, смысл которых был непонятен, и казался нам подходящим по звуку. Ольгу звали «Мапсентий», Лизу «Зватенькина», маленькую Марину, смуглую с золотистыми кудрями – «Жыд».

В эту пору детства, когда я развернулся, меня перевели спать в комнату Вари и Лины. По вечерам я облекался в рыжий халат, и перед тем, чтобы ложиться спать, выходил торжественно шлепая в туфлях на середину комнаты и говорил: «Простите меня, отцы и братия, я вас всех прощаю», потом бросался в свою постель, и тут часто начиналась веселая баталия. Мы перекидывались подушками, гувернантка стучала в стену, няня нас унимала, а иногда взывала даже к помощи мадемуазель, однако больше чтобы нас напугать, а не для того, чтобы она пришла: «Матмазель, матмазель, уберите⁹⁶ приблизительно Линочку». Если матмазель, потеряв терпение, появлялась, мы, заслышав ее шаги, заворачивались в одеяла, на все ее ворчания отвечали храпом, а сами тряслись от смеха. Мы знали, что ночью наказывать не будут, а утро вечера мудренее.

Ближе всех к нашему пятку была разумеется няня. Ее достаточно описал мой брат Евгений. Как младший мальчик в семье, я был ее любимцем, и трудно сказать, какое большое место она занимала в жизни нас, детей, до самой своей кончины, когда я был уже студентом 1-го курса.

Мы любили няню и мы знали, что она нас любит не так, как другие старшие, то есть безо всякой педагогики. Мы в ней видели нашего естественного союзника и защитника, прежде всего против гувернанток. Мы могли все поставить верх дном, няня на нас кричала, но мы ее нисколько не боялись, и она была всегда на нашей стороне против всех строгостей гувернанток. Уже к самому существованию гувернанток она относилась с предубеждением, потому что от нее, из ее опеки брали ее птенцов, притом гувернантки были все-таки не настоящие люди – нехристи. Они могли научить французскому языку и манерам – и только, но няня была

⁹⁵ И «ж» вместо «з». – Примеч. О. Н. Трубецкой.

⁹⁶ Позовите к себе. – Примеч. О. Н. Трубецкой.

убеждена, что они не могут «понять» ребенка, и поэтому она считала своим долгом противодействовать им, чтобы они не забирали слишком много форсу.

Как сейчас вижу перед собой доброе лицо нашей няни Федосьи Степановны со всеми морщинками, седыми волосами из-под чепца и очками, золотая оправка коих внушала нам большое уважение. После родителей это был самый близкий нам человек. Ее облик сопутствует всем воспоминаниям первой пробуждающейся жизни, младенчества, отрочества и юности. Может быть от няни я воспринял первый трепет перед мамой, как перед высшим существом. С няней связаны первые молитвы перед темным ликом, освещенным лампадой. Няня внушала нам необыкновенно высокое представление о нашей семье: была наша семья – и все остальные. Это нас обязывало. Показывая кому-то мою младшую сестру Марину, она говорила: «Ведь вот из самого последнего можно сказать материала сделана, а какая девочка». В связи с перевозом нашей семьи у нее было особенно высокое понятие о себе самой, которое мы также разделяли. Няня Трубецких – это было в ее глазах какое-то звание, создававшее права. Она признавала равноправными только еще двух нянь – Оболенских и Щербатовых, и мы с особым уважением относились к этим старушкам, потому что наша няня признавала их равными. Она иногда шутя говорила, как она явится на тот свет, и как Василий Великий скажет: «Кто эта почтенная дама...» А ему ответят: «Это потомственная няня Трубецких». Тогда Василий Великий скажет: «Проведите эту даму в первый ряд». У няни были свои изречения, – многие из них привел мой брат, давний ее облик. Эти изречения, смешные по форме, показывают ее мудрость и сметку, например ее завет мне, ее любимцу:

«До 19 лет молодой человек должен любить только одну истину».

«Будь по рождению князь, а по заслугам граф».

«Держи себя почище» – это был самый последний любовный ее завет мне, только что кончившему гимназию, когда она в больнице умирала от рака.

Самое любимое наше время, когда мы стали постарше, было приходиться к няне пить чай в 3 часа. Это любили и наши друзья, но не все этого удостоивались. Бывало, когда мы уже переехали в Москву, и я был в старших классах гимназии, я прямо от учения шел к ней. «Ну что, Гришенька, как ты учился, кого видел...» – спрашивала няня. «Я встретил по дороге генерала, и дал ему в ррррр...ыло!» Няня закрывала уши и в отчаянии вопила: «Замолчи, у меня сейчас зубы заболят». Это повторялось каждый день.

Раз в год, 29 мая, день ее рождения и именин, няня устраивала грандиозный чай с угощением. Чего тут только не было. Мы всегда ждали этого чая. Няня затеяла одно время писать свое жизнеописание. Она озаглавила его: «Колесо моего счастья» и диктовала лакею Константину с рыжими усами. Ее воспоминания начинались с дома Оболяниновых, где она была еще в качестве крепостной девочки. Константин любил приукрасить рассказ. Например, когда она описывала смотрины перед своей свадьбой, она продиктовала, что было человек 15 гостей. «Напишем 30, так красивее», говорил Константин, и няня соглашалась. Кажется, он и присоветовал няне дать такое заглавие своим воспоминаниям.

Я бы мог много и долго говорить о няне, но самые меткие штрихи приведены моим братом, и я бы только испортил сделанный им портрет. Мне только хотелось высказать свое личное чувство любви и благодарности ее памяти, неразрывно связанные с картиной детства. Когда ее не стало, что-то оторвалось, какая-то последняя нить, связывавшая молодость с младенчеством, и осталось большое пустое место. Не стало существа с беззаветной и ничего не требующей любовью и нежностью смотревшего на нас, не стало Няни, для которой мы и до старости оставались бы детьми, если б она жила. А только с годами понимаешь, как грустно становится, когда редет круг старшего поколения и нет больше тех, к кому можно прийти сдать с души и получить ласку и поддержку.

Первым товарищем моего раннего детства была моя сестра Марина. Мы с ней последние оставались на всецелом попечении няни, и спали в ее комнате. Передо мной ее портрет,

когда ей было года 4, в платьице, подаренном тетей Линой Самариной, с пелеринкой, мелкими квадратиками коричневого цвета, с ее золотистыми кудрями и большими кроткими глазами. Больше всех ее напоминает маленькая Диди Осоргина, ее внучка, и лицом, и обликом, но такой очаровательной девочки, какой была Марина, я никогда не видал, и не может быть. Ее прелесть с младенческого возраста была та же, какая осталась во всю ее жизнь: она была вся кроткая, мягкая и любящая женственность, ангел Божий, слетевший с неба.

Я был мальчишкой на 4 года ее старше, и уже я над ней куражился и командовал ею. А она кротко, безропотно и слепо мне повиновалась. Получив однажды на именины деньги, я купил синего коленкора, золотые пуговицы, все это, как сейчас помню, на значительные деньги – 70 копеек, и дома девушки сшили для Марины военный мундир. Ружье и каска у меня были, так что у нее было полное обмундирование. В таком виде я командовал ею, заставлял маршировать и выделывать различные ружейные приемы, которые мы видели на учении солдат. У Марины долго хранилось свидетельство, выданное ей мною, как рядовому Тишкину. Я замыслил сшить Марине фрак, но это мне не позволили, и даже мундир ее, к моему негодованию, подарили маленькому Дмитрию Капнисту, приезжавшему вместе со своими родителями и братом Алейшей погостить к нам. Кротость Марины была безмерна. Однажды во время игры колечко ее кудрей запуталось у меня вокруг пуговицы. Я дернулся и вырвал у нее клочок волос. Мама на меня накричала, а Марина только сказала: «Мама, ведь это мои волосы», как будто значит ничего не случилось. По вечерам мы играли и бегали с ней вокруг стола в столовой. Помню, как раз я треснулся на полу, упав прямо на подбородок, причем, имея большую голову, я всегда держал руки назад, за спиной, для равновесия. У меня даже отлетел кусочек подбородка, вышло много крови, но я не пикнул, потому что рядом в гостиной сидела мама.

У нас была какая-то бессмысленная игра, которая составилась, наверно, из отдельных услышанных слов, которые мы связали. Один из нас становился в самом краю столовой. Другой подходил на некоторое определенное к нему расстояние, и начинался такой диалог: «Тишкин!» – «Кто там?» – «Я здесь». – «Зачем?» – «Я пришел ниточку из вас випорол, штанишки себе зашить» – это мы говорили почему-то подражая какому-то воображаемому немцу. После этого тот, кто подходил, начинал удирать, а Тишкин его преследовать до его дома на другом конце комнаты.

Но самые любимые наши игры были общесемейные, особенно в коршуны. Один из старших братьев был коршун, другой матка, за которой цеплялись все остальные – цыплята. Коршун бросался из стороны в сторону, чтобы урвать цыпленка, которого защищала матка. Визга, беготни и волнения было много. Другая наша игра происходила за столом, во время завтрака или обеда, когда удавалось получить разрешение мама. Это была игра в железную дорогу. Подражали всем звукам до отхода поезда. Звонки по стаканам, свистки обер-кондуктора, паровоза, и поезд приходил в движение сначала тихо, выпуская пары, потом все скорее и скорее, и с большим шумом. Весь стол дрожал, а мы все работали и руками и ногами, а брат Женя подражал и свисткам, и пару, и лязгу колес. В это мы играли долго, когда братья уже были взрослые.

Когда после зимнего пребывания в Москве братья и сестры возвращались на лето домой, мы любили по воскресеньям утром всей семьей идти к обедне, а потом мы шли в ряды, где у знакомых теток покупали яблоки, груши, крыжовник и всей семьей (одни дети) возвращались гуськом, шествуя посреди мостовой. Я снимал шляпу перед всеми свиньями и гораздо менее учтив был с знакомыми, попадавшимися навстречу.

Самой приятное порой жизни было, конечно, лето, когда было меньше уроков, больше свободы и простора, и вся семья бывала в сборе. Переезд бывал обыкновенно в мае месяце, когда тепло. Это было всегда событие, приятное и радостное. С раннего утра появлялись арестанты, которые нанимались, чтобы перенести все вещи. От дома Кологривовых до загородного дома было недалеко, и обыкновенно большая часть вещей переносилась на руках, а часть перевозилась на лошадях. Арестанты были самые мирные добродушные люди, к ним не

чувствовалось ни малейшего недоверия, и они сами, видимо, охотно исполняли эту не тяжелую работу, вносящую разнообразие в их существование и дававшее им заработок. От самого раннего моего детства в Калуге у меня осталось смутное и тяжелое воспоминание о позорной колеснице, на которой возили по городу преступников с названием их вины, которое вешали им на грудь. Это зрелище, внушавшее нам ужас, по счастью было отменено. Это позорище так не отвечало жалости и доброте, с которой у нас всегда в России относились к осужденным, на которых смотрели, как на несчастных. Весь день перетаскивали и переставляли вещи, и в этот день не имели времени особенно присматривать за нами, что тоже было приятно. Как всегда было интересно переезжать на новое место, и в нем находить все, что было забыто с прошлого года.

От дома Кологривовых надо было пройти небольшую улицу, потом тянулся довольно большой или казавшийся таким публичным Загородный сад, открытый публике, и в котором устраивались гуляния. К этому общественному саду примыкал отделенный от него низким деревянным забором наш приватный сад, в котором расположена была казенная дача – Загородный дом, в котором мы жили. Из общественного сада, конечно, можно было наблюдать за тем, что у нас происходит, но это нам как-то не мешало. В будни публики почти не было, и вообще все было патриархально, и об этом просто не думали.

Загородный дом еще как-то ближе и роднее сердцу, чем дом Кологривовых, может быть потому, что лето вообще считалось временем отдыха и удовольствия, а суровая зима и переезд на зимнюю квартиру заставлял подтягиваться и напоминал об обязанностях.

Это была очень старая, покосившаяся и типичная деревянная дача. В ней жил когда-то губернатор Смирнов со своей известной женой, рожденной Росетти, воспетой Пушкиным. Во флигеле дачи гостил у них Гоголь и даже по преданию писал там «Мертвые души». В этом флигеле жили старшие братья. Въезд в дачу шел мимо этого флигеля, сзади которого была прачечная и службы. Между флигелем и главным домом был огромный разросшийся куст сирени, занимавший целую лужайку. Несколько ступенек на подъезде, и вы выходили в круглый стеклянный тамбур, где была передняя. Из нее вход в залу – столовую. Направо из передней первая дверь направо была в просторную комнату – спальню моего отца, вторая дверь, также направо, вела в гостиную, служившую одновременно кабинетом. Посредине стеклянная дверь открывалась на террасу и часть сада, скрытую от глаз публики. Тут была площадка для тенниса, а в левой более отдаленной части сада – огород. Из гостиной прямо была дверь в спальню мама, где за серой перегородкой помещалась ее постель и умывальник, а у окон были наши детские парты и тут же была кушетка и кресла и письменный стол мама. К комнате ее примыкала небольшая комнатка ее горничной Анны Сергеевны и Елизаветы Петровны. Из столовой были еще две двери – одна на крытый стеклянный балкон на столбах с двумя боковыми лестницами в сад, обращенный в сторону общественного сада, другая дверь была в довольно темную комнату старших сестер с окнами на крытый балкон, почему и было темновато. Затем, две комнаты рядом: первая – гувернантки, вторая – экономки Александры Ивановны – обе комнаты проходные. Из второй комнаты дверь в стеклянный фонарь, куда выходила такая дверь с другой стороны дома из комнаты Анны Сергеевны. Из фонаря – лестница вниз и лестница вверх в нашу детскую половину. Это было такое же наше отдельное верхнее царство, как в зимнем доме было нижнее.

Верхний этаж – мезонин состоял из четырех комнат. Направо жила Надя расторопная, прямо две детские: первая с окнами на большой Загородный сад, где спали няня и я с Мариной, рядом комната Вари и Лины с окнами на другую сторону сада и в отдалении на бор и рядом еще комната гувернантки с дверью, выходившей на лестницу. Из комнаты Вари и Лины небольшой верхний балкон. Наконец, из нашей комнаты дверь на верхнюю лесенку и чердак. Дом был такой старый, что однажды сестра Тоня, спасаясь от погони Жени, взлетела на этот чердак и там провалилась прямо над комнатой мама, которая внезапно увидела над собой провалившиеся

сквозь потолок две ноги Тони, которая отчаянно барахталась и не знала как выкарабкаться из своего неприятного положения. В нашей детской был такой покатый пол, что я обыкновенно приставлял к стене деревянную лошадку на колесиках и окатывался на ней к окнам. Как мы любили эту комнатку и сколько было с ней воспоминаний и впечатлений! Я уже говорил про музыку по вечерам, которую мы слушали из своих кроваток. Сама кроватка казалась порою целым миром. Она была с высокой решеткой и шнуровыми стенками. Как мы любили накрыть верх одеялом, так, чтобы казалось, что это домик под крышей, и нам представлялось, что мы укрыты от всего мира. Когда няня выйдет или отвернется, мы босыми ногами перебежали от одной кроватки в другую, в гости друг к другу и сидели, или лежали, не шевельнувшись, чтобы нас не обнаружили.

По воскресеньям в большом саду часто бывали гулянья. Сад был иллюминирован разноцветными фонарями. Днем на средней площадке разыгрывалась лотерея-аллегри. Мы всегда мечтали выиграть корову или самовар и любили брать тоненькие билетки, свернутые в трубочку с крошечным колечком, которое нам очень нравилось. Раз я выиграл сахарную голову и был очень доволен.

В саду гремела полковая музыка, а вечером, когда нас уже укладывали спать, зажигался фейерверк на этой же средней площадке, от которой прямая аллея была прямо перед нашими окнами. Мы, конечно, не спали, и, затаив дыхание, старались не пропустить начало.

Тут уже, невзирая ни на какие запрещения, мы босыми ногами в одних рубашонках бежали к окнам смотреть на фейерверк. Римские свечи, ракеты, солнца, водопад все это приводило нас в восторг. О фейерверке заранее оповещалось в больших афишах и всегда обещались новые сюрпризы, которые выдумывал пиротехник Перов, мною уже упомянутый в связи с Жениным сном. Нам, детям, он казался волшебником, и мы верили в его неисчерпаемую изобретательность. Когда начинали разрываться бураки, шел треск и оркестр начинал играть марш «Бок[к]ач[ч]о», мы знали, что наступает конец, и спешили бегом в свои кроватки, чтобы нас не застигла Няня, которая нарочно, вероятно, уходила куда-нибудь, чтобы мы могли без нее насладиться недозволенным удовольствием. Когда мы стали постарше, нам позволяли дожидаться фейерверка, а иногда и водили на площадку, где он пускался.

Наш сад рядом с домом был полон всяких закоулков, которые имели большое значение. Против стеклянного фонаря так же, как и против тамбура, был огромный куст сирени, или, вернее сказать, целый круг кустов с пустотой посередине. Этим воспользовалась сестра Ольга, которая создала себе там укромную беседку. Она вырыла яму, устроила земляное сидение, обложила это все досками, на сидение и спинку приделала подушки. Вышло очень уютно. Это был ее кабинет, где она проводила весь день. Туда не доходили ни солнце, ни дождь, и снаружи нельзя было заметить укромный уголок. Все завидовали ее изобретательности, и когда Ольги не было, любили пользоваться ее ямой. Можно было, конечно, такую же яму соорудить против подъезда, но ни у кого не хватало терпения и настойчивости, чтобы все так хорошо устроить.

Я уже говорил, что Загородный дом, как показывает самое его название, находился на краю города. Наш сад отделялся плетнем от лужайки над обрывом, откуда открывался чудесный вид на извилистую Яченку, впадавшую в Оку, за ней луг и старый сосновый бор, который был местом наших постоянных прогулок. Мы там собирали грибы, особенно маслята, произраставшие в огромном количестве. В сентябре мы ходили с большими корзинами по орехи. Мы очень любили пикники в лесную сторожку. Раз в лето мы отправлялись на богомолье в Тихонову пустынь в 17 верстах от Калуги. Подавалась большая линейка, в которой умещались мы все дети, родители ехали в коляске. Волнений и суматохи перед отъездом для нас детей было много и начинались они еще накануне в ожидании того, какая будет погода. Я по многу раз бегал на конюшню, которая была в отдельном дворе, подле усадьбы, смотреть, как закладывают и когда подадут экипажи.

Ехали по песчаному большаку, дорога шла все время бором. Пока могли, мы шли пешком. В Тихонову пустынь попадали обыкновенно к вечерне. Тотчас для нас ловили рыбу в пруду и готовили уху. Старшие купались в колодце, освященном Св. Тихоном, там была очень холодная вода. В общем, у меня осталось поэтическое впечатление от монастыря, службы, пруда с карасями и длинного пути. Мы возвращались домой в темноту, весело, шумно с песнями, но нас одолевала приятная усталость, и никогда мы не спали таким богатырским сном, как после таких поездок.

Наши друзья

У нашего младшего пятка были свои друзья. Главнее из них были Сытины. Семья Сытиных жила в небольшом домике, как раз против Загородного дома. Владимир Аполлонович с рыжими седеющими баками был губернский нотариус, жена его Ольга Ивановна была из многочисленной старой калужской семьи Кологривовых. У них было много детей. Старшие сыновья Коля и Володя были гимназисты, по «несправедливости учителей» туго продвигавшиеся в науках, но Коля имел для нас большой авторитет. Мы его считали изобретателем. Володя не имел никаких талантов. Из него вышел типичный провинциальный интеллигент третьееlementщик^[68]; впоследствии я встретился с ним в Москве, когда он был студент с большой бородой, он говорил об «узком горизонте наших правителей». Третья Анюта, немножко косившая, была большим другом Вари и Лины, она училась в местной женской гимназии. Четвертый мальчик Аполя был мой сверстник с короткой ногой, он ходил на костылях. Были еще два маленьких Шура и Леня, и кажется еще совсем маленькая девочка. Одно время Владимир Аполлонович предложил мне давать начальные уроки латинского языка. Я приходил к Сытиным и брал уроки совместно с Анютой и Аполем. Семья была многочисленная, средства весьма скромные. За маленькими не всегда было кому присмотреть, и я помню, как младший Леня в огромных штанах, в которых путался, ходил по комнате, привязанный веревкой ко столу, чтобы далеко не мог уйти.

Уроки эти были сплошной шалостью. Я пользовался тем, что дома меня никто не контролировал, никогда ничего не готовил, а во время уроков мы обменивались гримасами и корчили всякие рожи за спиной почтенного Владимира Аполлоновича. У Сытиных была гувернантка, так же швейцарка, как и наша. Поэтому мы часто гуляли вместе. Самым большим нашим зимним развлечением была большая ледяная гора, которая ставилась в Загородном саду. Раскат был во всю длину сада. У каждого из нас были свои излюбленные салазки. Это было очень веселое и здоровое развлечение, которому мы с упоением предавались, особенно на Рождество.

Рождество была, вообще, заветная пора елок и детских балов; месяца за два мы считали до него дни и готовились к елке, клеили цепи, картонами и всякие украшения. Нам давали на устройство елки 10 рублей, потом увеличили кредит до 25 рублей, и чего только не купали мы на эти деньги, и как мы веселились. Мне казалось, что никогда последующие поколения, избалованные подарками и удовольствиями, не умели так ценить, как мы, все, что выходило за рамки строго размеренной будничной жизни. И в нашем веселии принимали от души участие старшие, что усугубляло его. Все поколения Сытиных, Кологривовых, Унковских были тесно сплочены между собою и умели вместе радоваться и веселиться. Рядом с Сытиными жили их родственники Яков Семенович и Софья Ивановна Унковские, бездетные старики, которые также устраивали елку для многочисленных племянников и их друзей. Обыкновенно за фортепиано садился маленький горбун Дмитрий Семенович Унковский и играл вальсы и польки, подпрыгивая на стуле. Со стариками Унковскими жила мать Софьи Ивановны Анна Петровна Кологривова, родоначальница всего многочисленного потомства Кологривовых и Сытиных. Один из сыновей Анны Петровны Александр Иванович купил чудный старинный дом, известный под его именем в иллюстрациях. Уже после большевистского переворота, я, проезжая через Калугу от Осоргиных, пошел к Кологривовым. Дверь открыла мне хозяйка Екатерина Ивановна, которая в последний раз видела меня свыше 30 лет перед тем, когда мы уезжали из Калуги, и мне было 13 лет. Она тотчас узнала меня.

Летом Сытины уезжали к себе на дачу на берегу Оки. Для нас было особое наслаждение ездить к ним в гости с ночевкой на один или два дня. Для нас это была деревня. У Аполи был ослик и тележка, в которой мы катались. Кроме того, Ока и купанье в ней доставляли много удовольствия. Дача Сытиных была совсем почти против Калуги, немножко дальше в

бору было небольшое имение Унковских Анненково, более похожее на деревню. Когда мы приехали в Калугу, мы застали еще старика Семена Ивановича⁹⁷ Унковского, умершего в около 100-летнем возрасте. Его очень любила и уважала моя мать. С ним жили незамужние дочери. Помню одну из них Авдотью Семеновну, которая делала абажуры с букетами засушенных цветов между бумагой, что казалось нам верхом искусства и красоты. Они всегда баловали нас, когда мы появлялись.

Были у нас и другие приятели: Станкевичи, Труневы, Шевичи и Шиллинги. Изо всех этих детских дружб самой прочной оказалась дружба с Морисом Шиллингом. Когда мы с ним познакомились, отец его барон Фабиан Густавович Шиллинг был уже вдовец (его жена была рожденная графиня Нирод). Он был назначен воинским начальником в Калугу. У него было двое детей: Морис и Рита, и при них состояла гувернантка m-lle Bienaimé. Мы считали их благонаправленными немчиками. От первого посещения его мне запомнилось, как он [Морис] с пафосом рассказывал про какой-то подарок: *un poulet tout plein de friandises différentes*⁹⁸. Его отца прозвали барон Имшто, потому что, затрудняясь говорить по-русски, он прибавлял к каждому слову: имшто я нахожу, имшто и т. д. По-французски он был не более красноречив и говорил *que c'est que ça*⁹⁹, и повторял это иногда без конца. По существу, это был один из типичных представителей рыцарского балтийского дворянства, честный и кристально благородный человек, беззаветно преданный России. Таким же по наследству стал впоследствии его сын Морис. Жизнь постоянно сводила меня с ним. Наши дороги встречались. Шиллинги так же, как и мы, переехали в Москву, где Морис кончил гимназию и потом университет. Затем они переехали в Петербург, где он поступил в Министерство иностранных дел, потом служил за границей и долго в Риме, в миссии при Папе. Здесь он тесно сблизился с С. Д. Сазоновым. Последний назначил его директором своей канцелярии, как только был назначен министром иностранных дел⁶⁹. Я в это время был в отставке, писал в «Московском еженедельнике» и не помышлял вернуться на службу, но Шиллинг решил непременно вновь меня завлечь в дипломатическую карьеру, и я уверен, что это по его совету и настояниям, я получил от Сазонова предложение занять место начальника отдела Ближнего Востока⁷⁰ Министерства иностранных дел. Это предложение, мною принятое, было поворотным этапом моей жизни, которым я считаю себя обязанным в значительной степени Шиллингу. Но я сильно забегаю вперед от воспоминаний детства. В эту пору детства нельзя было еще предвидеть, что самой прочной на всю жизнь будет дружба с Морисом Шиллингом. Тогда это было только знакомство. Настоящая дружба была с Сытиными. С ними связывало соседство, общие интересы, удовольствия и переживания.

В нашей правильной, как часовой маятник, жизни большое место занимали совместные прогулки, а также церковные службы по субботам, воскресеньям и особенно Великим постом, на Страстной неделе, когда мы говели.

Мы все встречались в Георгиевской церкви. Она была двухэтажная: нижний зимний и верхний летний храм. Постом служба шла в нижнем храме. Помню его во всех подробностях. Низкий, сводчатый он был в форме креста. Мы стояли впереди налево у медной решетки, отделявшей солею, подле клироса, на котором стоял согбенный старый дьячок с большой седой бородой и волнистыми седыми кудрями в больших черепаших очках, в длинной рясе – фигура летописца Пимена. Голос у него был такой же волнистый, как и длинные кудри, и все это гармонировало с синими волнами кадильного дыма, особенно когда он пел за преждеосвященной литургией: «Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою». Мы особенно любили, как он это пел дьячковским распевом. Его исполнение казалось нам верхом совершенства, осо-

⁹⁷ Автор ошибается: Семена Яковлевича Унковского (1788-1882).

⁹⁸ Цыпленок, полный разных лакомств (франц.).

⁹⁹ Вот так и так (франц.).

бенно когда выходили петь трио: он, сын батюшки Извеков^[71], ученик Консерватории и Коля Сытин.

Испокон века у каждого в церкви было свое место, которое считалось его неотъемлемой собственностью. Сзади нас у стены стояла старушка Анна Петровна Кологривова, окруженная своим нисходящим потомством, на правой стороне стояло семейство Станкевичей, отец был церковный староста, а его благочестивая патриархальная семья была чем-то вроде калужских Самариных со старозаветным крепким укладом. Священник о. Извеков с красивым строгим лицом внушал нам детям некоторый страх. Страстную неделю мы, в сущности, жили в церкви. Длинные службы происходили три раза в день. Каждая служба казалась такой насыщенной, и последовательность их передавалась как одна цельная религиозная драма. Конечно, мы дети не могли выдерживать от начала и до конца одно религиозное настроение, как бы глубоко оно не захватывало нас. Усталость и детство брали свое. Мы устраивали свой уют около решетки, постилали на пол свои теплые шубы, подбитые овчиной, и, иногда, опускаясь на эти шубы, расшаливались и тряслись от беспричинного и безумного смеха. Особенно выходя на улицу шумной гурьбой после продолжительной всенощной, иногда со свечами в руках, мы шумели, гоготали, и нас иногда останавливал окрик Владимира Аполлоновича Сытина почему-то на сомнительном французском языке: «*Entants, rappelez-vous d'où ce que vous venez*»¹⁰⁰. Но эта неизбежная реакция происходила как-то сама собой, помимо нашей воли, неумышленно. Никогда во всю последующую жизнь говенье не переживалось нами так глубоко и захватывающе. Чтение паремий на часах, особенно повести об Иове с продолжением на следующий день, «да исправится молитва моя», «Господи и Владыко живота моего» – каждый из этих моментов так и врзался в душу. А когда между паремиями раздавался возглас священника: «Повелите – Свет Христов просвещает всех», и все мы повергались ниц, не смея поднять голов, то у нас детей было в эту минуту несомненное убеждение, что вместе со священником и в дыме кадильном, сам Христос прошел через Царские врата. Трепет и страх Божий как перед видением Божественным наполнял душу. В кадильном дыме как будто виделась реально молитва, восходящая к небу. Вечером пели певчие. Как мы ждали «Чертог твой», «Се жених». И тоже никогда впоследствии не воспринималась так реально, так по-настоящему картина брачного Чертога и трепетное сознание своей позорной одежды греха. В таком настроении жили мы три дня до исповеди и причастия. Никогда впоследствии, когда рассудком сознавал все свое убожество и недостойнство, я не переживал такое глубокое потрясение всей души от сознания своей греховности, раскаяние, жажду исправления, как в эти годы перехода от младенчества к отрочеству, и, конечно, эти детские впечатления остались животворящим источником на всю остальную жизнь, и если терния и волчцы не окончательно не заглушили доброго семени, то этой детской молитве и тем, кто внушил мне ее, я этим всецело обязан. Мама, как ангел хранитель, стояла над нашими душами. Для нее не было пустяков. Она искренно проникалась нашим настроением, ибо сама создавала его, сама обладала детской чистотой души, усиленной пламенем веры и молитв. И как ужасны и скверны казались нам наши грехи, как проникались мы притчей о талантах и сознанием, которое внедряла в нас мама, что «кому много дано, от того много и взыщется». А мы так были убеждены, что никому не могло быть дано столько, сколько нам, потому что ни у кого не могло быть такой матери, как у нас, что мы с полным убеждением повторяли перед причастием слова священника: «Еще верую, яко Ты пришел спасти грешных, из них же первый есмь аз».

Были и смешные вещи. Перебирая все свои грехи перед первой исповедью, я находил самым постыдным грех против 7-й заповеди: прелюбодеяние. Я был убежден, что это грех против любви, и что я в нем виновен перед своей няней, которую постоянно сержу, в то время как она нас так любит. Помню изумление нашего духовника, законоучителя гимназии о[тца]

¹⁰⁰ Дети, помните, откуда вы вышли (франц.).

Александра Ростиславова, когда я, сильно заминаясь и не решительно, стал каяться [в грехе] против 7-й заповеди: «Как это... С кем это, дитя мое...» – «С няней», – прошептал я. «Объясните», – сказал батюшка. – Я объяснил, а батюшка, сохраняя, вероятно, с трудом серьезность, пристыдил меня. Когда потом после исповеди я опускался на колени и я чувствовал, что меня всего покрывает епитрахиль, в то время как священник отпускает грехи, какое чувство облегчения и блаженной легкости я испытывая в темном кабинете моего отца, куда по очереди нас вызывали для исповеди. Как приятно было вечером выпить чаю с горячими бубликами, и как я бросался в постель, чтобы поскорее заснуть и поменьше успеть нагрешить до причастия. Потом уже после говения, вторая часть Страстной недели переживалась легче, а суббота вся проходила в краске яиц и ожидании Светлого праздника. В моих калужских воспоминаниях всего больше запомнилось говение, а Пасха в Москве, в Кремле вытеснила впечатление этого праздника в Калуге.

Кажется, не о чем рассказывать о нашем детстве, и, может быть, все это для меня интересно. Жизнь шла изо дня в день с однообразной правильностью, но для нас она была вся соткана из интересов и событий, представлявших огромное значение. Я сохранил от этого времени убеждение, что нет ничего более здорового и нормального для воспитания детей, как такой правильный, даже немного суровый, образ жизни в провинции, вдали от суеты и развлечений большого города. Зато всякое отступление от обычного темпа жизни вырастало в большое событие, и навсегда врезывалось в память.

Таким событием была поездка в Москву летом 1882 года. Мама взяла с собой Варю и меня, чтобы посоветоваться с докторами, – у нее были какие-то гланды, у меня болели глаза. Мы были очень рады нашим болезням. Бедная Линочка была здорова, и ее оставили. Это было первое передвижение наше по железной дороге после приезда в Калугу, которого я не помню. Все для нас было ново и интересно. В этом году была к тому же Всероссийская выставка в Москве^[72]. У нас глаза ото всего разбежались. Помню большого белого медведя из булавки, большой бюст императора Александра II из шоколада, фонтаны в саду выставки. Московские улицы также поражали нас, особенно белые электрические фонари близ Храма Спасителя – это был первый опыт электрического освещения инженера Яблочкина. Потом нас повезли в Узкое, имение граф[ини Софьи Васильевны] Толстой, впоследствии перешедшее моему брату Петру^[73]. В этот год праздновали день его рождения – ему минуло 25 лет. Было много народу.

В числе гостей был Тертый Ив[анович] Филиппов с женой и сыном, когда-то бывший у Толстых домашним учителем, а потом дослужившийся до государственного контролера. Его сын был на 2 года меня старше и сильнее и пользовался этим, чтобы куражиться. Я его возненавидел и помню, как мне трудно было оберегать мое достоинство от его задираний. Варя мне всячески помогала и разделяла мои чувства.

Когда мы вернулись в Калугу, мы спохватились, что не привезли Линочке никакого «сувенира» из Москвы. Мы ее не застали дома, ее в виде утешения отправили гостить к Сытинным на дачу. Мы пошли с Варей покупать ей сувенир, и купили рассказ, который потом читали с увлечением. Он назывался – «Лэди Анна». Это был рассказ о дочери какого-то лорда, похищенной и потом, после многих приключений, найденной своим отцом. Когда мы подарили книжку Линочке, я помню, что не видя достаточного восторга с ее стороны, показал ей как будто нечаянно пальцем надпись – цена 1 рубль на книжке.

В следующий раз мы попали в Москву через 2 года на свадьбу сестры Тони, выходявшей замуж за Ф. Д. Самарина. Это было первое большое семейное событие. Из нашей большой дружной семьи выбывал на сторону первый птенец.

В юности Тоня была большая шалуния и большая дразнилка. Она изводила в особенности Ольгу, у которой в числе разных прозвищ было: «Крыу-Рыу». Тоня была малокровна, куталась в оренбургский платок. Проходя мимо Ольги, она неудержимо хватала ее холодными пальцами за подбородок и говорила ей: «Маленькая». Ольга приходила в раж, они сцеплялись,

и Ольга, хотя и младшая, сильно поколачивала Тоню. Тоня была очень насмешлива, и когда она что-нибудь подмечала, у нее начинал дрожать подбородок от сдерживаемого смеха. На нее нападали приступы шалости. Она любила изводить гувернанток, и раз как-то во время общей чинной и скучной прогулки внезапно вскочила в проезжавшего извозчика, крикнула нам всем, чтобы мы сделали то же, и гувернантка не успела опомниться, как извозчик, сразу вошедший во вкус этой шалости, хлестнул лошадь и поскакал. Сзади нас преследовали раскаты негодования, но на первом же повороте – дело было ранней весной и все улицы были в рытвинах, – пролетка опрокинулась, и мы все упали в лужу. И ей, и нам сильно попало за это.

Эта свадьба была событием не только в нашей семье, но, пожалуй, еще больше в патриархальной семье Самариных. Женился старший сын. Дмитрий Федорович хотел даже устроить венчание в Храме Спасителя, но, кажется, это оказалось невозможным, потому что Храм Спасителя не был приходским храмом и венчаний там не совершалось.

Свадьба была в приходе Самариных – церкви Св. Бориса и Глеба на Поварской^[74]. Интересно, что дьяконом был в ней тогда ушедший вскоре потом в монахи в Зосимову пустынь и ставший впоследствии известным старец Алексей, который принял затвор, но в 1917 году был избран членом Московского Всероссийского Собора и во исполнение послушания вышел из затвора. Ему было поручено вынуть жребий из ковчега, где лежали три записки с именами кандидатов на патриарха.

Свадьба была кажется в июне. Одним из шаферов был только что кончивший гимназию С. В. Самарин, а другим А. Д. [Самарин], который был еще гимназистом. Они были очень милы с нами, детьми.

После свадьбы молодые поехали за границу. Каким событием было каждое письмо Тони, в котором она, ничего раньше не видевшая, описывала свои впечатления из-за границы, которая казалась нам какой-то особой планетой. Эти письма по многу раз читались, потом сестры размножали их на гектографе и рассылали их тетюшкам. Как ждали у нас возвращения Тони. Она появилась совсем новая для нас. Ей особое удовольствие составляло обновить чепчики, которые тогда носили молодые дамы, как какое-то звание, отличавшее их от девиц. Ей приятно было показаться в этом взрослом положении в гостях, у себя в родном доме, где уж она не слышала замечаний, а ей только радовались. Какое удовольствие ей было всех одарить. Она каждому купила за границей подарок с трогательной заботливостью, и нам эти подарки казались великолепиями, особенно я помню разрезные ножи из слоновой кости.

В это же лето мы в первый раз попали в Молоденки. После этого мы неоднократно там бывали. С Молоденками связана целая полоса самых счастливых детских воспоминаний.

Дома было хорошо, но дома вся жизнь была построена на дисциплине и обязанностях, в которые мы от себя вносили конечно целый мир шалостей, но все это было не позволено и за это надо было отвечать.

В Молоденках нас встречало такое море доброты и баловства со стороны дяди Пети и тети Лины, что мы вступали в какое-то волшебное царство. Каждая наша шалость и глупость встречались таким добродушным клокотанием тети Лины и смехом дяди Пети, что мы чувствовали себя какими-то героями.

В это лето у них жили Евреиновы – родные племянники тети Лины. Мы о них раньше слышали как о примерных детях; и потому относились с некоторым предубеждением к ним. За год до того мама, по совету докторов, уехала, чтобы отдохнуть от переутомления, в Молоденки, где провела почти все лето. Вернувшись, она нам рассказывала, какие примерные и воспитанные дети Евреиновы, и как нам далеко до них. Нам часто ставили в пример других детей, и мы искренно считали, что нет детей более распушенных и хуже воспитанных, чем мы. Иногда мама с грустью говорила нам, как Бог наказывает родителей, когда дети плохи, и рассказывала нам, какая судьба постигла Пророка Самуила за детей, которых он не сумел воспитать, и как он упал со стула, сломав себе спину. Мы серьезно беспокоились за мама, как бы ее не постигла

такая же участь, и иногда со страхом смотрели, когда она садилась на кресло. Но детей примерных все-таки не любили, и с большой критикой отнеслись к Евреиновым.

Познакомившись с ними, мы увидели, что они ничего себе, но мы сразу остро возненавидели их гувернантку, рыжую мисс Робертс, решив, что в ней корень зла. Особенное негодование наше она возбуждала тем, что позволяла себе даже давать пощечины детям. Мы поспешили поделиться нашими впечатлениями с Евреиновыми и старались восстановить их против мисс Робертс. Их, действительно, держали очень строго, особенно их мать, которой в это время не было еще в Молоденках. И вот мы подбили их на шалость, в сущности, довольно невинную, но которая даже неожиданно для нас была воспринята чуть ли не как преступление. Мы условились тайком на заре пойти в лес – «Красную Рощу». Мы привели в исполнение наш замысел. Утром нас хватились, и тут произошел колоссальный переполох. За нами послали искать верховых. Нашли нас, конечно, очень скоро, но тетя Лина, чувствовавшая себя ответственной за всех детей, оставленных на ее попечение, переполошилась не на шутку, и нам здорово досталось. Это был единственный раз, что я видел рассерженным дядю Петю, который беспокоился за волнение тети Лины, и он на нас накричал. А дети Евреиновы были в полной панике. Мало того, что их наказали и на них свирепо накинулась мисс Роберте, но они со дня на день ожидали приезда своей матери и новой грозы. Когда она приехала, то мы почувствовали, что она нас невзлюбила и не поощряет новой дружбы своих детей. Я очень сдружился с Володей Евреиновым, и, расставаясь, мы условились переписываться и сообщать взаимно о всех шалостях случившихся и предполагаемых. Мое чуть ли не первое письмо было перехвачено и Володе было приказано прервать со мною всякие письменные сношения.

В Молоденках все было не так, как у нас дома, и казалось необыкновенно. Утром мы пили молоко в глиняных кружках, а кувшин с молоком был с птичкой на ручке. К молоку подавали соленые теплые крендели и к ним масло – баловство, к которому мы не привыкли дома.

На речке была лодка, на которой мы сами могли грести. В Молоденках мы научились теннису, который на долгие годы и в молодости был нашим любимым развлечением. И во все игры дядя Петя умел вносить особенное оживление. Когда мы играли в теннис, он кричал: «Линочка, вся Европа смотрит на тебя». А в день моего рождения он устроил какое-то особое состязание и кричал: «в одиннадцать лет – первый промах!» Потом следовали второй, третий, и так далее промахи. Он умел расшевелить нас и привести в полный азарт, а сам добродушно покатывался смехом.

А поездки в Молоденках! Как это бывало весело! – Мы ездили к соседям, где всюду были наши сверстники, иногда, если это было далеко, то с ночевками, что было особенно весело. Мы ездили к Раевским, Философовым, Бежчевым. Эти дети приезжали, в свою очередь, к нам в Молоденки. Устраивались хоры, игры, бегодня и танцы. Это было шумное детское и юношеское царство, и казалось, что все и все существуют для нас. А когда мы приезжали осенью, то мы любили поездки в поле – охотиться на хорьков. С нами выезжала большая бочка с водой. В полях было много хорьковых подземных ходов. Обыкновенно выслеживали два выхода. В один лили воду из бочки, из другого выскакивали рыжие хорьки, на которых набрасывали мешок, и возвращались домой, когда вода вся уже вышла и в большой плетеной корзине с крышкой было несколько хорьков.

В этот же год осенью меня повезли в Москву на свадьбу Пети брата, у которого я был «мальчиком с образом». Мне купили какой-то морской костюм с серебряными пуговицами и галунами, который я возненавидел, потому что его надо было носить с голыми коленями и я считал это в высшей степени унижительным для себя. Я помню, что этот костюм я прозвал из-за галунов «суета сует». Все эти переживания вполне понимались и разделялись младшим пятком. Я рос среди сестер, которые всегда держали мою сторону, и это нередко возмущало моих старших братьев, которые считали, что я балуюсь, а я умел, действительно, укрываться, когда угрожала опасность, под защиту сестер.

Нас было 9 человек детей. Вместе с родителями и двумя педагогами (одно время у меня был учитель летом) нас садилось за стол 13 человек. Все комнаты были густо заселены. Тем не менее всегда находилось место для приезжавших летом к нашим старшим братьям и сестрам – их друзьям, и дом наполнялся оживлением и весельем. Приезжали братья Лопухины Алеша и Митя, Маня Хитрово со своею матерью Марьей Ив[ановной], рожденной Ершовой, сверстницей и приятельницей моей матери, и братом Сергеем. Приезжал товарищ братьев по университету Николай Андреевич Кислинский и много старше их, но всегда любивший и любимый в молодом обществе Сол[л]огуб.

В Москве у Капнистов ставили шарады, сочинявшиеся Сол [л]огубом и моим братом Сергеем. Иногда это бывали целые представления в стихах и музыкой, которую сочинял Кислинский, который был очень музыкален и остроумен в музыке. Те же удовольствия переносились к нам летом, причем рассчитывали и на нас детей при постановке представлений.

В первый раз, когда приехал Кислинский, мой брат сочинил пьесу для детей. Она называлась: «Симеон-злочестивец». Кислинский был маленького роста, он играл самого Симеона. Мы с Линочкой играли роли добродетельных детей – Ростислава и Леониллы.

Симеон пел на мотив Марсельезы:

Не хочу повиноваться
Не хочу, не хочу рачить
Книги выброшу в окошко
Буду Няню обижать.

В это время мы, добродетельные дети, плясали перед Симеоном, и, тыкая перед ним пальцем, пели:

Ростислав: Я пожалуюсь папаше
Леонилла: Я мамашеньке скажу
Вместе: Тотчас отношения наши
С вами разорву.

Во время пьесы происходил урок. Я отвечал учителю басню: «Юный Дуб», которую мой брат написал на меня же, потому что я всегда любил обо всем спорить и упорно отстаивать какую-нибудь глупость:

Юный Дуб

Однажды юный дуб,
Под сенью старого стоявший
И географии не знавший,
Сказал отцу:
«Зачем отец, ты сению своей
От перпендикулярных солнечных лучей
Меня в час полдня ограждаешь...
«Ты мне светило застилаешь!»
Но старый дуб с усмешкой отвечал:
«Мой сын, доселе не видал
Лучей я перпендикулярных
В странах полярных.

Коль местом здесь ты недоволен,
Отсель идти ты волен!»
– И юный дуб остался... в дураках.

Пьеса кончалась посрамлением Симеона-злочестивца и гимном добродетели, который пелся на мотив «Менуэта» Моцарта:

Добродетель ты прекрасна
Как сияние дня,
Я к тебе стремлюся страстно
И люблю тебя.
Будем жить для добродетели,
Будемте прилежны,
Чтоб родные то заметили
И к нам были нежны.

Представление удалось. Пьеса была сочинена и сретирована в три дня. Тогда решили на следующий год поставить что-нибудь более грандиозное. И в результате поставили оперетку: «Последнее слово Науки, или Альфонсо XXV-ое». Это представление и все лето так живо описаны моей сестрой Ольгой, что я не буду все это вспоминать. Старый загородный дом наполнился веселым молодым оживлением. На балконе кроили костюмы, мастерили декорации. Все со своими ролями зубрили их, потом дважды в день считки и репетиции. Шум, гам и романы. И мы дети веселимся во всю вместе со взрослыми на товарищеских началах. Словом, страшно весело. Мой брат и Кислинский в перегонки сочиняли текст и музыку. Характер действующих лиц прилаживался к тем, кто намечался в качестве исполнителей. Например, роль Жепансе предназначалась одному офицеру Киевского полка, глупому и серьезному, Амалию играла обворожительная в то время Варетт Жилинская, у которой было прекрасное колоратурное сопрано. Кислинский писал соответствующие арии. Монолог бациллы был написан для Марины, которая была прелестна с крылышками. Она с особенным выражением произносила стихи:

Один Директор клиники мне руку предлагал,
Но я с большим презрением отвергла этот план.

Ольга описала также помолвку и свадьбу Лизы в то же лето. Мне ярко врезались в память следующие подробности. Осоргин должен был приехать для решительного разговора 8 июля, в день Казанской Божией Матери. Я ничего не подозревал, но сестра Лиза просила меня в этот день пойти с ней к ранней обедне. Мы пошли в церковь Одигитрии. Вдруг, у выхода внезапно вырос Осоргин, который уезжал в деревню. – «Мих[аил] Мих[айлович]! Какими судьбами... – Ранней пташке жирный червячок!» – так я приветствовал его с большой развязностью, которую я приобрел вращаясь все время среди старших.

Мы вернулись домой. После завтрака я пошел брать урок латинского языка с братом Сережей – я готовился к гимназии. Мы сидели в спальне, папа рядом со столовой. Вдруг отворяется дверь и входит вся малиновая Лиза и целует Сережу. Я чувствую, что что-то большое совершилось. Лиза говорит: «Я невеста Осоргина». Бежим в гостиную. Папа обнимает еще такого чужого нам всем Осоргина, и вдруг видит через его плечо корову в цветнике. Несмотря на волнение, он тут же прямо в ухо ему кричит: «Пошла вон!» Я тоже попадаю в объятия Осоргина и чувствую необыкновенно жесткую бритую щеку.

Немедленно начинается блаженный сумбур и суматоха, сопутствующие всем жениховствам. Каждый день мы едим конфеты, которые приносит Осоргин. Очень скоро решают, что женихам надо ехать в Москву, а нас детей решают пока, на это время, отправить к Самариным в Молоденки.

Лиза была первой моей наставницей. Она выучила меня грамоте. Мы младшие особенно ее любили и льнули к ней. Жаль было уезжать от жениховства, от последних дней ее в семье, от веселого сумбура и конфет, но Молоденки имели для нас магнетическую силу.

Гимназия

Большим событием в моей жизни было поступление в 3-й класс гимназии осенью 1885 года.

Странно вспомнить, какой дореформенной стариной была в то время Калужская гимназия. Директор Овсянников, как я потом только узнал, приезжал спрашивать моего отца, как он желает, чтобы меня звали: Ваше сиятельство, или только по фамилии. Сам он преподавал у нас в классе историю и числился нашим классным наставником. На одном уроке, чтобы дать нам наглядное представление о Наполеоне, он выразился так: «Наполеон обходился с королями, ну вот как я с надзирателями: Алексеев принести то-то, Петров сходить туда-то». Мы конечно, по-своему воспринимали такое сравнение и ни в грош не ставили надзирателей, которые были нашим самым непосредственным начальством. Нравы в гимназии были крайне распушенные, особенно в пансионе при гимназии. Как раз перед тем, что я поступил туда, произошел крупный скандал, обнаруживший, что пансионеры были лишены всякого надзора и между ними процветали такие грубые нравы, о которых я даже не буду здесь писать. В начале я еще жил некоторым запасом знаний, полученных домашней подготовкой, но вскоре окончательно распустился, перестал что бы то ни было делать и выкидывал отчаянные шалости. К нам в гимназию поступил только что кончивший университет молодой преподаватель географии Трейтер очень маленького роста. Однажды после урока, когда он задержался в классе и ученики его обступили, меня почему-то неудержимо потянуло к беленькой точке на середине его головы, откуда расходятся волосы, и я дал ему легкий щелчок, так ни за что ни про что. Трейтер вернулся к кафедре и записал меня в книгу в разряд так называвшейся черной доски и три раза подчеркнул мою фамилию. Мой безобразный поступок был ничем не вызван, тем более что Трейтер был самый скромный и милый человек. Наш класс его любил и заставил меня на следующем уроке извиниться перед ним. Я сознавал, что совершил неблагоприятный поступок, и со страхом ждал кары. Через некоторое время меня вызвали к директору. Я отправился в очень неприятном настроении духа. После некоторого ожидания вышел директор. Увидев меня, он спросил: «Да, а почему, бишь, вас вызвали ко мне». Я ответил: «Не знаю. Вероятно это учитель географии записал меня». – «Ах да, вы нашалили. Это не хорошо. Вы не должны так делать впредь, идите».

Формально так все кончилось. Дома я ничего об этом никому не сказал. Мама в это время была в Москве, но по городу стали говорить о моей выходке, и когда мама вернулась в Калугу, то до нее дошли об этом слухи. Мама я боялся куда больше директора и всех возможных последствий, но когда она притянула меня к допросу, я, как это бывало со мной в подобных случаях, заперся в упорном молчании и упорном отрицании совершенно несомненных фактов. Мама это страшно огорчало. Я страдал и не знал как выбраться из нелепой позиции, но ей ничем не удавалось пробить этого непонятного упорства. Отказавшись вынудить у меня признание в совершенном факте, мама удалось перевести разговор на общую почву и произвести такую глубокую нравственную встряску, какую только она умела делать. Я долго оставался лентяем и шалуном, но такие встряски имели свое внутреннее огромное воздействие и подготавливали исподволь переработку характера.

О товарищах у меня осталось смутное воспоминание. Я ни с кем из них неособенно сблизился, кроме одного – Беляева; первым учеником в IV классе был Саввин, который потом был профессором всеобщей истории в Московском университете.

Любимой игрой у нас были тогда бабки (кости свиных ножек). Особенно ценилась хорошая бита, которую наливали свинцом. Самое приятное время было весной, во время экзаменов, когда не было уроков, были свободные дни, и мы, гимназисты, ходили на бульвар над Окой, играли в кегли, а иногда нанимали лодку и гребли на Оке.

Когда я был в III классе, со мною познакомился мальчик много старше меня, кажется шестиклассник, Швимбах, отец коего, доктор, приезжал иногда лечить папа электричеством. Этот Швимбах повадился провожать меня каждый день домой из гимназии. Он, очевидно, стремился попасть к нам в дом, но я почему-то очень стыдился показывать дома своих товарищей и ни за что не хотел доставить ему этого удовольствия. Швимбах даже таскал мой ранец, что я охотно предоставлял ему делать, но все старания его так и не увенчались успехом. Наверно, он считал меня или моих родителей гордецами, не считавшими его общество для меня подходящим. На самом деле, это был только ложный стыд с моей стороны и ничего больше. Кроме того, сам он, по правде сказать, был очень мало интересен и слишком явно подлизывался ко мне только, чтобы попасть в хорошее общество.

От Калужской гимназии у меня сохранилось мало хороших воспоминаний. Ничего, кроме отрицательных навыков, распушенности и обманывания учителей я из нее не вынес. Я пробыл в ней 2 года, и хорошо для меня, что мы не позже уехали из Калуги.

Калужское общество

Перед тем чтобы окончательно проститься с Калугой, я хочу вспомнить еще некоторых добрых знакомых и друзей моих родителей и местные типы, которые у нас бывали и к которым водили нас детей. Когда мы приехали в Калугу, губернатором был Иван Егорович Шевич, очень порядочный и недалекий человек. Он любил играть в четыре руки с мамой на фортепиано. Когда он уходил, – его, кажется, назначили сенатором, у нас был торжественный обед в его честь. Мы, дети, с большим интересом смотрели сквозь скважину дверей на то, что делалось в столовой. В своей ответной речи Шевич назвал моего отца «Рыцарем без страха и упрека». У нас в это время были две лошади: Рыцарь и Красавчик, и мы больше любили Красавчика. Марина была недовольна речью Шевича, почему он назвал папу Рыцарем, а не Красавчиком.

На главной калужской улице – Большой Никитской – был хороший дом Яковлевых. Это была старая дворянская семья. Она состояла из старика Семена Павловича, сестры его покойной жены Феланиды Александровны и детей уже пожилых. Семен Павлович почему-то особенно любил меня. У меня была большая голова, и вероятно, вследствие этого, что бы я ни сказал, притом я едва ли говорил что-нибудь особенное, умное, Семен Павлович всегда с восхищением восклицал: «Бисмарк! Вот вы увидите, он будет Бисмарком!» Феланида Александровна была старуха, выжившая из ума. Она всему верила и потом повторяла необыкновенные вещи, которыми ее дурачили.

У Семена Павловича была дочь – старая дева, жившая с ним, Софья Семеновна. Она бывала у нас постоянно, была неизменным партнером моего отца, входила в подробности нашей семейной жизни и любила выворачивать все городские новости и сплетни. Это была типичная состарившаяся в кругозоре губернского города дама, но добрая, милая к нам детям, и мы ее любили. Ее сестра, круглая как шарик, Зинаида Александровна¹⁰¹ была замужем за Тобишеном, прибалтийским немцем с красивыми манерами. Они жили некоторое время в Калуге. Впоследствии он был губернатором в Харькове и потом сенатором. У него были дети¹⁰²: старшая Ольга, сверстница сестры Вари, одно время дружила с ней.

Были две старые девы княжны Горчаковы Жюли и Софи. У них был племянник, который иногда к ним приезжал и которым они любовались и гордились, Сережа Горчаков. Он был сверстник моих старших братьев, студент Московского университета, приятно играл на виолончели и обладал шармом. Впоследствии он был губернатором в Калуге, лет через 20 после того, что мы оттуда уехали.

В Калуге жила старуха Сухозанет, вдова военного министра при Николае Павловиче. Нас водили к ней с поздравлениями на Рождество и Пасху. Мы ее боялись. На вид она нам казалась старой ведьмой. Нос и подбородок сходились у нее. Она ходила в бархатной душегрейке, с клюкой. Хотя она была очень древняя, но сохраняла до конца бодрость, колола дрова и играла в волан с дворником для моциона. Она слыла богатой и скупой старухой. При ней жили уже пожилые дочери – Ермолова, Извольская – обе матери будущих министров¹⁰³, и необыкновенно уродливая Павла Ивановна, которая уже лет пятидесяти вышла замуж за типичного старого холостяка Сорокина. Мне эта свадьба памятна, потому что это была первая, на которой я присутствовал, и притом в качестве мальчика с образом при невесте. Я надевал ей башмачок, в котором для меня лежал золотой. Это было в деревне. Я был один в своем роде. Не только не было детей, но помнится не было и молодежи. Новобрачным было вдвоем за 100 лет. Меня

¹⁰¹ Ошибка автора, надо читать Семеновна.

¹⁰² У Тобишенов были дочери София, Ольга и Зинаида и сын Иван.

¹⁰³ Автор путается в информации. Матери будущих министров А. П. Извольского и А. С. Ермолова – Евдокия Григорьевна и Мария Григорьевна – действительно были сестрами, но они носили девичью фамилию Гележинские, а брак военного министра Н. О. Сухозанета с княжной Е. В. Яшвилль был бездетным.

повели в оранжерею, где я проглотил неисчислимое количество персиков и олив. За обедом кричали «горько» и молодые целовались. Сорокины жили очень близко от нас. Они прожили очень счастливо и были очень благодущные и милые старички.

В Калуге стоял Киевский гренадерский полк, которым командовала полковник Маклаков. Это был тип военного служаки, у которого все интересы и понятия поглощались воинским долгом и своим полком. Он любил произносить речи с особым армейским бурбонским красноречием, которое отвечало настроению офицеров и было понятно солдатам, ибо его мотив был всегда один и тот же: беззаветное исполнение долга перед царем и Отечеством и повиновение начальству без рассуждений, ибо рассуждения вообще штатское, а не военное дело. У Маклакова было два сына, немного моложе меня. Дружба у нас как-то не клеилась, потому что слишком разная была среда и все навыки, но все мы очень любили ездить летом в лагерь полка, особенно к вечерней заре, когда играли «Коль славен» и весь полк пел Отче Наш. Из офицеров самым любимым был Петр Иванович Погорелов, командир роты, где мой брат Евгений отбывал воинскую повинность в качестве вольноопределяющегося. Если Маклаков был полковой отец, то Погорелов был ротный отец. Оба были хорошие русские люди и прекрасные представители того серого армейского офицерства, которое всю жизнь честно и мужественно тянуло служебную лямку и привыкло просто отдавать свою жизнь на служение чести и величия России. Петр Иванович отличался добродушием, здравым смыслом и юмором, солдаты его любили и ценили его художественное умение ругаться. Совсем другим типом был батальонный командир поляк Эдмонд Рудницкий, с большим самолюбием и претензиями на светскость. В нем не было никакого добродушия. Он считал себя выше своих полковых товарищей по воспитанию и общественному положению, и не был любим за эти претензии.

Жандармский полковник Константин Федорович Шрамм с седеющими баками, громким голосом и густыми серебряными эполетами был каким-то *pendant*¹⁰⁴ к Маклакову. Всегда их вместе приглашали. Это был добрый порядочный человек и дамский кавалер. Он то же любил произносить застольные речи, в которых было больше чувства, чем ораторского искусства.

Несколько отдельно от этого губернского общества стоял Николай Сергеевич Кашкин, человек более высокой культуры и склада. В молодости он увлекся революционным движением, был вместе с Достоевским судим за принадлежность к обществу Петрашевцев. Ему, как и Достоевскому, был вынесен смертный приговор, и перед самым приведением его в исполнение, было даровано помилование. Тогда же от нервного сотрясения у него сделался тик в лице, который сохранился на всю жизнь. Николай Сергеевич был земец¹⁰⁵, типичный либерал 60-х годов. Он был несменным земским главным с самого введения земства до конца своей жизни, пережив полувековой юбилей земских учреждений. Вместе с тем это был глубоко религиозный человек. У него был единственный страстно любимый им сын, которого он потерял. Помню замечательное письмо, которое он написал мама после кончины моей сестры Тони о том, что нельзя роптать, когда умирают люди молодые, ибо один Господь знает, кто и когда созрел в этой земной жизни для жизни вечной, и тогда падает, как зрелое яблоко с дерева, и что в этом сказывается Его благодать. У меня врезалось в память это письмо. Как всегда бывает, самые простые мысли действуют всего сильнее, когда они рождены не рассудком, а внутренним опытом. Весь облик Николая Сергеевича дышал старомодным дворянским благородством, и он жил в «Тургеневском» доме – сером деревянном с былыми лепными венками и лирами на карнизе и колоннами.

Другими представителями дворянского быта были Деляновы, которые жили в прелестной старинной усадьбе «Железники», совсем рядом с Калугой, между бором и Пафнутьевым монастырем. Николай Давыдович Делянов, брат министра народного просвещения, был без-

¹⁰⁴ Предмет, парный другому (*франц.*).

¹⁰⁵ Председатель окружного суда. – *Примеч. О. Н. Трубецкой.*

обидный скромный старичок рамоли¹⁰⁶, с которым только здоровались, но не вступали в разговоры. Хозяйкой была его жена Елена Абрамовна, рожд[енная] Хвоцинская, сохранившая следы былой красоты. Она была добрая, приветливая, всеми любимая хозяйка, и у них был всегда открытый дом. Старшие дочери были замужем и их мужья были потом сановниками – старшая Мария Николаевна вышла за Акимова – впоследствии председателя Государственного совета. Вторая кн[ягиня] Софья Николаевна Голицына, изю всех дочерей напоминавшая свою мать, в молодости красавица, потом бельфам¹⁰⁷, добрейшее существо с младенчески чистой душой, веселая, простодушная, редко благожелательная к молодежи, всеми любимая. Кажется у нее никогда не было и не могло быть врагов. Она была безобидно легкомысленна, что помогало ей до конца счастливо прожить, у нее были свои безобидные недостатки, но все они искупались добротой и благожелательством. О семье Голицыных и о муже ее, бывшем Московском губернаторе, а потом Московском городском голове, мне еще придется вероятно говорить. Третья дочь Ольга Николаевна была первым браком за своим двоюродным братом Хвоцинским, а потом овдовев, вышла замуж за А. Г. Булыгина, с которым познакомилась, когда он был в Калуге молодым губернатором. Впоследствии он был губернатором в Москве, а потом министром внутренних дел, творцом первого проекта Государственной думы, так называемого Булыгинским. – Когда мы приехали в Калугу, у Елены Абрамовны оставалась только одна дочь – девица Катя, которая вышла замуж не очень удачно за некоего Мясоедова, и скончалась от первых родов. Мясоедов написал роман, в котором описал свою свадьбу и кончину жены. Я также фигурировал на этой свадьбе мальчиком с образом у невесты, помню, что когда ее благословляли, то просыпалась соль и это произвело впечатление неприятного предзнаменования. Свадьба эта в моей памяти осталась иллюстрацией старого дворянского быта. Приехало много гостей из Москвы и Петербурга, и после свадьбы в большом двухсветном зале в Железниках начался веселый бал, гремела музыка. Для меня этот бал остался долго памятен по «унижению», которое я испытал. Мне было 10 лет. В Калуге проживало в это время легендарное семейство бригадного генерала Мольского. У него была жена и две дочери, все крошечного роста, причем жена была таких же размеров в ширину, как и в высоту, красная, с двойным подбородком, совершенная просвирка. Я считал себя совершенно зрелым и что только по игре природы мне всего 10 лет. И вдруг, госпожа Мольская взяла мою руку и несмотря на мое отчаянное сопротивление, поцеловала ее!! Я не знал, как пережить свой позор и возненавидел эту старуху, а она еще заставила меня танцевать со своей дочерью, которая вероятно тоже с ненавистью, как мне казалось, вынуждена была танцевать со мной десятилетним мальчиком, с которым была одного роста, хотя я был очень невелик. На этом балу я познакомился с моим будущим бо-фрером Осоргиным, который был молоденьким кавалергардским офицером.

Семейство Мольских было легендарно своим враньем. Одна из дочерей рассказывала, как во время пожара «Папа одной рукой выбросил из окошка демирояль».

В числе представителей старого быта не могу не припомнить приходившуюся нам сродни княгиню Наталью Петровну Оболенскую, сестру декабриста, тоже Оболенского. Она жила со вдовой своего брата [Варварой], который женился на ней в Сибири. Она была самого простого происхождения. У нее была дочь Оленька, прыщавая интеллигентка, которая кажется потом стала чуть ли не революционеркой. Наталья Петровна жила в небольшом домике, живописно расположенным над самым обрывом оврага, проходившего посреди Калуги к Оке. Она имела вид предки с портрета в белом чепце и была действительно очень древняя. Нас водили к ней на поклон в день ее именин 26 августа и в большие праздники.

¹⁰⁶ Ramolli (*франц.* расслабленный) – человек, страдающий размягчением мозга, паралитик.

¹⁰⁷ Belle femme (*франц.*) – красивая женщина, красавица.

Для полноты картины упомяну еще о семье Петра Ивановича Ланга¹⁰⁸, прокурора окружного суда, который жил в своем доме прямо против нас. Старшие сыновья были возраста промежуточного между моими старшими братьями и мною. Младшие были – почти слабоумный мальчик Паша – мой сверстник и сестра его Верочка. Мы часто встречались в прогулках в раннем детстве, и наша няня не пропускала случая доказывать няне Ланг наше превосходство. Напротив Лангов через переулок и наискосок от нас жила в маленьком домике полоумная старая пьяница Марья Яковлевна. Когда она напивалась, то она на всю улицу поносила всевозможными ругательствами Петра Ивановича Ланга. Помню, как она выходила на улицу с непокрытой головой, как развевались ее седые волосы, и она с бутылкой в руках извергала свои ругательства и угрозы. Когда она умерла, то няня нам объяснила, что она столько выпила спирта в течение жизни, что она загорелась синим огоньком и вся сгорела и стала как уголек. Это произвело на нас большое впечатление.

От того ли, что нам жилось как-то особенно счастливо и хорошо, и что мы чувствовали, что наших родителей все любят и уважают, но у меня сложилось впечатление от калужского общества, что оно состояло большей частью из хороших и почтенных людей, дружно живших между собою, хотя, в общем, и не очень интересных. Гимназические воспоминания не испортили общей светлой памяти о Калуге, в которой прошло все мое счастливое детство. Я покинул Калугу, перейдя с грехом пополам в V класс. Кончился первый детский период моей жизни, и начался другой, более сознательного отрочества.

Там в Калуге памятно мне празднование серебряной свадьбы моих родителей 30 апреля 1886 года – вся семья была в сборе, приехала и сестра Тоня Самарина с мужем, и событие это запечатлено общей группой. – За обедом и вечером играл оркестр Киевского полка, исполнявший и одно произведение молодости моего отца, – стремительный марш-галоп, в котором изображено и битье посуды и пробка, вылетающая из бутылки шампанского. – Перед обедом на тройке въехал во двор Алексей Дмитриевич Оболенский, младший двоюродный брат моей матери, Козельский предводитель дворянства, живший в своем имении Заречье, близ Оптиной пустыни, и привезший огромный букет цветов. Помню Маклакова и Шрамма, слегка идилического под влиянием шампанского. – Хороший светлый семейный праздник с жатвой первых семейных плодов в лице старшего уже взрослого пятка, и нас еще детей, начинающих подрастать.

Мы начинаем выступать на авансцену уже по переезде в Москву.

¹⁰⁸ Автор ошибается: Петра Осиповича Ланга.

Сергиевское¹⁰⁹

Мы покинули Калугу в начале лета 1887 года и поехали в Сергиевское к Осоргиным. Сергиевское было в 45 верстах от Калуги на высоком берегу Оки. Сообщение было пароходом. От берега до усадьбы было еще две версты. Усадьба состояла из огромного 3-этажного каменного дома, построенного ген[ералом] Каром, когда он воевал против Пугачева; от дома шли два низких флигеля, потом был двор со службами. К дому примыкал парк, кончавшийся обрывом и рощей опускавшейся к Оке. Верхний этаж никогда не был отделан, комнат было и без того достаточно много в первых двух этажах, и в них могло поместиться несколько семей, что бывало зачастую. Снаружи дом был несколько казарменного вида, но сменявшиеся поколения внесли столько тепла и уюта в каждую комнату, что стены его были дороги Осоргиным, и они любили свое Сергиевское как близкое родное существо, не представляя себе, чтобы на свете могло быть что-нибудь более прекрасное. И впоследствии, куда бы ни попадали дети Осоргины, за границу, они все неизменно сравнивали с своим Сергиевским и не могло быть выше похвалы, как сходство с Сергиевским. И правда, если дом был мил его обитателям, потому что каждое пятно на его стенах было связано с каким-нибудь воспоминанием, то местоположение Сергиевского было красиво и привлекательно само по себе. Прямая старая аллея в $\frac{3}{4}$ версты вела от лужайки перед домом через парк прямо к обрыву, у которого начиналась роща. С этого обрыва у скамейки открывался восхитительный вид на луга и извилистую Оку, по ту сторону коей виднелось село с колокольней. Во всякое время дня и года этот вид приобретал новую красоту и новое освещение. Я был в Сергиевском зимой, когда белоснежный саван покрывал огромную даль и казалось ей нет конца и вся она сверкала алмазами под лучами солнца.

Я был там раннею весной, когда река синела и начинался ледоход, огромные льдины нагромождались одна на другую и вся река бурно оживала после долгого зимнего она. А потом луга затоплялись и огромный водный простор расстилался перед глазами. А что может сравниться с русской весной, с этой истомой в воздухе, пробуждением земли и всей природы, когда как будто слышишь сок, который подымается в деревьях и каждый день и каждый час приносит новое волшебство, новое преобразование всей твари, и чувствуется разливающаяся в ней радость и победное торжество жизни! И когда молод, чувствуешь в себе то же пробуждение сил, истому и рвущиеся из сердца мечты, грезы надежды. А прозрачный трепет березовой рощи, пронизываемой лучами заходящего солнца, когда мелкие клейкие листочки чуть-чуть дрожат на тонких ветках и белые стволы так четко выделяются на небе! А эта симфония звуков и запахов, подымающаяся от черной душистой земли, комары, жуки, бабочки, птичий гомон, каждый день, увеличивающийся новыми голосами, и молчание ночи, в которой раздается первая трель соловья! И наконец лето, насыщенное зноем и работой природы, расцветом цветов, спеянием хлебов, созревaniem плодов. И надвигающаяся осень, «в багрец и в золото одетые леса», чудной порою начало октября, когда

«Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны небеса».

Невольно вдаешься в поэзию. Что лучше, что ближе сердцу русской природы... С чем можно думать без страха, когда представляешь себе Россию... – Природу большевикам не удастся испакостить, а в ней – дары возрождения так же, как и в русском живом языке, который тщетно хотят изуродовать новой орфографией.

¹⁰⁹ Рукописная помета: Смотри сперва с. 130а рожд. Миши, потом с. 170 рождение Сережи.

Весь расцвет этой природы я впервые увидел, как следует, в Сергиевском, и там же простился с Россией перед тем, чтобы начать свои скитания беженца. И потому Сергиевское мне дорого, как бывает дорога первая и прощальная любовь. И никакие последующие впечатления не затмили во мне его поэзии.

Семья Осоргиных была патриархального уклада. Мой бо-фрер незадолго до свадьбы покинул Кавалергардский полк, где прослужил несколько лет по окончании Пажеского корпуса. Он с увлечением исполнял обязанности земского начальника. Хозяйством занимался его отец, Михаил Михайлович, высокий подвижной старик с длинной бородой, покрывавшей все его туловище. Жена его Марья Алексеевна была, как и он, добрейшее существо. Кажется доброта была отличительным свойством их обоих. Оба они обожали своего сына и готовы были в кредит любить всех, кто был ему близок, т[о]е[сть] не только его жену, но даже всю ее семью. А моих родителей они как-то особенно любили и не знали, как лучше устроить, что придумать более приятного. Такое же радушие и ласку распространяли они и на нас, детей. У Марьи Алексеевны была жива еще ее мать кн[ягиня] Волконская, неподвижно сидевшая в креслах, тоже добрейшая старушка. Домочадцы и слуги были также старого покроя. Старая гувернантка, швейцарка Нюничка, воспитавшая моего бо-фрера и старшую сестру его Варвару Михайловну Жилинскую¹¹⁰, жившую в Петербурге. При старушке Волконской состоял еще древний калмык, определявший свой возраст так, что при Павле Петровиче ему начали нравиться барышни. Он клеил картонные коробочки и готовил домашние фейерверки. Жил еще старый почтенный садовник, помнивший Пугачева. Слуги и горничные были старые пережитки крепостного права, преданные своим господам и жившие с ними одной большой дружной семьей. Замечательно, что потом, когда эти старые слуги умирали и их заменяли новые, вплоть до самой революции, – патриархальный строй отношений между господами и слугами оставался неизменным. Сергиевское было крепким старозаветным гнездом. Господ знали в далекой округе, их привыкли любить и уважать, они срослись глубокими корнями с родной землей, и свои крестьяне отстаивали их как могли во время революции. Но я забегаю вперед...

В милом живописном Сергиевском мы провели лето до Москвы. Здесь родился первый сын, внук и правнук – Михаил Михайлович Осоргин 3-й, 30 июля 1887 года. Мне памятен этот день. В первый раз пришлось хоть издали присутствовать при появлении на свет человека. Помню, как мой бо-фрер вышел из спальни в длинный коридор, в котором я стоял, и разрыдался, и помню, какое впечатление на меня это произвело, я еще понятия не имел об ожидании и страданиях, коими сопровождаются роды, и не реализовал всего значения такого события вообще.

Чтобы подготовить меня к московской гимназии, где, конечно, приходилось считаться совсем не с теми требованиями, что в Калуге, мне взяли в качестве репетитора – студента Василия Ивановича Флерова. Это было добродушное и флегматичное существо, нрав коего я скоро раскусил и ничего не делал. Иногда я с ним фехтовался, но фехтование это заключалось главным образом в том, что я бил Василия Ивановича плашмя рапирой, а он добродушно поворачивался, как медведь. Математике меня обучал мой бо-фрер с большим рвением, но я мало отвечал его стараниям. Я был рассеян и ленив и не любил математику, где нельзя было заменить знания верхоглядством. В середине августа меня повезли в Москву учиться. Эти ранние отъезды из деревни, когда стоит чудная погода и лето в разгаре, всегда бывали очень тягостны. Так неуютно втягиваться в лямку уроков и думать о счастливицах, оставшихся в деревне. Но что же было делать...

¹¹⁰ Муж ее был впоследствии начальником Генерального штаба, потом Варшавским генерал-губернатором, и в начале войны главнокомандующим Западного [Северо-Западного] фронта. Карьера его оборвалась после сражения при Сольдау, хотя едва ли можно было возложить на него ответственность за поражение. В конце войны он был военным представителем Государя во Франции, а при большевиках таинственно пропал и погиб, ненадолго пережив свою жену. – *Примеч. автора.*

Брат Сережа

Переезд в Москву совпал с большим событием в нашей семье. Мой старший брат Сережа стал женихом Паши Оболенской.

Брат Сережа занимал совсем особое положение в семье. Мама могла уверять себя и других, что у нее нет любимцев, что для нее все дети равны, но, конечно, ее первенец, ее Сережа был для нее совсем особое отдельное существо, и его она любила так, как никого не могла любить. И я уже говорил, нам казалось это совершенно справедливым и естественным. Сережа был тоже наш общий любимец и существо высшего порядка.

Что было в нем в эту пору детства, юности и молодости особенно привлекательно и что, впрочем, осталось у него до конца – это необыкновенно живая чуткая отзывчивая на все и любящая душа. Его душа и ум были всегда открыты на все, и никогда не затемнялись какими-нибудь предубеждениями и предрассудками. По своей природе, но вернее, по складу он во всем и в каждом видел всегда то положительное, что в нем было, движущую им искру Божию. При этом сам он сохранил полную трезвость души и суждения. Ему чужда была всякая сентиментальность. Душа глубоко целомудренная, он таил в себе свое святая святых и свои чувства не расточал на ветер, не потому, что он был себе на уме – этого совсем не было, так же как не было скрытности, а именно из целомудрия. И так как он весь искрился талантом и остроумием, то он часто примешивал самые смешные шутки к тому, что для него было всего дороже. Он мог покоробить хорошего, но неповоротливого мозгами человека. Вместе с тем какое нужное прикосновение было у него к чужой душе! Никто не мог подойти так легко, так деликатно, с таким сердечным участием и простотой к чужому горю, мучительным сомнениям, разочарованию. А сам он, когда ему бывало всего тяжелее на душе, тут-то и становился наружно как будто всего веселее, всего остроумнее, заражал всех этим блеском и веселостью. В нашей семье была вообще большая чуткость ко всему показному и не настоящему. Малейшая попытка кого-нибудь из нас порисоваться, принять позу, словом, что мы называли ломанием, немилосердно осмеивалось и пресекалось в корне. С той же быть может преувеличенной чуткостью помечались все казавшиеся нам смешными и неестественными повадки, манера говорить и держать себя посторонних, и мы их передразнивали, в чем особое мастерство обнаруживала Ольга. Это имело свои отрицательные стороны, ибо порою обижало людей, которые могли перехватить насмешливые взгляды, а кроме того, в нас самих порою развивало ложный стыд и самолюбие. Во мне лично до известного возраста эта черта выработала большую скрытность. Настоящее движение сердца пряталось из страха, что покажется сентиментальным. Но в общем такая постоянная семейная самокритика имела много хорошего, ибо делала невозможной всякую позу. В этом отношении, как и в других, Сережа задавал тон и был самым чутким, но он же старался проникнуть во внутреннюю жизнь каждого из нас младших. Он был на 11 лет меня старше, и, конечно, внутри я почитал его и он был для меня авторитетом. Однако попробуй он навязать мне этот авторитет внешним путем, – из этого ничего бы не вышло. Гонору было у меня, хоть отбавляй, с раннего детства. Он все это отлично понимал и подходил ко мне умеючи. Благодаря этому он сыграл огромную роль в моем развитии.

Когда я поступил в 3-й класс гимназии, мама уехала в Крым, куда после свадьбы отправились молодые Осоргины. Я был оставлен на попечение Сережи. Я сразу натолкнулся на грубые нравы и грубые разговоры, и, возвращаясь домой, повторял иногда ужасные слова, смысл которых не понимал. Сережа понял, что меня надо заранее оградить от скверного влияния и имел со мной один из тех разговоров, секрет коих он унаследовал от мамы. Он расшевелил мою детскую душу до самой ее глубины, он сумел внушить и укоренить во мне сознание святости целомудрия и создать во мне внутреннюю броню против всех покушений в будущем на это святая святых. Это влияние так же, как и облик моей матери, в которой я видел олицетворение

чистоты и который я боялся оскорблять, предохранили меня в самые опасные для меня годы от нечистых воздействий и влияний. Я мог быть шалопаем, распущенным, лентяем, порой лгунишкой, я мог слушать и повторять сальные анекдоты, которые были в ходу в гимназии, но это все-таки не задевало какой-то внутренней моей душевной сути, не вносило органической порчи в душу, ибо она была предохранена броней, созданной во мне мама и Сережей. Ибо в облике мама и в словах Сережи чувствовалась не мораль, не педагогика, а святость внутренней чистоты.

Сережа в это время работал над неоконченным юношеским своим трудом о Святой Софии и Вселенских Соборах. Он иногда читал мне отдельные места оттуда. Видимо, у него была мысль, что тайны, недоступные отвлеченному мышлению, могут быть открыты младенцам. Он с таким серьезным убеждением хотел передать мне свои мысли, что я напрягал величайшие усилия, чтобы понять его, но, конечно, мне это было недоступно. После обеда, до приготовления уроков, мы играли с ним в домино, причем за каждый проигранный point¹¹¹ надо было отсчитать 10 подсолнухов. Проигрывал, конечно, всегда я, и мне приходилось отсчитывать несколько сотен, иногда больше тысячи. Замечательно, что я, не готовивший уроков и старавшийся содрать, что мог, для заданного, добросовестно отсчитывал эти подсолнухи и мне и в голову не приходила возможность в этом надуть Сережу. И все это потому, что там была педагогика, а здесь игра на равных основаниях.

Сережа воздерживался от всякой «педагогии». Когда нам нужно было чего-нибудь добиться от мама и мы не рассчитывали на свои силы или не решались приступить к ней, мы подсылали его. И Сережа умел добиваться, умел и любил приставать к ней и побеждать ее отказы, вырывать у нее согласие. При этом он также немножко побаивался мамá, т[о] е[сть] она импонировала ему, как и всем нам, что не мешало ему, а впоследствии и всем нам, когда у нас прошел внешний страх перед мамá, приставать к ней изо всех сил и находить наслаждение в том, чтобы добиваться от нее согласия на то или другое, с чем мы к ней приставали. Было бы менее весело и приятно добиться ее согласия без приставания.

Помню, как в том же 3-м классе учитель русского языка Рождественский задал нам на Рождество написать святочный рассказ. Я придумал какую-то невероятную ерунду из жизни Индии, и Сережа, безо всякой педагогии, помогал мне придумывать различные подробности. К моему удивлению, рассказ имел успех, и учитель только спросил, самостоятельно ли я его придумал.

И вот этот самый Сережа, наш любимый старший брат, стал женихом и уходил из семьи. Его невеста показалась нам сначала такой чужой и далекой. Как часто в дружных семьях, свадьбы вызывают сначала ревнивое предубеждение против человека, который вырывает из семьи одного из ее членов, притом любимого.

Нам, младшему пятку, Оболенские были совсем чужие, хотя брат Петя уже женился на одной из сестер, но старшие братья с детства дружили с ними. Роман брата Сережи длился годами, и Паша несколько раз отказывала ему. Как раз, когда у нас шло шумное веселье, и Сережа ставил свое «Последнее слово науки», ему было всего горче на душе.

Сестры Оболенские рано осиротели. У них была сестра много старше их от общей матери, но от другого отца. Это была гр[афиня] Апраксина, жившая в Петербурге, в свое время известная красавица, муж ее имел огромное состояние и был флигель-адъютантом императора Александра II^[75]. Отец их кн[нязь] Владимир Андреевич Оболенский был двоюродным братом моей бабушки В. А. Лопухиной, так что сестры Оболенские приходились троюродными сестрами моей матери, хотя были поколения ее детей.

У Владимира Андреевича было четыре дочери. Старшая Соня молодой девушкой сошла с ума и умерла уже при большевиках. Это была вечная забота-обуза, которую свято несли

¹¹¹ Очко (франц.).

сестры. Кроме нее, были три сестры Паша, Татя и Лиза. Старшей Паше минуло 16 лет, когда скончался отец, и они остались полными сиротами. С ними поселилась их двоюродная тетка княжна Аграфена Александровна Оболенская, которую все знали под именем «тетя Груша». Были даже привычные извозчики, которые знали, кто тетя Груша и везли к ней. – Иногда к ее имени прибавляли: «безсемянка» – «тетя Груша безсемянка».

Тетя Груша была добрейшее существо и очень добродушное. Она требовала к себе уважения, и все охотно оказывали его ей. Она была почтенным патроном своих племянниц, но, конечно, не могла оказывать на них особенного влияния, она была для этого слишком проста и другого поколения. Племянницы сами себя воспитали.

Старшая Паша имела необыкновенно тонкий, благородный и аристократический облик, как внешний, так и внутренний. Она была болезненна, малейшее прикосновение к спине было для нее мучительно, и она всегда держалась необыкновенно прямо, elle paraissait raide¹¹². Я слишком привык к ее внешности, чтобы сказать, что это ее портило, ибо с другой стороны, это так подходило ей. У нее было редко прекрасное лицо, точеное, мраморное, с нежным румянцем, легким пушком и поразительной правильностью и благородством всех линий. Глубокие глаза казались еще больше, благодаря синеве, которой были окружены. Она могла быть привлекательна, как никто, и она же могла совершенно оттолкнуть и заморозить человека резкостью и гордостью.

В ней было все обаяние очаровательной женственности, блестящего тонкого женского ума, художественной и музыкальной натуры, с горячим сердцем и страстным темпераментом. И рядом с этим могла быть убийственная насмешливость, леденящее презрение и сокрушающий гнев.

Такая женщина могла или отталкивать или внушать безумную страсть. В ней не было тени вульгарности. Она была цветком аристократизма, и она была аристократкой по убеждению и по плоти, цельная, в крупном и мелочах. Она могла быть очень мила и добра с людьми низшего происхождения, но она органически не признавала их такими же людьми, как она сама, и когда «парвеню» с претензиями пытались с ней завязать более близкое знакомство, то они не могли не чувствовать ее леденящего презрения. Гордость у нее была непомерная. Она никогда ни от кого не согласилась бы ничего принять, и скорее умерла бы с голоду. Она не допускала фамильярности с людьми низшей породы. Резкость тона усиливалась иногда ее болезненностью, так же, как и ее raideur¹¹³. Но этот внешний облик только подчеркивал основную непримиримую прямолинейность ее характера. Она неспособна была покривить душой, неспособна была даже удерживать своих резких прямых суждений и говорила их прямо в лицо людям. Она могла быть крайне бестактна, оскорблять людей, но если она кого-нибудь любила, то также не умела любить наполовину, но со всем пылом своей души. Она была первоклассная музыкантша. Она не любила играть в большом обществе и вообще для других, но делала это для немногих, кого любила, и в музыке выражались все обаятельные стороны ее характера – женственность, благородство, тонкость, блеск и темперамент. Она была исключительно образована и могла разделять все философские и религиозные интересы своего мужа. При этом она обладала тонким критическим чутьем и была незаменимым для него цензором.

Такую обаятельную и исключительную со всеми своими качествами и недостатками женщину полюбил мой брат, и ему нескоро удалось победить гордую красавицу. Во многих отношениях он был совершенно другой человек.

Внешней гордости, внешнего аристократизма в нем не ночевало. Он относился с полным равнодушием ко всему, что отвечало аристократическим вкусам и оценкам предмета его любви. Насколько она была резка и raide, настолько он был воплощенная мягкость, человек-

¹¹² Она казалась жесткой, негибкой (франц.).

¹¹³ Негибкость, жесткость (франц.).

ность и деликатность. Его шутки и остроумие, несмотря на весь свой блеск, также могли корчить ее аристократизм. Наконец, он не имел средств, и в будущем не мог удовлетворить тем представлениям о подобающем *train de vie*¹¹⁴, которые у нее были. Словом вся внешность была против него.

Но мой брат был еще гораздо более исключительный человек, еще более существом высшего порядка, чем она. Это была такая высокая чистая душа, и его жизнь была непрерывным духовным полетом, он был так обаятелен, талантлив, умен, обладал такой художественностью, остроумием, живостью, отзывчивостью и добротой, что его нельзя было не любить, и нельзя было не почувствовать счастья быть им любимым. В нем был высший духовный аристократизм, утверждавшийся вне и выше всяких сословных перегородок и предрассудков. Его чистота и благородство коренились выше. Если гордости в нем не было и не могло органически быть, то в нем естественно и просто, сама собою, сказывалась хорошая кровь, и, конечно, не даром он был потомком рода, связавшего свое имя с историей России. Может быть высший аристократизм и требует именно того, чтобы все это было и чувствовалось само собой, без стараний и внешнего доказательства.

Свадьба нелегко далась моему брату. С характером Паши ей трудно давалось сближение с семьей своего жениха, и бедной маме, которая так исключительно любила Сережу, и так хотела любить его будущую жену, пришлось, можно сказать, выстрадать это сближение раньше, чем оно состоялось. Конечно, и Сереже, для которого обе они были дороже всего на свете, приходилось нелегко. Характер Паши был с надрывом, и счастье их было более сильное, чем спокойное. Но для такого, как он, незаурядного человека, нужна была и незаурядная жена, и такой конечно была Паша. Можно сказать, что оба они не останавливались в своем духовном росте, и у нее с годами все сильнее росло к нему чувство, особенно, когда она сознала, как приходилось беспокоиться за него. Беречь себя – этой мысли он не допускал, когда дело шло о служении Богу, родине и людям, и она, как бы остра не была у нее тревога за здоровье мужа, была слишком самоотверженной и героической натурой, чтобы не поставить долг выше всего.

Кроме трудностей психологических, у Сережи была другая мучившая его забота, связанная со свадьбой. Он был слишком церковный человек, чтобы легко обойти каноническое запрещение двум братьям жениться на двух сестрах. Его мучило сознание, что он нарушает канон, установленный Церковью, и он нелегко победил свои сомнения. Его совесть успокоило другое древнее церковное постановление, которое он вычитал в церковных актах: разрешение ввести в церковь стадо, застигнутое бурей в поле, если рядом нет другого помещения. Если из сострадания к бессловесной твари Церковь позволяла нарушение святости помещения храма, то неужто нельзя рассчитывать на милосердное снисхождение ее к формальному нарушению канона в таком важном случае, когда идет речь о судьбе двух человеческих существ, ищущих ее благословения своему союзу... Закроет ли она им свои двери, когда они в них стучатся...

В то время на правильность канонических условий при совершении брака смотрели вообще гораздо строже, чем впоследствии, когда по циническому замечанию еп[ископа] Антония Храповицкого, бывшего членом Синода (ныне митрополита) «если нам черного борова прикажут обвенчать, так мы и его обвенчаем». (Писано в 1925 году.) Поэтому решили венчание сделать в тесном семейном кругу, в Сергиевском, и пригласить для совершения его священника Киевского гренадерского полка. Полковые священники не были подведомственны местной епархиальной власти, и потому вообще легче относились к каноническим неправильностям.

«Самых близких» было, однако, достаточно много, чтобы наполнить весь поместительный Сергиевский дом. Свадьба состоялась в начале октября. Кроме всей нашей семьи, были Самарины (дядя Петя и тетя Лина), сестры Оболенские, тетя Груша, Василий Васильевич

¹¹⁴ Образе жизни (*франц.*).

Давыдов, который был посаженным отцом у Паши, ее двоюродная сестра и самый большой ее друг Груша Панютина, преданный Оболенским кузен, Сережа Озеров, шафер Паши, и наконец свежеиспеченный студент Боря Лопухин, только что приехавший из Орла, сентиментально и благонаравно самодовольный и пристававший к «кузиночкам» и «тетичкам», вследствие чего тетя Лина Самарина клокотала и еле переносила его. В Сергиевском доме на три дня почувствовался «клан Оболенских», противопоставленный семье Трубецких.

За час до свадьбы прибежал взволнованный брат Женя с известием, что священник вдруг в церкви разыграл сцену терзания совести, как он будет венчать такой неправильный брак. Решили, что успокоение его совести требует прибавки 100 рублей вознаграждения. Узнав, что полковой священник ломается, старый заштатный священник Сергиевской церкви заявил, что он будет венчать, если тот откажется. Оба аргумента оказали воздействие, и совесть полкового священника успокоилась. Этот неприятный инцидент был скоро забыт. Я в первый раз был шафером на свадьба и должен был держать венец над Пашей, потому что по росту это мне было легче, и мне было обидно, что Сережа Озеров не давал мне держать венец, как следует.

После свадьбы молодые уехали через Москву за границу. Я ехал тем поездом, порученный попечению В. В. Давыдова, который возвращался в Москву. На какой-то станции мы зашли к ним в купе, Паша лежала в гамаке и поразила меня своей хрупкой красотой...

Москва. Пресня

Переездом в Москву начинается новый период нашей семейной и моей личной жизни.

Старшие члены семьи все вылетали из родительского гнезда, женились и жили своими семьями, кроме брата Жени, но он тотчас после окончания университета и трехмесячного отбывания воинской повинности в Киевском полку, был назначен приват-доцентом в Демидовский лицей в Ярославле и жил там. Он приезжал домой только на праздничные каникулы и летом. Старшей оставалась Ольга, которая была как раз посередине между старшими и младшим пятком. До тех пор мы, дети, чувствовали что настоящая жизнь семьи сосредоточена в старших, а мы представляем из себя нечто вроде питомника. А теперь растения из питомника были пересажены в горшки.

Переезд в Москву был обусловлен переменой служебного положения моего отца. Он был назначен почетным опекуном для молодого поколения; поясню, что это была за должность. Существовало особое ведомство Учреждений Императрицы Марии Федоровны, в память основавшей его вдовы императора Павла I. Ведомство это включало ряд женских институтов, больниц и Воспитательный дом, в Петербурге и Москве. Учреждения эти состояли в подчинении императрице. Каждое из них ведалось одним или двумя почетными опекунами, которые вместе входили в состав регулярно собиравшегося Опекунского совета. Кроме того, в Петербурге собиралось Особое присутствие из петербургских и московских почетных опекунов. На должности эти назначали обыкновенно людей, занимавших ответственные места и уходивших на покой от активной деятельности. В Москве они были верхним слоем служилой знати. Мой отец отдавался всей душой возложенным на него обязанностям по заведованию Павловской больницей и хозяйственной частью Елисаветинского института. Он был в дружественных отношениях с директрисой этого института кн[язной] Ливен, которая была замечательной в своем роде женщиной (впоследствии кн[язня] Ливен была директрисой Смольного института в Петербурге и на этой должности скончалась) с большим характером. Воспитанницы боготворили ее и трепетали перед ней. В таких же дружеских отношениях мой отец был со своим коллегой графом Алексеем Васильевичем Олсуфьевым, который был почетным опекуном, заведовавшим учебной частью Елисаветинского института.

О нем стоит сказать несколько слов. Он был кавалерийский генерал в отставке, маленького роста, красный с седыми усами, плотно облегавшем его мундире Гродненского гусарского полка, которым когда-то командовал¹¹⁵. Он катился круглый, как шарик, и громко кричал, когда разговаривал, даже тогда, когда воображал себе, что говорит шепотом, на ухо.

Он был необыкновенно горяч и вспыльчив, при этом добрейший человек. Что совсем не вязалось с его внешностью старого гусара, он великолепно владел латинским языком и любил читать классиков. Еще у него была слабость – он любил играть на флейте, и воображал себя большим музыкантом. На этой почве у него произошел комичный инцидент. Его сверстник, тоже генерал, граф Анатолий Владимирович Орлов-Давыдов уверил его, что играет на скрипке и предложил сыграть трио. Олсуфьев обрадовался. Они съехались, взяли за инструменты. Олсуфьев начинает свою партию. Пора вступать Орлову-Давыдову, тот молчит. Олсуфьев кипит: «Когда же вы начнете...» – Тот говорит: «Пропустите, я дальше вступлю». – Опять пауза. – «Когда же вы заиграете...» – Орлов-Давыдов издает какие-то невероятные звуки. Оказывается, он никогда не брал в руки скрипки. – Тогда Олсуфьев вскипел окончательно, и вызвал своего партнера на дуэль. Насилу его уладили, и Орлов-Давыдов извинялся за свою шутку.

¹¹⁵ В 1865-1872 гг.

Мы поселились на Кудринской улице, почти рядом с Зоологическим садом и Пресней, почему наш дом для сокращения все привыкли называть: Пресня. Под этим именем у всех нас сохранилась память об этом периоде жизни. Наискосок от нас был дом, когда-то принадлежавший моему деду Трубецкому, где он жил со своей семьей. Дом этот сгорел в 1905 году. Мы занимали второй этаж дома, в нижнем этаже жил хозяин – старый почетный опекун кн[язь] Николай Сергеевич Оболенский с женой и дочерьми. Старик приходил к нам часто по вечерам играть в винт, а младшая дочь Нина была сверстницей моей сестры Ольги. Другие старшие сестры были дружны с моей бель-сёр Пашей, с которой были в родстве. Так как Оболенских было вообще много, то их отличали прозвищем: рыжутки.

Наш дом по расположению комнат отчасти напоминал Кологривовский дом в Калуге. Та же зала-столовая из передней, дальше смежная с ней гостиная и спальня моей матери. Другой ход из залы в коридор, огибающий лестницу. Рядом со спальней Мама́ по коридору комната побольше, где сначала помещались братья, и рядом маленькая моя комната. Впоследствии обе комнаты перешли в мое обладание. А пока моя маленькая комната была смежна с буфетом, что было не совсем приятно, потому что каждое слово прислуги было у меня слышно, и обратно. Из коридора с двух сторон – со стороны зала и рядом с буфетом две лестницы вели на антресоли, где жили мои сестры, няня, гувернантка и горничная, вообще это был женский верх. Комнаты наверху были очень низкие. У Вари с Линой была в глубине общая спальня и маленькая гостиная прямо с лестницы. Стены этой комнаты они оклеили сушеными разноцветными травами, которые собирали осенью. У Ольги была своя комната с ходом с другой лестницы. Няня помещалась в небольшой проходной комнате рядом с гостиной сестер. У Марины и гувернантки были комнатки в самой глубине верха за девичьей.

Как я уже говорил, мы переехали в Москву в самую суматоху и волнения Сережиной свадьбы. К этому присоединялись хлопоты, сопряженные с переездом, налаживанием новой жизни, и суетой и толкотней московской жизни, где было столько близких своих родных, друзей и знакомых.

Мною лично мало занимались. Меня отдали в одну из лучших классических гимназий – Пятую, которая была к нам ближайшей. Она помещалась в самом начале Поварской, близ Арбатской площади¹¹⁶. Это было все-таки порядочное расстояние от нашего дома. Приходилось пройти всю Кудринскую улицу, Кудринскую площадь и всю Поварскую.

Калужская гимназия была конечно много ниже по уровню преподавания и требований. В ней я получил только навыки безделья и шалостей. С такой подготовкой и настроением я вступил в 5-й класс московской гимназии. В первые же дни моего поступления умер директор Басов и новым директором был назначен профессор классических языков Александр Николаевич Шварц (впоследствии министр народного просвещения).

В Калуге я ни с кем особенно не сходилась. Здесь у меня сразу завелись друзья, с которыми мои родители были хорошо знакомы домами, что облегчало сближение.

Самым большим моим другом скоро стал Сеня Унковский, или Семен Иванович, как мы его звали. Его отец год или два перед скончался. Он был почтенный адмирал, уже старых лет, современник Крымской кампании. Он был сыном того старца Семена Ивановича¹¹⁷ Унковского, которого мы еще застали в Калуге и которого любила моя мать. Сын – адмирал, скончался более чем 70-летнего возраста¹¹⁸. Он был первоприсутствующим Опекунского совета и очень хлопотал о назначении моего отца почетным опекуном, уверенный, что мой отец деятельно и с любовью отнесется к своему делу. Вдова адмирала, Анна Николаевна была значи-

¹¹⁶ Здание снесено в начале 1950-х гг.

¹¹⁷ Ошибка автора: Яковлевича.

¹¹⁸ В возрасте 64 лет: родился в 1822-м, умер в 1886 г.

тельно его моложе. Она жила с детьми в своем доме на Смоленском бульваре, обожала своего Сеничку, но совершенно не умела и не могла следить за ним.

Семен Иванович был прелестный мальчик. Его нельзя было не любить за его добродушие, милый нрав, веселость и доброе товарищество, но это был очень легкомысленный мальчик, рано предоставленный самому себе и познавший то, чего не следовало. Какая-то тетка оставила ему хорошее состояние. Конечно, он еще им не распоряжался, но знал, что у него есть свои деньги, и что поэтому нет ничего зазорного их тратить. Мать смотрела как-то сквозь пальцы на фантастические счета, которые предъявлял ей Сеничка, сверх тех 10 руб [лей], которые он получал в месяц и которые были ровно в 10 раз больше того, что давали мне.

Еще раньше, чем встретиться с Унковским в гимназии, я познакомился с ним у своего двоюродного брата Алеша Капниста, с которым они были друзья. Алеша был двумя классами старше нас и учился в 1-й гимназии, но годами он был сверстник С.И. – У Алеша с раннего детства было совершенно определенное влечение к морю и морской службе. Он выписывал «Морской сборник» и читал все книги по этой части, какие ему попадались. Он возымел в этом отношении влияние на С. И., который сам по себе едва ли увлекся бы морской службой, хотя и был сыном славного адмирала, и наверно предпочел бы карьеру гвардейского кавалерийского офицера, тем более, что очень любил лошадей и верховую езду.

Алеша был серьезнее и зрелее нас. Это был вообще человек с золотым сердцем, прямой и благородный. Он был высокого роста, сутуловат, некрасив, беспрестанно моргал, рассуждал, бормоча каким-то невнятным полусшепотом, сквозь зубы, или порою заливался нелепым смехом, причем иногда буквально до слез. Поэтому в эту пору юности у него была несурзная внешность. Мы очень любили дразнить его, и он сердился, но так, как сердятся добрые люди, без злобы и отходчиво, никогда не тая ни на кого обид. Мы все, и товарищи, и мои сестры и я его очень любили и сохранили с ним дружбу на всю жизнь. Из всех детей больше всех на него похожа его дочь Емилька, хотя она хорошенькая, а он был некрасив. Она напоминает его и сутуловатостью и манерами невнятно рассуждать и нелепо смеяться и также милыми чертами своего характера, которые от него унаследовала.

Третьим приятелем моим был мой одноклассник Митя Истомин, или, как мы его прозвали, Мимра. Он был членом многочисленной семьи. Его отец, «Папочка» – Владимир Константинович служил при покойном отце Унковского, а в это время был директором канцелярии генерал-губернатора кн[язя] В. А. Долгорукова. Он был хороший и талантливый человек, несколько лет перед тем издававший прекрасный детский журнал «Детский Отдых», который мы очень любили в детстве. Он недурно писал и был приятным козёром¹¹⁹, но когда говорил о «Монархе» или на патриотические темы, то впадал в напыщенный тон, над которым мы посмеивались, особенно над «Мимрой», который был глупее своего отца, но подражал его тону. Жена Истомина¹²⁰, «Мамочка», была добрая, но совсем глупая женщина, боготворившая своего «Владимира» и повторявшая его изречения с таким убеждением, которые превращали их в безобидные карикатуры. За Мимрой следовали две прехорошенькие сестры, потом еще братья и сестры, всех их было 7 человек. Все они были хорошие, но немножко смешные. Всем семейством мы звали «Мамочки».

Мы с Мимрой были большие друзья, но всегда над ним потешались. Из всех нас он был единственный благонравный и любил с пафосом рассуждать, но мы не давали ему спуска. За всеми этими смешными сторонами оставалось то, что Истомины были достойные и прекрасные люди и Мимра тоже. Из всех них выделился впоследствии один из младших братьев – Петя, который во время войны был товарищем обер-прокурора А. Д. Самарина, а потом директором

¹¹⁹ Козёр (от *франц.* causeur) – человек, умеющий увлекательно разговаривать на разные светские темы; хороший собеседник.

¹²⁰ Наталия Александровна Реми.

канцелярии наместника на Кавказе великого князя Николая Николаевича, который сохранил к нему самую добрую память.

Были и другие одноклассники, с которыми я чаще видался, хотя и не был так близок, как с этими друзьями. Это был Митя Померанцев, который ближе был с Алешей Капнистом, и длинный с глупым лицом Володичка Львов (впоследствии печальной памяти обер-прокурор Временного правительства). Во всю мою жизнь я не встречал более законченного типа дурака, притом с большими претензиями. Мы постоянно его морочили, он готов был поверить самой невероятной истории, потом раздуть ее, прибавив всякие отсебятины и распространять, как очевидец. Мы собирались у Унковских по субботам. У Семена Ивановича были две сестры – Катя, сверстница моей сестры Лины, или моя, и Оля – сверстница сестры Марины. Были и две старших сестры, одна вышла рано замуж, Анна Ивановна Хвостова. Муж ее был земец, кажется председатель Земской управы в Орле¹²¹. Она ежегодно имела детей. Другая – Варвара Ивановна была сверстницей моей сестры Ольги. По субботам у Унковских собиралась молодежь всех возрастов, – друзья Сени и приятели и приятельницы его сестер. Между старшей молодежью бывали Боря Лопухин и неразлучный в то время с ним его товарищ Митя Загоскин. У Сени было ружье «Монте-Кристо», из которого мы иногда по вечерам тушили фонари на улице. И вот, в едину от суббот, является Володичка Львов, видит ружье, и почему-то страшно заинтригованный, и как всегда глупый, спрашивает, пытливо на нас глядя: «Что это тако...» – Я еще не успев ничего придумать, отвечаю: «Как, разве ты ничего не заметил...» – «Нет», и я вижу, что любопытство и желание обнаружить проницательность так и выпирают из Володички. – «Боря... и Загоскин... Ты разве не заметил, что они почти не разговаривают между собой». – «Неужели...» – На этом разговор кончился, и мы о нем все забыли. Володя Львов в это время уже перешел из 5-й гимназии в Поливановскую¹²².

На следующий день, вернувшись домой, я застал всех своих в переполохе. «Ты был вчера у Унковских...» – «Был». – «Что произошло между Борей и Загоскиным...» – «Ничего». – «Как ничего... Володя Львов там был и при нем Боря снял с своей руки перчатки, вложил в нее свою визитную карточку и бросил в лицо Загоскину. Они дерутся на дуэли». – Тогда я рассказал в свою очередь, как было дело и как мы потешились над глупым Володичкой Львовым. А он оказывается рассказал целую историю своим товарищам, которые, вернувшись домой, каждый разукрасив ее, поднесли своим родителям, и создалась круговая сплетня. Моя мать решила, что так как я так или иначе ее виновник, то я должен немедленно идти к Львову в Поливановскую гимназию, где позже кончались занятия, и пресечь в корне все расказни. Я так и сделал, но при этом случае, выругал Львова, как следует за то, что он такой дурак. Володичка жестоко на меня обиделся и даже в следующее свидание перешел со мною на вы. Мы редко с ним видались. Всего глупее, что он запомнил эту историю. Много лет спустя, я встретился с ним, когда он был членом Государственной думы, и он с любезной улыбкой, сказал мне: «Мы с Вами повздорили во времена юности», как бы великодушно прощая мне за прошлое. Еще позднее пришлось с ним встретиться уже во время революции, когда из благонамеренного правого он внезапно превратился в буйного радикального демагога, словно кто-то его ошпарил. Его слабый рассудок совершенно не выдержал испытания переворота и он стал каким-то одержимым. К сожалению в это время царило повальное сумасшествие. Только этим можно объяснить, что такой безмозглый и агрессивный дурак стал членом Временного правительства, что ему предоставили хозяйничать в Церкви на его усмотрение и что вообще могли с ним считаться. Но о всех перипетиях этого времени и о печальной роли Владимира Львова

¹²¹ Председатель Орловской губернской земской управы в 1894-1900 гг.

¹²² Частная мужская гимназия, открытая в Москве в 1868 г. педагогом, литературоведом и общественным деятелем Л. И. Поливановым. С 1876 г. располагалась на Пречистенке (д. 32). Учились, в основном, отпрыски дворянских фамилий.

я написал отдельные воспоминания, еще до выезда из России. Надеюсь, что когда-нибудь они там найдутся.

Обилие новых друзей и товарищей, и в особенности дружба с Унковским не слишком успешно влияли на мои занятия в гимназии. Каждый день мы с Семен Ивановичем придумывали новые шалости. Начиналось с того, что оба мы регулярно опаздывали к урокам. Надо было прийти к 8 час. 45 мин. утра. После этого входная дверь запиралась и все запоздавшие ждали на морозе, пока не пройдет утренняя молитва, с чтением Евангелия перед уроками. Дверь открывалась, нас всех переписывали и оставляли на час после уроков. Когда нас не оставляли за опоздание, то наказывали за какую-нибудь шалость, причем всегда наказывали обоих. Инспектор, чех Пехачек говорил со своим акцентом: «Всякая дружба умилительна; ваша вызывает во мне нэгодование». Во время уроков греческого языка Н. Н. Хмелева (впоследствии гласного и городского деятеля) я читал Анабазис Ксенофонта с такими интонациями, что весь класс покатывался со смеха. Во время уроков русского языка добродушного и талантливого С. Г. Смирнова, мы с Унковским перебрасывались через весь класс, а раз даже через голову учителя, пирожками. Особенно мы изводили немца Франца Ивановича. Помню, как однажды, он диктовал какой-то рассказ для перевода на немецкий язык, а потом слова к нему, причем давал почти каждое слово. В рассказе было многоточие. – «Франц Иванович, а как перевести многоточие на немецкий язык...» – «Что...» – «Как перевести многоточие...» – «Что-о...» «Как перевести...» – «Идите к господину директору». – «Зачем, Франц Иванович... Мне это не так интересно. Я как-нибудь сам переведу». – «Идите к господину директору». – Франц Иванович, я вас уверяю, мне это не нужно. Если хотите, вы сами у него спросите, а мне ненужно». – «Идите к господину директору!», кричал весь побагровевшей немец. – Я вышел, и совершенно не собирался удовлетворять свою любознательность у директора, но только что я вышел, как в коридоре увидел величественного директора Шварца, который шел мне навстречу. Мы все перед ним трепетали. – «Что вы делаете здесь...» – «Меня прислал к вам Франц Иванович узнать, как перевести многоточие на немецкий язык». – «Что... Вечно какие-нибудь глупости. Пойдемте». Директор направился со мною в класс. Он обратился по-немецки к учителю с вопросом. Возбужденный красный Франц Иванович начал ему что-то путанно объяснять. Среди объяснений, совершенно не педагогически, директор не выдержал и вдруг засмеялся, ничего не понял, махнул рукой, и сказал мне голосом, которому тщетно хотел придать строгость: «Вечно придумываете какие-нибудь шалости. Чтобы этого больше не повторялось!» – Так я легко и счастливо отделался на этот раз, когда ожидал большого наказания.

Зато некоторые гораздо более невинные на наш взгляд шалости встречали гораздо более строгое отношение. 1-го апреля мы решили с С. И., переодеться итальянцами-шарманщиками и с шарманкой и лотереей ходить по знакомым дворам. Мы взяли извозчика и доезжали за несколько домов до знакомых, слезали, оставляли шинели, надевали широкие шляпы и шли на знакомый двор. Это было очень весело, тем более, что во многих местах нас не узнавали. Но кто-то из начальства увидал наше переодевание, и сказали нашим родителям, что на этот раз не станут поднимать истории, потому что за нее по существу следовало бы нас исключить из гимназии.

Едва ли вообще мне удалось бы кончить гимназию и избегнуть исключения, если бы у меня не было протекции в лице дяди Капниста – попечителя учебного округа. Впрочем Шварц, несмотря на строгость, был идеальный и по существу человеческий педагог. Иногда только он увещевал меня: «Вам не нравятся классические науки. Вы бы уговорили своего папашу отдать вас в артиллерию, из пушек стрелять». – «Я бы и рад, Александр Николаевич, но папаша не хочет» – отвечал я, чтобы подразнить директора. Под конец, когда я изменился, Шварц пожелательно благоволил ко мне, и я сохранил к нему теплую благодарную память.

В результате всего поведения за первый год у меня были такие плохие отметки по четвертям и годовые, что меня не допустили до экзаменов и оставили на второй год, но и следу-

ющий год я учился не лучше. При этом я систематически обманывал мою мать и гимназию. В настоящем бальнике, который надо было давать на подпись родителям, расписывался я сам, а для дома я фальсифицировал другой бальник, в котором ставил другие отметки и давал на подпись мама. Меня очень мучил этот обман и я не знал, как из него выйти, и каялся на духу священнику. Нашим духовником был прекрасный старый настоятель церкви Вдовьего дома. К сожалению он скончался, когда я был кажется в 6-м классе. Уже совсем больной, лежа в кровати, он исповедовал. Ему трудно было говорить, но я помню напряженное внимание во взоре, которым он выражал может быть лучше, чем словами, то, что хотел сказать.

Самое плохое в моем поведении за эти первые два года гимназии были не те шалости, которые я проделывал с моим другом, но те тайные наклонности к обману и нечестности, которые во мне развивались. Кроме того, далеко не все шалости были невинные. Осенью и весной, когда семьи уезжали, а мы оставались в городе, мы покупали вино и устраивали попойки. Помню, с каким отвращением я глотал дешевые крепкие напитки. Была только прелесть запрещенного плода и мальчишество. Когда я был второгодником 5-го класса, то несмотря на плохие отметки, всякими правдами и неправдами я был допущен к экзаменам, ибо иначе пришлось бы меня исключить. Я жил у Капнистов, которым предоставлено было весной дворцовое помещение в Нескучном саду. Однажды мы затеяли какую-то попойку на Воробьевых горах. Я купил себе какую-то невозможную жокейскую фуражку. По дороге мы с Семеном Ивановичем зашли в аптеку и спросили средства, чтобы не пахло вином «для нашего кучера-пьяницы». Нам дали фиалковый корень. Мы не только напились, но у меня сделались сильнейшая колики, и возвращаясь домой, я не вытерпел и сделал свои дела в штаны. Идем домой, и вдруг из окна меня увидел дядя Капнист «Попечитель», которого я здорово боялся. Он напустился на меня за мою фуражку. Как я смею ходить в неформенной фуражке. Ни жив, ни мертв, я доплелся в свою комнату, и стал снимать штаны. В это время в комнату вторгся «Попечитель» и ну продолжать ругать меня за фуражку. – «Дядя, я болен», пролепетал я. «Попечитель» тут только сгоряча заметил, что в комнате стояла такая вонь, что хотя беги. Он остановился в своем красноречии. Послали за доктором, который очевидно все понял и прописал мне немного красного вина, но я сподличал и сказал, что не выношу вина. – «Ах так, – ну я вам пропишу микстуру, по столовой ложке через час». – Микстура была отвратительная, но негодный Алеша Капнист заставлял меня глотать ее, и я подчинялся.

Скверно, что все эти штуки стоили денег, которых у меня не было, и я ставил ложные счета моей матери. Словом я был на плохой дороге, и мог бы совсем свихнуться. Наша дружба с милым, но беспутным Семеном Ивановичем была действительно мало полезна для нас обоих. По счастью мать его решила, что в гимназии для него толку не будет, и его решили определить юнкером во флот.

Эти переломные годы, почти всегда не авантажные в жизни мальчиков, я жил в значительной степени предоставленный самому себе, да по правде сказать, и трудно родителям следить в этот период за жизнью своих мальчиков, если они находятся в учебном заседании. Внешний контроль, если его усиливать, только обостряет самолюбие мальчика перед товарищами. Самой большой обидой являются поддразнивания, что «тебе дома не позволяют того или другого», «ты не посмеешь», и тогда создается обстановка для бравады и обмана, тем более, что обманывать родителей считается какой-то молодежностью. Что делать в таких условиях... – Мне кажется только то, что делала моя мать. Дать переболеть мальчику трудный возраст и действовать на него не столько внешним принуждением и контролем, сколько нравственным авторитетом и духом семейного очага. Мальчишки могут временно грубеть и огорчать своими замашками и поведением, но если они продолжают любить свою мать и в глубине души почитать ее образ, как святыню, то в конце концов – перемелется мука будет, и мать вымолит своего мальчика у Божьей Матери.

Если я не свихнулся на скользком пути, то это потому, что «много может молитва Матери у благосердия Владыки», а также спасала общая домашняя атмосфера. Бедная мама не мало мучилась моим поведением и плохими успехами. Она обратилась даже к известному в то время детскому доктору и чудному человеку Нилу Федоровичу Филатову, чтобы посоветоваться с ним, нет ли тут физических причин. Филатов меня осмотрел, и в результате велел вынести мягкий диван из моей комнаты, к страшному негодованию Семена Ивановича, который один пострадал от этой меры. Когда он со мной приходил из гимназии, я валился на свою постель, а он на диван; теперь ему пришлось сидеть на венском стульчике.

Нам, младшему пятку, жилось очень весело. В эти первые московские годы сказывалась разница лет между мной и младшей сестрой Мариной. Она была на четыре года моложе меня, и была еще ребенок. У нее были свои друзья и развлечения, у меня с сестрами другие. Марина была очень дружна с Дмитрием Капнистом. У них были гувернантками родные сестры, поэтому они встречались ежедневно на прогулках, вместе играли. Кроме того Марина была дружна со старшими детьми Глебовыми, которые приходились ей сверстниками, хотя были нашими племянниками. Я же наоборот дружил с товарищами, которые годами были все старше меня, и Сеня Унковский и Мимра Истомин и Алеша Капнист. Мы составляли компанию с сестрами. У нас бывали очень веселые танцклассы, которые кончались настоящими танцами, кроме того мы разыгрывали шарады, в которых изоощряли остроумие, не всегда удачное, но нас удовлетворявшее. Главными друзьями нашими были Унковские, Сеня и его сестра. Катя была хохотунья и уютнейшее существо. К этим играм присоединялись позднее и Марина с Ольгой Ивановной. Собирались и у Унковских.

Когда Варя, которая была старше меня на 3 года, минуло 18 лет, она стала ездить в свет с Ольгой, но она не пренебрегала нашей компанией. Она не только не большилась, но для нее трудным событием в жизни было, когда в 16 лет ей вместо косы сделали высокую прическу. Это была целая история, и мама пришлось ей строго приказать, раньше чем она с этим примирилась. Не менее тяжело ей было в первый раз надеть открытое бальное платье. Она прямо страдала, так ей было совестно и неловко. Когда теперь маленькие девочки с удовольствием надевают открытые платья с голыми руками, то это показывает, как за последние 30 лет общая жизнь сдвинулась со здоровых основ, и утратилась внешняя стыдливость. Эти девочки привыкли видеть своих матерей мало одетыми, вот почему у них притупляется стыдливость. На Московском соборе 1917 года присутствовал вышедший для этого из затвора схимник о. Алексей. Он выехал из Москвы 35 лет перед тем, и говорил мне, как его поражает бесстыдство женской одежды и обращение на улицах.

В эти первые московские годы происходили различные семейные события на Пресне. Отчасти благодаря им и общему размаху московской жизни, моя личная жизнь ускользала от наблюдения и контроля. Кроме того, в этом возрасте я был склонен к скрытности и тщательно оберегал подход к личной интимной жизни, на которые больше всего покушался мой бо-фрер Мишан Осоргин, который был на 13 лет старше меня. Он вообще любил мальчиков-подростков, любил разговаривать с ними по душам, и сам вкладывал всю свою милую и горячую душу в эти разговоры. Он всегда хотел вызвать на исповедь. Я любил эти уютные задушевные разговоры. В них чувствовался такой согревающий любовный интерес к тому, с кем он разговаривал, но я всегда подпадал искушению немного подразнить доброго Мишана. Иногда я врал ему кучу вещей, иногда шутками и смехом отстаивал подходы к своим тайникам. Я никогда бы не решился покаяться в том, что меня самого мучило.

Осоргин приехал осенью 1888 года к нам по случаю ожидавшихся родов моей сестры Лизы. Они приехали заблаговременно и прожили довольно долго. Родился второй сын Сережа. В памяти у меня осталось, как он целыми днями кричал. Осоргины жили в большой комнате, откуда меня выселили рядом в маленькую, так что я получал полную порцию крика.

В эту же зиму, но позднее, брат Женя стал женихом. Старшие братья были как-то неразлучны в нашем представлении. Трудно себе представить более дружных и духовно близких братьев, чем были они оба. С гимназической скамьи у них были общие переживания, общие интересы, общие увлечения. Студентом, когда Сережа был увлечен Пашей, Женя одновременно был влюблен в ее младшую сестру Лизу. Он со всем пылом свежего молодого чувства бурно переживал свое увлечение. Ему было очень трудно и тягостно пережить то, что он принял за окончательный отказ с ее стороны, но что на самом деле было, по-видимому, результатом раздумья и сомнений, которые так часто предшествуют у молодых девушек серьезному чувству. Так ли это было в данном случае или нет, но Женя воспринял ее отношение, как удар. Он был очень молод и этот первый роман не был для него трагическим. Когда он переболел свое чувство, у Лизы Оболенской пробудилось сожаление, и это чувство приняло у нее гораздо более длительную острую форму. Она не могла простить себе и другим, что пропустила свое счастье, но Женя не только выздоровел совершенно, но и считал себя прозревшим: он не мог понять, как мог ею увлечься. Бедная Лиза осталась на всю жизнь каким-то искалеченным существом. По существу она была доброй благородной душой, но с каким-то изломом, органическим недостатком простоты, который делал ее внешне смешной. Она всегда принимала какую-то позу и сидела боком на одной половинке; и голос и жесты и разговор ее были какие-то вычурные и ненатуральные, которые скрывали истинное ее существо, хорошее и несчастное. Она напоминала птицу, выпавшую из гнезда и сломавшую себе одно крыло. Так всю жизнь она летала как-то на бок одним крылом, возбуждая насмешливость тех, кто не проникали глубже в трагедию ее жизни, не только трагедию неразделенной любви, но и какого-то органического излома ее существа, рано осиротевшей девочки, которую могла бы выправить только любящая мать.

Отъезд Жени в Ярославль, как только он кончил университет, обуславливался желанием покинуть Москву.

Оба брата, такие дружные и близкие, вместе в гимназии еще пережившие период религиозных сомнений, и засим возвращения к вере и увлечения философией, были вместе с тем совершенно различными натурами. Сережа живой, отзывчивый на все, Женя – однодум, всецело с головой ушедший в то, чем интересовался в данную минуту, рассеянный и ничего не замечавший, что делается вокруг него. Почему-то в юные года братьев, мамá и ее сестра думали, что у Сережи одного настоящее призвание философа, а Женя по существу должен быть общественным деятелем, и будто увлечение философией у него наносное, от Сережи. Это глубоко задевало Женю и было совершенно неверно. Занятие философией переживалось им не менее глубоко, чем Сережей, и ощущалось им, как основной двигатель жизни, в том же религиозном освещении, которое было присуще обоим братьям. Последующая жизнь и того и другого была достаточным оправданием верно понятого каждым из них призвания.

Оба брата имели души чистые, пламеневшие Богу, оба были одарены, но у каждого был свой характер дарования. Чуткий Сережа всеми порами воспринимал жизнь и отзывался на нее. Это составляло его особенную свойственную ему прелесть и налагало печать на характере его творчества, полный созвучия с окружавшим его миром и людьми. Женя уходил в себя и в своей душе находил источник своего вдохновения. У него может быть меньше было в этом отношении коррективов против односторонностей в оценках живой действительности. Его ум был более отвлеченный. Увлекаясь какой-нибудь идеей, он иногда не замечал фактов, которые ей противоречили. Но он был человеком высокого духовного склада, и поэтому нередко его взгляды и оценки находили оправдание в более отдаленной исторической перспективе, чем в применении к текущей действительности.

Оба были просты, без всякой позы, но у Жени была какая-то своя особая простота – дар Божий. Он был похож на великолепную неотесанную глыбу гранита. Он и в обществе сидел всегда так, как если бы кругом никого не было. Он был немножко первобытным человеком. Никакие впечатления и мысли никогда не были скрыты у него. Один, или в обществе он про-

должал жить поглощавшей его мыслью, и на его лице слишком ясно написана бывала скука и желание отсидеть положенный срок, если общество, в котором он находился, не отвечало его интересам. Высокие думы, которыми он жил, накладывали какую-то важность и сосредоточенность на его облик; он был высокого роста, красив, с тонкими благородными чертами лица и прекрасными голубыми глазами, но никогда не сознавал себя красивым и в молодости не чувствовал впечатления, которое производил, как вообще не замечал того, что вокруг него делалось. Он всегда и всюду жил своей внутренней жизнью, и в нем органически отсутствовала всякая деланность, эту простоту и непосредственность он унаследовал от Папа. Зато, когда ему бывало весело, то он покатывался со смеха, иногда сгибаясь до колен. Где бы он ни сидел, у него почему-то всегда одна из штанин подымалась почти до колена; он левой рукой чесал правое ухо, словом трудно было представить себе более цельного непосредственного человека, со счастливой ясной и чистой душой.

Живя в Ярославле, он не имел там никого, с кем бы мог отвести душу по наиболее дорогим для него вопросам. И он приезжал в Москву, полный накопившегося запаса мыслей. Поздоровавшись со всеми, он мог прямо из вагона живо заспорить с Сережей на интересовавшую его тему. Когда он приезжал к нам, он приглашал иногда к нам обедать своих друзей добродушного милого Льва Михайловича Лопатина и Владимира Соловьева. После обеда они удалялись к себе в ту смежную с моей маленькой спальней комнату, где останавливался он, когда приезжал, и жили Осоргины. И сразу подымался крик. Все говорили зараз, и всегда почему-то Соловьев и мой брат сцеплялись с Лопатиным. Оба они были большие друзья обоих моих братьев, я их видал постоянно у брата Сережи, и летом они часто гостили у него.

Владимир Соловьев обладал замечательной внешностью, которая выделяла его из всех окружающих. Скорее высокого роста, но сгорбленный, с длинными седеющими локонами, длинной бородой, он напоминал обликом Моисея Микель Анджело^[76]. У него было изможденное лицо, освещенное большими черными глазами. Когда он одушевлялся, его глаза горели, и он был прекрасен – весь лик его как-то одухотворялся и голос, какой-то глубокий, сдавленный, звучащий из нутра, вдохновенно звенел. Густые усы скрывали большой рот, смягчая побеждаемую духом сильную чувственную природу. Я сказал, что он напоминал Моисея Микеланджело, но его прекрасная голова могла бы еще более служить образцом для головы Иоанна Крестителя. Внешность его была так необычна и так духовна, что кто-то из детей спросил раз про него: «Это – Боженька...», приняв его за священника. К необычности его наружности присоединялся также совершенно необычный смех, напоминавший немного крик осла. В обществе он мог быть исключительно блестящ, весел, остроумен, сорит блестящими таланта. В мужской компании и в переписке например с моим братом Сережей он отпускал самые рискованные шутки, и заливался своим заразительным смехом с раскатами. Но иногда он казался каким-то отсутствующим, внешность его приобретала суровый аскетический вид, и глубокий взгляд был обращен куда-то вглубь внутри себя. Он был тогда феноменально рассеян. Его облик художественно очерчен моим братом Евгением в 1-й главе его труда о мирозерцании Владимира Соловьева. Насколько облик Владимира Соловьева был яркий и необыденный, настолько наружность Льва Михайловича Лопатина как будто возвращала вас одним своим видом к действительности. Небольшого роста, светло-русская борода метелкой, в больших золотых очках, сквозь которые лукаво-добродушно улыбались светлые глазки, – наружность профессора или доктора, он был типичный москвич, плоть от плоти и кость от кости ее быта. Он им был пропитан. А между тем это был незаурядный человек. У него был тонкий критический ум, большая разносторонняя культурность, широкая образованность, он имел интересную самостоятельную философскую систему и большой здравый смысл в суждении о широких общественных и политических вопросах. При всем добродушии, он тонко проникал в людскую психологию, мог давать самые меткие оценки и характеристики. В житейском отношении он был совершенный младенец, абсолютно беспомощный. Он был членом почтенной старой мос-

ковской семьи, жившей в прелестном особнячке [18]40-х годов в Гагаринском переулке. Отец его Михаил Николаевич был всеми уважаемый председатель Судебной палаты. У них еженедельно собиралось по вечерам все, что было наиболее интересного в московском обществе – ученые, профессора университета, актеры Малого театра. Лев Михайлович жил с раннего возраста в комнате, которая называлась «детская», где он и кончил свои дни, и до поздних лет за ним ходила его няня. Московский быт крепко втянул его. Он был очень ленив, и не признавал никакого порядка. Он мог бы бесконечно больше дать по своей даровитости, чем дал на самом деле, но он рано отвык от упорного научного труда, не следил достаточно за наукой, и в последние года довольствовался подробным изложением той или иной новой книги, которое ему делал совсем не даровитый, но основательный профессор Венямин Михайлович Хвостов. Благодаря большим способностям он мог такими урывками создавать себе достаточное представление о новых течениях, которые были ему менее симпатичны. Мне кажется, например, что он удовольствовался таким путем, чтобы ознакомиться с философией Когена, которая в начале этого столетия увлекала некоторых молодых ученых.

Лев Михайлович вставал поздно, ездил на уроки, лекции и по знакомым, всегда на одном и том же старом извозчике с клячей, потом ложился спать. Настоящая его жизнь начиналась часов в 12 ночи, когда он ехал на вечера к знакомым, потом ужинать в Художественный кружок, и возвращался часа в 3-4 ночи. Всюду его появление радостно встречалось. Всюду его окружал и втягивал родной ему московский быт, которым дышала вся его фигура. Он поразительно художественно рассказывал страшные рассказы. Когда он приезжал давать уроки в женскую гимназию, воспитанницы приставали к нему, чтобы вместо урока он им что-нибудь рассказал. То же повторялось, когда в 12 часов ночи он появлялся куда-нибудь к ужину, и Лев Михайлович не умел отказывать и добродушно подчинялся общим просьбам. Он не прочь был и выпить, и становился все милее и благодушнее. Революция его пугала. Он чувствовал отвращение ко всему грубому и резкому. Он не понимал оппозиции дальше добродушного подтрунивания над правительственными мероприятиями. Когда воцарился покойный Государь, сохранивший полковничью форму, чтобы не расставаться с вензелями покойного отца на погонах, и когда вскоре после того проявился на роли чуть ли не железнодорожного диктатора полковник Вендрик¹²³, Лев Михайлович сказал, что мы вступаем в «полковничий период русской истории». Это была одна из характерных для него добродушных шуток.

Лев Михайлович появлялся в самых различных домах, в каждой среде он был свой человек, всегда всюду ему были рады, он для всех был представителем родной Москвы, и он разделил участь стольких даровитых русских людей, расточивших порою свое дарование в обстановке добродушия и уюта,ужинов и вина.

В ту же эпоху, о которой я сейчас пишу, он был помоложе, не весь еще ушел в быт. Для моих братьев это был верный добрый друг и незаменимый собеседник, который мог понять и разделять все их интересы, хотя сам по своему философскому мирозерцанию занимал самостоятельную позицию. Он не был мистиком и совсем не был церковным человеком. Он уважал чужие религиозные интересы, хотя сам не разделял их. Соловьев и братья неизменно подтрунивали над Леоном, а он добродушно отшучивался. Годами он был сверстник Соловьева и старше моих братьев.

Я заговорил о Соловьеве и Лопатине попутно, по поводу приезда и помолвки Жени в начале 1889 года. Когда он только что приехал и зачастил к Щербатовым, я конечно это заметил, и так как был в самом несносном приставальном возрасте, то порядочно изводил бедного Женю. Я говорил ему, передразнивая какую-то актрису из театра Корша, драматическим голосом: «Женя, ты любишь Веру... – Да, да, ты любишь Веру!» Кроме того, неизменно по утрам я напевал ему:

¹²³ Правильно: Вендрих.

Ах, окажи мне Женишочек,
Отчего ты мой горшочек,
Поздно ложисся...

Все это повторялось много и часто, безо всяких вариантов, с единственной целью извести, и достигало своей цели.

Женя сделал предложение на приемном дне у Щербатовых, и вечером должен был получить ответ. Родители это знали. Обед (в 6 часов вечера) прошел в молчании и каким-то напряженным волнением, так что все мы чувствовали, что что-то происходит, и Марина сказала своей гувернантке: «Je crois qu'il y a un mariage dans l'air»¹²⁴.

Вечером Женя пошел к Щербатовым, вернулся сияющий и нас всех туда вызвали. Мы поехали в совсем чужой для нас дом, где мы дети раньше никогда не бывали. Там все ликовали. Верочка была младшая дочь, и, как всегда, к младшей дочери была особая нежность со стороны родителей.

Семья Щербатовых была такая же старинная почтенная московская семья, как и семья Самариных, с которыми они были в дружбе. Князь Александр Алексеевич Щербатов был ровесник моего отца, оба родились в 1828 году. Это была хорошо знакомая всем москвичам и любимая всеми крупная фигура старого барина. Всегда в просторном сюртуке, с белыми баками вокруг бритого подбородка с лицом, на котором были неизменно написаны благожелательство, приветливость, прямота, благородство, независимость и доброе старое барство. Это был израильтянин, в котором не было лукавства. Он весь был наружу. Его внешность отвечала внутреннему содержанию. Он был олицетворением доброй старой Москвы. – Он был ученик Грановского в Московском университете, ровесник и друг Бориса Николаевича Чичерина, вместе с ним был московским городским деятелем и заменил его на посту Московского городского головы. Князь Щербатов никогда не служил на государственной службе, и был типичным общественным деятелем эпохи великих преобразований императора Александра II. У него было крупное родовое состояние и он был большой барин. Он жил с семьей в своем большом доме на Б[ольшой] Никитской, где они давали приемы и балы на всю Москву. Старый Князь любил хорошо покушать и был хлебосол. Его любили и самые простые люди, и прислуга, и молодежь и взрослые люди всех званий и состояний и его крупная грузная фигура всегда всюду приветствовалась радостно и почтительно. Особенно памятно мне его сияющее лицо на Пасху, когда он со всеми, женщинами и мужчинами радостно христосовался и был каким-то олицетворением Московского Светлого праздника со звоном колоколов и хлебосольными розговенами. Старая княгиня, рожденная Муханова, когда-то красавица, была по матери полька (гр[афиня] Мостовская). Она была очень любезная светская женщина, умевшая давать des reparties – неожиданные находчивые ответы. Так однажды к ней в приемный день пришел Лев Толстой в своей рабочей блузе и спросил ее: «Est ce que mon costume ne vous choque pas?» – «Non, cher comte, – отвечала княгиня – mais pourtant je regrette pour vous: auparavant on parlait de votre talent, aujourd'hui on parle de votre costume»¹²⁵.

Две старшие дочери были давно замужем. Они были такие же крупные и грузные, как их отец: Софья Александровна Петрово-Соловова и Мария Александровна Новосильцева. Была еще незамужняя тогда, а позднее вышедшая замуж за старика Веневитинова – Воронежского губернского предводителя дворянства, Ольга Александровна вскоре после того заразившаяся при посещении какой-то богадельни черной оспой и скончавшаяся.

¹²⁴ Кажется, в воздухе пахнет свадьбой (франц.).

¹²⁵ Мой костюм вас не шокирует? – Нет, милый граф, однако, я сочувствую вам: прежде обсуждали ваш талант, а сегодня обсуждают ваш костюм (франц.).

Воспитание у Щербатовых было основательное и полагалось уметь говорить и занимать гостей не банальными разговорами. Это было целое обучение искусству – *la conversation*. Они много читали и полагалось потом *causer* на тему чтения. У всех сестер и почтенных, и прекрасных (про каждую из них говорили *qu'elle est un colosse moral*¹²⁶, что было верно и в прямом и переносном смысле слова) развелась какая-то болезненная говорливость. *La conversation ne devait jamais tarir*¹²⁷, и гость все время слышал непрерывно переливающийся голос, причем у них была семейная привычка по два по три раза повторять те же слова и фразы, только бы не было паузы в разговоре. Особенно этим отличалась Софья Александровна. При всем уважении к ней, могу сказать, что от ее разговора я иногда испытывал мучительное чувство сначала какого-то беспокойства, потом нараставшего желанья как-нибудь проскользнуть сквозь малейшую щелочку, которая могла остаться в этой разговорной ограде, в которой я чувствовал себя безнадежно пойманным.

Та же привычка была и у других сестер, которые при этом явно не щадили своих сил в служении разговорному долгу, но у Марьи Александровны эта несчастная привычка покрывалась таким морем доброты и уюта, которые излучались из ее существа, что не испытывалось никакой тягости, а только иногда беспокойство за усталость, которой она себя подвергает.

Мы прозвали Марью Александровну: Храм Спасителя. Это название как-то подходит к ее облику чего-то обширного, крепко сложенного, не очень красивого, но милого, уютного, московского. Трудно себе представить более безбрежную доброту и нравственную непоколебимость. Она действительно оправдывает характеристику – *colosse moral*. Счастливая жена и мать, она потеряла мужа и двух сыновей, которых обожала, и осталась той же излучающей на всех любовью, бесконечно благодарной Богу за все, что Он ей дал в жизни, и перенесла всю свою любовь на дочерей и внучат, в которых для нее повторяется жизнь ее мужа и сыновей. Полное личное самозабвение и светлое христиански радостное восприятие жизни с трогательной простотой и жизненностью, благодаря коим она продолжает ценить и вкусные вещи и природу и всякую радость в жизни. И ее любви хватает на всех и каждого, с кем связывают ее воспоминания прошлого или вновь сталкивает жизнь. Она остается тем же очагом света, тепла и силы и только духовно крепнет с годами с светлым взглядом на смерть близких, как на временную разлуку, с непоколебимой верой и убеждением в живую связь ушедших и оставшихся, которые дают ей силу продолжать свой земной удел, пока Богу не угодно будет призвать к Себе. Такими русскими праведными душами крепка Россия.

У Щербатовых продолжала жить старая гувернантка, всех их воспитавшая – *Fräulein Kämpfer* – преданное существо, член их семьи. От нее осталась у всех них привычка к порядку и добросовестному труду – немецкая основательность. В это время она еще отчасти продолжала опекать единственного младшего сына семьи – Сережу, который на год был меня моложе, и был предметом особого обожания своих родителей. Старый князь мечтал, что Сережа будет продолжателем его общественного служения и добрых крепких традиций семьи. Сережа в раннем возрасте сам рос в убеждении, что он обязан что-то продолжать, хотя для него не особенно ясно было – что именно. Старшие сестры укрепляли его в этом убеждении. В эту пору он был милый чистый мальчик, немножко наивный под окружавшей его со всех сторон опекой семьи и фрейлейн Кемпфер. Я думаю, что мое сообщество могло скорее пугать семью, но мы виделись в это время с ним не часто; мы учились в разных гимназиях и у каждого из нас были свои друзья. Всего ближе он был с детства с будущим моим бо-фрером Николаем Гагариным.

Свадьба состоялась 10 февраля 1888 года, в церкви Рождества Богородицы в Кремлевском дворце. Как сейчас вижу милое взволнованное лицо старого князя, который вел под руку свою дочь в подвенечном платье по красному пушистому ковру коридора, ведшего в церковь.

¹²⁶ Она – моральный колосс (*франц.*).

¹²⁷ Беседа никогда не должна была иссякать (*франц.*).

Помню также поразительно красивую в этот день Пашу в светло-сером тяжелого шелка платье с длинным треном, на который я нечаянно наступил, причинив ей вероятно страданье и помню, как на меня крикнул Сережа, и я ужаснулся, услышав, как что-то треснуло в платье. После свадьбы поздравления были на Пресне, а вечером молодые уехали в Ярославль, куда раньше ездил Папа, чтобы устроить им квартиру.

Наш дом на Пресне был украшен для свадебного приема и по этому случаю решили воспользоваться этим устройством, чтобы дать небольшой бал для старших сестер – Ольги и Вари, но мы младшие были также допущены. На этом балу мне запомнилась высокая красавица Соня Мещерская, впоследствии вышедшая за князя В. А. Васильчикова¹²⁸, и не такая красивая, но полная шарма сестра ее Муфка (впоследствии гр. Толстая). Дирижировал танцами тогдашний дирижер всех московских балов Александр Нейфардт. Больше всего мы любили самые простые незатейливые вечера, которые устраивали в своей компании. Однажды мы пригласили гостей танцевать под шарманку, но мамá, боясь, что из этого ничего не выйдет, позвала кроме того тапера. Поэтому мы устроили пляс в двух этажах: внизу таперка, наверху в комнатах сестер шарманка, и Боря Лопухин, дирижировавший танцами, заставлял нас бешено низвергаться сверху вниз и скакать обратно. Это был может быть самый веселый наш бал. Танцевали также у Капнистов, Унковских, Истоминых, и всегда и всюду веселились до упаду.

Московская зимняя жизнь проходила в суете и какой-то постоянной суматохе. В этом отношении летний перерыв был благодетелен. Мы переезжали в Меньшово. Я попадал туда обычно только в начале июня и оставался до половины августа, когда возобновлялось учение в гимназии. Всего два месяца, но в эти годы все в жизни кажется значительным, и потому время как будто не так скоро идет, как потом в зрелые и старые годы, когда привыкаешь к жизненным впечатлениям и дни нанизываются один на другой, как четки на руке. Времени хватало на все – и на удовольствия и на внутреннюю жизнь. Потому что несмотря на всю распущенность гимназической жизни у меня была своя внутренняя жизнь. Я тщательно запирал подходы к ней для всех и замыкался в себе, вел дневник. Там было много самокопания и не мало самолюбования. Вот почему такие дневники в юные годы мне кажутся вредными. В них всегда самоуничтожение паче гордости, размазываются чувства и делается из них третьесортная литература. Четырнадцати лет, я, прочитав статью Шишкина о механическом мирозерцании в вопросах философии и психологии, решил, что я также должен выработать свое мирозерцание и упражнялся в этом дневнике. Но туда же я заносил и выписки из прочитанных книг, иногда весьма серьезных, и стихотворения на всех языках, которые мне особенно нравились (больше всего Тютчев) и обрывки разговоров и собственные мысли. И все-таки я скажу, что этот детский вздор был перемешан и с радостями и страданиями, и что в общем у меня была довольно сильная внутренняя жизнь с массой разнородных интересов и жадой всестороннего знания, хотя все это не было упорядочено, потому что я наслаждался самолюбивым одиночеством. Мои любимые стихи были:

Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои.
Пусть в душевной глубине
И всходят и зайдут оне
Как звезды ясные в ночи.
Любуйся ими и молчи.
Есть целый мир в душе Твоей
Таинственно волшебных дум.
Их заглушит наружный шум,

¹²⁸ Правильно: Б. А. Васильчикова.

Дневная оглушит молва
Питайся ими, и молчи...

И я воображал себе, что у меня в душе всходят такие звезды. А если бы я не был так самолюбиво скрытен и беседовал бы с братом Сережей, сколько этих звезд оказалось бы блуждающими огоньками! Впрочем, когда начинается прилив сознания, то хочется и верится, что все можешь и должен делать сам и что тебя никто не может понять. В этих самостоятельных исканиях есть конечно и много доброго, и во всяком случае лучше, чтобы было это, чем ничего. Никогда не нужно торопить созревание внутренних процессов в молодых душах, и всегда надо себе говорить: перемелется, мука будет.

Меньшово обвеяно светлыми грезами юности не только для меня, но и для многих поколений молодежи, в нем чередовавшейся. Последние, кто в нем жили, были Гагарины. У них была великолепная усадьба в Звенигородском уезде, но они не могли расставаться с Меньшовым, где все было верхом простоты и скромности, не было ванны и были самые элементарные удобства.

Когда мы переехали на житье в Москву, мой отец построил просторный деревянный дом, заменивший когда-то стоявшие там два каменных дома. Снаружи дом был выкрашен в темно-красный цвет, внутри стены далеко не всюду были отштукатурены, а была частью деревянная обшивка, частью бревна с паклей. На всем лежала печать самой большой простоты. Ничего для вида, а все только то, что нужно, чтобы жить. И жилось необыкновенно уютно.

Прелестью Меньшова было его местоположение. От въезда шел скат – луг к извилистой и живописной речке Рожаю. С другой стороны дома был сад, куда выходила внизу крытая стеклянная терраса, а над нею балкон. Сад был не очень обширный, как все в Меньшове, но поэтический, с оврагом посередине и узенькими аллеями и тропинками, где было много тени и много заветных уголков, куда можно было уйти с книгой, положить ее рядом с собой, лечь на спину и мечтать и забываться, глядя на небо сквозь листву лип и берез.

Из сада ход в поле, где было сосредоточено миниатюрное Меньшовское хозяйство, дававшее много радости и волнений моему отцу, а потом сестре Ольге. С этих полей тети Лопухины – прежние хозяйки Меньшова – собирали урожай, умещавшийся в двух ваннах. Но поэзии и прелести было много в этом поле, заканчивавшемся высоким обрывом над рекой. Особенно вечером, после обеда было приятно ходить туда, когда рожь была уже высока. Узкая дорога вдоль обрыва, потом между двумя колыхавшимися стенами ржи вела в прелестную березовую рощу – Посибириху, где было много белых и березовых грибов. Иногда мы на лодке огибали Посибириху, которая спускалась к реке прелестными цветущими лужайками, где синели незабудки весной, а летом пестрели колокольчики и любийшь-не-любийшь. Повороты реки открывали все новые и новые милые перспективы, которые мы знали наизусть и так любили. Вот три березки, грациозные и одинокие среди лужайки, вот густые поросли тростника, неньюферы и деревья, свисающие над водой и вдали Тургеневская плотина с шумом падающей воды и осенью мельничного колеса, издавек слышных. А по ту сторону реки холмистые поля и близкий горизонт. Все это невелико, миловидно, ласкает взор, обвеяно прелестью Левитановских пейзажей и музыки Чайковского, особенно его романсов с усадьбным и дачным романтизмом.

Меньшово была дача – место летнего отдыха, где текла не самая жизнь, а ее праздничный летний перерыв, приволье для детей и молодежи, покой для старых с молодой душой, где время шло празднично и беззаботно. Помню, как-то приехал к нам мой двоюродный брат скульптор Паоло Трубецкой. Он работал над заказанными ему статуэтками, помню даже одну из них – в[еликую] кн[ягин]ю Ел[изавету] Феодоровну – из белого мрамора; особенно воздушно у него выходило накинутое на плечи боа из страусовых перьев. Паоло работал на террасе, и тут же за столом сидели дядя Петя и тетя Лина Самарины, и другие старшие, и благодушевствовали. –

Паоло внезапно остановился и захохотал: *Voilà, je vois, c'est très agréable de ne rien faire comme vous*¹²⁹. И верно, в Меньпово было как-то особенно естественно и просто ничего не делать и благодушествовать. Всегда в этом занятии находились приятные компаньоны. Дом обыкновенно был битком набит постоянными и временными жильцами, и никогда не возникало сомнений, можно ли и как разместить приезжих. Езды по железной дороге было от 40 мин[ут], до часу от Москвы до станции, по Курской жел[езной] дороге. От станции до Меньшово было 12 верст. Постоянно все лошади были в разгоне, чтобы привозить и увозить гостей, но кроме того приезжие, если не предупреждали, то нанимали лошадей на станции. В последние годы близко от Меньшова прошла еще другая жел[езная] дорога и тогда вопрос сообщений еще упростился. Спали, как Бог пошлет. Иногда, когда бывали съезды, то на маленьких диванчиках, с приставными стульями, калачиком, а то и просто на полу. Никто не жаловался и все бывали довольны.

Одним из летних меньшовских завсегдатаев эти первые годы был Николай Андреевич Кислинский. Сверстник моих старших братьев, он был в студенческие годы необходимым сотрудником Сережи в устройстве шарад, для которых сочинял музыку, и сам же ее исполнял на фортепьяно. По окончании университета он поехал в Петербург и поступил в канцелярию Комитета министров. Он хорошо себя поставил и все сулило ему хорошую карьеру. Музыкальная талантливость также помогала светским успехам. Музыка была у него на втором плане, поскольку не мешала тому, что для него было главным делом, но он любил ее, у него был благородный музыкальный вкус, и мы ему обязаны тем, что он знакомил нас со всем, что было нового и интересного в этой области. Он заставил нас оценить Мусоргского и Бородина и Римского-Корсакова, а кроме того пел и старых классиков. Голоса у него не было никакого, но был слух и музыкальность, и он умел передать суть вещи, которую исполнял. Как часто бывает, попав в дом, где было много женской молодежи, Кислинский влюбился в семью вообще. С начала он был увлечен моей сестрой Лизой, и когда она стала невестой, он трагически исполнял «*Der arme Peter*»¹³⁰. Потом через несколько лет его увлечение перешло на Варю, когда ей было всего 16 лет. У нас были свои, иногда совершенно детские развлечения, и бедняку Кислинскому трудно было поспевать за нами, но он всячески старался, изводился и страдал. Я его звал «Национальный» – сокращение от «наш национальный композитор», и когда он нетерпеливо ждал, когда придут сестры играть в теннис, я кричал: «Идите, Национальный рвет и мечет». Этот зов повторялся много раз в день. Кислинский изводился, когда кто-нибудь или что-нибудь отвлекало от общих развлечений, или Варя уходила. Через два года после нашего отъезда из Калуги, к сестрам приехала их подруга Аня Сьтина, которую Варя считала особенным своим другом. Этот приезд особенно волновал и сердил Кислинского, как отвлечение. Два года в этом возрасте было много. За это время Калуга ушла в какую-то даль, и сестра новыми глазами, с удивленным разочарованием, в котором не хотела признаться, взглянула на свою прежнюю подругу. Все в ней казалось не то, и когда в первый вечер, тотчас после чая сестры встали, увлекая Аньону с собою на верх, и она исчезла в дверях, сделав глубокий плонжон¹³¹ всему обществу, Кислинский безмолвно упал в мои объятия, – он не сомневался, что его соперница потоплена.

Бедная Аня! Ей выпала трагическая судьба. Она сошла с ума, потом поправилась, и однажды со своим братом Володей поехала верхом в лес. Она сидела на кобыле, и когда они проезжали мимо табуна на лугу, из него выскочил жеребец и понесся за нею. Брат растерялся, оба поскакали, Аня была сброшена и при падении была убита.

¹²⁹ Вот! Я вижу: это очень приятно ничего не делать, как вы (*франц.*).

¹³⁰ «*Der arme Peter*» («Бедный Петер») – баллада Р. Шумана на слова Г. Гейне.

¹³¹ От *plongeon* (*франц.*) – книксен.

Близкими соседями нашими по Меньшово были Ершovy. Они жили в прелестной старинной усадьбе – Воробьеве, верстах в 1 1/2 от нас. Большой красный кирпичный дом с белыми колонками был начала XIX века. Через усадьбу проходили войска Наполеона при его походе на Москву. Они не только ничего не тронули, но оставили в усадьбе много старых гравюр, захваченных вероятно в другом месте. Эти гравюры украшали стены Воробьевской усадьбы.

Старуха Варвара Сергеевна Ершова, рожденная кн[яжна] Вяземская, была сверстницей моей бабушки Лопухиной, и звала мою мать и ее сестер уменьшительными именами. Она ходила в допотопном белом чепце-капоре, с лентами, говорила «эфтот», и была бы страшна своей внешностью бабы-яги, если бы не доброе приветливое выражение ее лица.

Моя мать была дружна с ее старшей дочерью Марьей Ивановной Хитрово, которая летом всегда жила в Воробьеве. Ее дети были сын Сергей, студент Казанского университета, принимавший участие в Калуге в нашей оперетке, где он исполнял роль алхимика. Впоследствии он женился на Молоствовой, имел много детей, был одно время главным почт-директором. Ближе к нашей семье была его сестра Маня, приятельница Ольги, веселое и беззаботное существо, всю жизнь остававшаяся такой же, с теми же жантильесами¹³² и кокетливым тоном, которые могли нравиться в 18 лет, и были совершенно несвоевременны в 50 лет, но покрывались большим добродушием. Она вышла замуж за Боби Голицына, математика и исследователя землетрясений, впоследствии академика и директора Экспедиции государственных бумаг. Была еще старая дева, когда-то красивая Вера Ивановна Ершова, недалекое и доброе существо, ревнивая блюстительница всех старых обычаев и традиций Воробьева.

Главным хозяином и центром Воробьева был Владимир Иванович Ершов, живший там со своей семьей. Он был предметом обожания, гордости и преклонения своей матери и всех окружающих.

Он начал свою карьеру лейб-гусаром, был флигель-адъютантом, потом короткое время московским губернским предводителем дворянства, и наконец оренбургским наказным атаманом.

Это был человек, у которого были разные фасады в жизни. В полку его не очень любили. Он имел репутацию скупого и расчетливого человека, который был не прочь давать займы под большие [проценты], что конечно совершенно не вязалось с укладом традиций и размахом лейб-гусарского полка. Я знал только другой его фасад, самый интимный и симпатичный. Он был не только общим любимцем в своей семье, но и мы, исконные соседи и друзья Воробьева все его очень любили, и сам он распускался в полном благодушии деревенской усадебной обстановки. Он любил «шутить», и его шутки были всегда какие-то необыкновенные.

Например, по какому-то случаю в Воробьеве был устроен бал. Владимир Иванович стоворился в городе с тапером, который видел его в гусарском мундире. Тапер приехал в Воробьево рано утром. Владимир Иванович ждал его за кофеем на террасе, и сидел в капоте и шлафоре своей матери, повязав вокруг шеи бантики. Все такие шутки Владимир Иванович проделывал с самым невозмутимым видом, как ни в чем не бывало. Бедный тапер не знал, как ему смотреть, и смущение его увеличилось, когда на террасе появилась Варвара Сергеевна в таком же капоте, чепце и бантами, как и Владимир Иванович. – Последний невозмутимо подошел здороваться с матерью и Варвара Сергеевна в свою очередь совершенно растерялась и приняла достойный вид, а Владимир Иванович наслаждался произведенным впечатлением и как ни в чем не бывало, вел чинный разговор.

Иногда он придумывал сложные и долго длившиеся шутки. Так он рассказал старухе, жившей у них на покое, что в лесу рядом с садом появился святой старец и поселился в шалаше. Старушка собралась к старцу, нашла его и имела долгую беседу на благочестивые темы. Потом условилась прийти к нему на исповедь. В назначенный час она явилась, и начала выкладывать,

¹³² От *Gentillesse* (франц.) – любезность.

что было на душе, как вдруг к ее ужасу, старец сорвал с себя седую бороду, и перед ней предстал... Владимир Иванович. Бедная старуха еле пришла в себя, но потом все простила, потому, что Владимира Ивановича она, как и все домочадцы, обожала.

Владимир Иванович любил ловить летучих мышей, одевал на них что-то вроде фрака, прицеплял картон, на котором писал дату, и отпускал на волю, его занимала, попадет ли вновь та же мышь. Раз он наловил их целую кучу, запихал в большую банку от варенья и подарил в день именин тоже какой-то старухе. Та была растрогана и со слепу, не разобравши, открыла банку. Не трудно себе представить, что пережила бедная старуха, получив в лицо все содержимое банки.

Когда Вл[адимир] И[ванович] стал московским предводителем, то на его именины в Воробьево съезжались друзья и служащие в дворянских учреждениях. Помню Егора Егоровича Серебрянского, которого каждое трехлетие выбирали секретарем Дворянства. Это был типичный корректный старичок, поседевший в канцелярии и сменивший на своем веку много предводителей. Наступает время завтрака, традиционной кулебяки. Серебрянского посадили почему-то рядом с молодой жеманной полькой, графиней Комаровск[ой]. Вдруг лакей приносит огромный поднос, на котором расположены клистирная трубка, кружка, кувшины и все принадлежности, и ставит между Егором Егоровичем и его соседкой. При общем молчании Владимир Иванович кричит через стол: «Егор Егорович, если Вам нужно, попросите графиню поставить Вам клистир. Графиня прекрасно умеет это делать». Бедный Егор Егорович, красный как рак, смеется «шутке», а Варвара Сергеевна, привыкшая к неожиданным выходкам своего любимчика, принимает достойный вид. Я уверен, что большинство своих шуток Вл[адимир] И[ванович] проделывал чтобы увидеть этот достойный вид матери, которая не знала, как иначе реагировать.

Некоторые шутки Вл[адимира]. Ив[ановича] были совсем упрощенные. Например, одно время он приучил маленькую дворовую девочку приходить на террасу, когда приходил кто-нибудь в гости. Гостю предлагалось спросить девочку: «Как тебя зовут...» – Та отвечала, что-то вроде: «Букушка», и со всего размаха давала при этом пощечину, самым серьезным видом. Гость редко ценил соль этой остроты, зато Вл. Ив. получал полное удовольствие.

У Владимира Ивановича была жена Елена Михайловна ([у]рожд[енная] леонтьева) – безответное, кроткое существо, дышавшее мужем. Были и дети – три сына и две дочери. Младший был самый милый – Валериан. Назвал его Вл[адимир] Ив[анович] так, потому, что встретив какого-то приятеля в Петербурге, перед рождением младенца, он сказал ему: «я ожидаю прибавление семейства; если будет сын, я назову его в Вашу честь Валерианом, *parce que vous ne valez rien*¹³³. Все сыновья рано умерли, и теперь остались только дочери. Старшая Маха, замужем за Шателеном. Все Ершовы и старшее и младшее поколение, шепелявили, их разговору искусно подражала моя сестра Ольга.

Владимиру Ивановичу принадлежала другая усадьба, Скобеевка, в пяти верстах от Меньшова. Ее снимали тетя Груша, жившая с Лизой Оболенской. С ними жил старый домашний доктор Оболенских Павел Яковлевич Майор, в то время уже совсем дряхлый старик на покое. Мы ездили к обеду, то в Воробьево, где была крошечная домовая церковь в саду, то в Скобеевку. В обеих церквях служил тот же священник. Гораздо реже бывали в своей приходской церкви в Акулине. Сношения между Скобеевкой и Меньшовым оживились, когда туда приехала Соня Евреинова. Отец ее, Александр Павлович, жил в Харькове, рано овдовел, и не знал хорошенько, как ему распорядиться с тремя детьми. Он был еще молод, красив и легкомыслен, и дети ему скорее мешали. Свою старшую дочь Соною, которой минуло 16 лет, он рад был подкидывать тете Груше, которой приходился племянником по своей матери. Соня только что кончила институт. Она была сверстница моей сестры Лины. Как только я ее увидел, я в

¹³³ Потому что вы ничего не стоите (*франц.*).

нее влюбился. Она представлялась мне верхом красоты, и правда она была очень красива, с огромными синими глазами, смуглая с вьющимися черными волосами. Это был мой первый роман, какой может быть у мальчика между 14–18 годами. Я никогда не решился признаться в своей любви, хотя мне этого очень хотелось и Соня этого добивалась из кокетства и для забавы, потому что сама она была уже барышня, а я еще безнадежный мальчишка гимназист, и никаких чувств с ее стороны не могло быть, кроме веселой *самадерие*¹³⁴. А веселились мы очень, и притом весьма не сложными развлечениями, в прогулках, катаниях на лодке, всяких шалостях. Когда нечего было делать, то она просто делала глазки, расширяла свои огромные зрачки. Я ей говорил: «Пятачок», Соня была хохотунья; я показывал ей палец, и она не могла удержаться от смеха. Старшие с сожалением и вздохами смотрели на такое времяпрепровождение, но нам от этого не было скучнее. Я был готов в огонь и воду ради Сони, и когда ее не было, предавался сладким мечтам. Так длилось несколько лет, пока я не поступил в университет. В этом году Соня вышла замуж в Харькове за Бантыша, а у меня появились новые интересы, отеснившие воспоминание о первой любви.

Весело и беззаботно проходила юность, и с каждым годом как-то веселее и полнее была ключом жизнь. Два старших класса гимназии были для меня переломные, в том отношении, что я все-таки сравнительно созрел и более сознательно стал ко всему относиться. Страх перед мамá у меня прошел совершенно, и то, что я любил больше всего, это было поздно вечером, когда она ложилась спать за своими занавесками, расположиться у нее в комнате на кушетке, и начинать бесконечные разговоры обо всем и обо всех. И было так приятно, как-то немножко по-равному разговаривать с мамá, и болтать всякий вздор, на который она добродушно смеялась. Я любил, когда она расчесывала свои длинные серебряные волосы на ночь. У мамá была такая молодая душа, что с нами молодыми она говорила нисколько не прилаживаясь и разделяя все наши интересы, становясь на нашу точку зрения. Я видел это и потом, какое наслаждение для подрастающих детей, когда они могут по-товарищески говорить с родителями. Этого нельзя делать искусственно, нельзя прилаживаться, потому что тогда ничего не выходит. Это может выходить только само собой, и требует чуткости. И такая фамильярность, а иногда нежная грубость, делали мамá такой близкой нам. Мне трудно передать, как мы ее любили, и как ни разу мысль не останавливалась на возможности, что когда-нибудь ее не будет и мы останемся без нее. В молодости, счастливой молодости такие мысли вообще не приходят и не омрачают светлой радости жизни. Когда мамá нам про это говорила, мы считали, что она говорит «жалкие слова» и бросались скорее целовать ее, чтобы прогнать подальше такие тени. Эти отношения с мамá и ночные разговоры длились до конца ее жизни, никогда не утрачивая своей прелести. Когда я вспоминаю мамá, мне больше всего припоминаются эти часы, и распущенные серебряные волосы, которые она расчесывает черепаховой гребенкой, в длинной ночной сорочке, и вся она белая, чистая, лучезарная...

В гимназии у меня также пошло дело иначе. Надо сказать, что Шварц был на редкость просвещенный и культурный человек. Он умел привлекать в 5-ю гимназию лучших преподавателей. У него был престиж старого профессора университета, и всем было лестно получить от него приглашение сотрудничать. В числе талантливых преподавателей, которые умели заинтересовать и даже порою увлечь своих учеников был Сергей Григорьевич Смирнов, преподававший историю русской литературы. Особенно интересно он умел поставить писание сочинений и разбор их в классе. Молодой талантливый учитель греческого языка, рано погибший от чахотки Владимир Германович Аппельрот, сумел раскрыть нам прелесть древней греческой поэзии. Я до сих пор помню наизусть некоторые сапфические оды и анакреонтические стихотворения. Он читал с нами Эдипа-Царя¹⁷⁷, и даже это произведение было поставлено 5-й гим-

¹³⁴ Приятельства, товарищества (*франц.*).

назией, совместно с ученицами гимназии Фишер¹³⁵. Космографию увлекательно преподавал проф[ессор] университета Болеслав Корнелиевич Млодзиевский, очень милый и умный человек, которого я встречал много лет спустя у Н. В. Давыдова. Но самые интересные уроки, какие мне вообще когда-либо пришлось иметь – это были уроки самого Шварца. Он был нашим классным наставником, когда я был в 8-м классе, и разделил преподавание латинского языка на две части – поэзию и прозу. Первую (оды Горация) он поручил не помню кому – основателю, но мало талантливому к сожалению преподавателю – педанту, а сам читал с нами Тита ливия. Никогда, ни до этого, ни после, в университете, мне не пришлось слушать ничего более интересного. Здесь разворачивались все блестящее разностороннее образование Шварца, его тонкий литературный вкус и просвещенное педагогическое чутье. Мы чувствовали, что он уже не смотрит на нас, как на маленьких мальчиков, что мы для него юноши накануне зрелости, на перепутье, перед тем, чтобы выбрать свой жизненный путь. Из «Грозы» он превратился в просвещенного руководителя с огромным внутренним авторитетом. Тит ливий давал ему повод делать сопоставления исторические, филологические и литературные в масштабе мировой истории и словесности. Попутно он затрагивал самые общие и животрепещущие темы. И все это было не на фуфу, а делалось знатоком классического языка и древностей. В результате, уроки Шварца повлияли на меня в выборе филологического факультета, и дали вкус к классической древности и языкам, который я и теперь чувствую, хотя к сожалению мало поддерживаю практикой. На всю жизнь я сохранил благодарную память Александру Николаевичу Шварцу.

В начале осени, когда наши заживались в Меньшове, или весной, когда они туда переезжали, а мне приходилось жить в городе, я поселялся либо у Капнистов, либо у одного из братьев. Дважды я провел по месяцу, если не больше, у моего старшего брата Пети. Он был тогда еще московским уездным предводителем дворянства и жил на Знаменке, в огромном доме Бутурлиных. Он был весь в общественных интересах дворянских и земских. Для меня это была атмосфера совсем новая и интересная. У него бывали его приятели и сослуживцы. В это время, чуть ли не каждый день, бывал молодой Георгий Львов (впоследствии известный земский деятель и глава печальной памяти Временного правительства), у которого было много шарма. Он служил тогда земским начальником в Московском уезде. Дети были еще совсем маленькие. Я любил ходить к ним играть в их просторные детские. Была одна игра, которая очень нравилась их толстой добродушной няне. Я прятал каждого из детей в его кровать, уверяя, что один другого ищет, и по очереди, когда «опасность миновала», из кровати выскакивал то Володя, то Соня или Люба, потом опять прятались, и так с большими волнениями они долго играли в прятки, а няне было спокойно. Она находила это развлечение гениальным.

Живал я также у брата Сережи, и пребывание у него имело большое влияние на общее мое развитие и направление моих интересов.

В начале 1890 года он выпустил первый свой большой труд: «Метафизика в древней Греции» – печатание этого труда было большим семейным событием. Корректуры держала мамá. Ее способность всецело отдаваться увлечению данной минуты сказалось тут со всей силой. Мамá прямо жила этой книгой, впивала в себя каждую страницу. Это были поистине какие-то духовные роды. Вся ее жизнь была полна этим, и когда работа кончилась, для нее было тяжелым переживанием оторваться от интереса, который всецело захватил ее.

Теперь уже 36 лет прошло с того времени, как вышла эта книга. И как давно уже нет в живых тех, кто близко принимали к сердцу ее появление. И я, тогда едва начинавший мыслить птенец, остаюсь теперь один из последних, и переживая прошлое, измеряю пройденную жизнь и думаю о том недалеком свидании, которое воскресит для меня этих близких.

Во внутреннем росте Сережи «Метафизика в Древней Греции» обозначила пору духовной возмужалости. Когда его знаешь так близко и хорошо, как мне кажется я его знал, то в

¹³⁵ Видимо, имеется в виду трагедия древнегреческого драматурга Софокла.

этой книге проступает весь он как живой, и обидно, что другие не могут увидеть его таким же живым, и что для них это просто книга, а не то живое, в чем мне светится его душа.

Прежде всего «Метафизика» – серьезная научная работа, потребовавшая большого пристального труда. Все что могло дать тщательное самостоятельное изучение текстов, археологических изысканий, последних трудов ученых-историков и философов, – все это легло в основание его работы, в которой он был вооружен трезвым критическим чутьем и полной самостоятельностью суждения.

Объективности и добросовестности последователя нисколько не противоречило определенное и целостное мирозерцание, которым он был проникнут и которого он не скрывал, как свой Standpunkt¹³⁶, как основной критерий жизнепонимания, применяя его и в данном случае. Молодая честность мысли побуждала его даже с самого начала выложить основы того мирозерцания, которое легло в основу его исследования. Технически – это было недостатком молодости, ибо нельзя на протяжении менее 50-ти страниц введения обосновать свой философский подход к избранной теме, но для меня, которому сквозь призму книги дороже всего живой человек, этот недостаток понятен и дорог, как выражение крайней искренности. Если Бог даст мне силы и времени, и у меня будут материалы под рукой, я бы мечтал попробовать дать характеристику общего религиозно-философского стимула жизненной задачи обоих братьев. Конечно для этого нужно было бы иметь общее философское образование, которого у меня нет. Зато я чувствую ту внутреннюю близость к ним, которую не имеют другие и которую не могут заменить другие методы постижения.

Самый выбор предмета для своего первого большого труда, в качестве магистерской диссертации, был сделан Сережей далеко не случайно. В греческой философии был для него ключ для основных проблем философии, религии и истории человечества. Он изучал ее как своего рода Ветхий Завет христианского откровения и придавал особое значение оценке Св. Иустина мученика, который называл Сократа и Платона христианами до христианства. Изучить все, что могло дать человеку естественное откровение, все до чего могла дойти вершина самой совершенной языческой культуры и гениальной человеческой мысли и прозрения, предоставленная себе самой, показать, какое место в истории заняли эти искания и достижения, как с высшей логической необходимостью они должны были предшествовать пришествию Спасителя – все эти стимулы налицо, в этой книге, хотя и не все высказаны. Но та же красная нить проходит через следующий труд Сережи, появившийся через 10 лет после первого – «Учение о логосе в его истории». Вместе с тем греческая философия в своем примитивном цикле завершила весь повторяющийся круг человеческого мышления, выдвинула все вековечные проблемы философии, материализма, скептицизма, нигилизма, идеализма, мистицизма и наконец эклектиков. Эти проблемы варьируются, углубляются, развиваются в новые акты драмы человеческой мысли, но вечно повторяются в своей основе, отвечая неизменным стимулам человеческой души и природы, и потому для основательного философского образования – древняя философия представляет незаменимое опытное поле, в то же время, как и необходимый исторически первоисточник.

Вместе с тем все эти философские системы только условно получают клички отвлеченной терминологии. Каждая из них воплощает жизненную драму своего творца, у нее есть свои плоть и кровь, и задача историка воссоздать художественный ее образ. Это отвечало всем запросам и таланту Сережи, и высшего достижения достигло в духовном образе Сократа, который является вообще гениальной синтетической фигурой древней философии.

Припоминая свою юность, я могу сказать, какое глубокое поворотное влияние в моем внутреннем духовном и нравственном развитии имел облик Сократа. Может быть ни одна книга в жизни не оказала на меня такого влияния, как книга Alfrède Fouillée: La philosophie de

¹³⁶ Точка зрения (нем.).

Socrate¹³⁷, которую дал мне прочесть Сережа. Он сам очень высоко ценил ее. Я хотел бы проверить свое впечатление: отвечала ли эта книга тогдашним общим моим настроениям, или она действительно является таким прекрасным возбудителем духовных и философских запросов для пробуждающегося юношеского мышления.

В моем дневнике того времени подробно записаны были все перипетии диспута Сережи. К сожалению дневник этот, как и другие бумаги, оставался в шкапу в Васильевском, и конечно погиб во время пожара. Мне не жаль самих дневников, но жаль некоторых страниц, как те, на которых я заносил, стараясь быть точным, то, чему был свидетель. Помню успех диспута, слабые, как мне казалось, возражения оппонентов, что и не мудрено, ибо трудно, особенно в России найти двух специалистов по одному и тому же предмету, и часто оппоненты мучаются необходимостью найти серьезные возражения в вопросе, к которому мало подготовлены. Помню также трогательное волнение брата Жени, который интенсивно переживал за Сережу все подробности диспута.

Если не ошибаюсь, осенью 1890 года Сережа с семьей уехал в Берлин и там провел всю зиму. Эта зима была полна для него самого живого интереса. В это время были еще живы и процветали такие столпы науки, как Курциус, Момсен¹³⁸, Диль. Сереже удалось не только познакомиться с ними, но и войти и сблизиться с этим обществом. Иногда он слушал их лекции. Всего более заинтересовало его знакомство с Гарником. Интересы его всецело разделяла Паша, которая знакомилась с женами ученых и профессоров, которые впрочем были далеко не так интересны, как их мужья. От того времени сохранились интереснейшие ее письма, и более редкие письма Сережи. В Берлине он со свойственной ему чуткостью вдыхал в себя атмосферу западной науки и просвещения, проверял свои прежние выводы, сохраняя вполне независимую оценку новых впечатлений. Поездка в Берлин была для него как бы завершением духовной и культурной возмужалости.

А я тем временем приближался к тому значительному перелому, который отделяет юность от отрочества, когда кончаются расчеты с гимназией и вступаешь в университет. Я ждал, не дождался этого дня, и мне иногда казалось, что я никогда не в состоянии буду осилить экзаменов зрелости. На самом деле они сошли довольно благополучно, и на русском сочинении я даже блеснул многочисленными цитатами на память на всех языках, которые я держал про себя на всякий случай. – Сколько удовольствия доставляет студенческая фуражка и китель, которыми спешили обзавестись! В это время наша няня умирала от рака в Павловской больнице. Она исхудала, пожелтела, изменилась от тяжелой неизлечимой болезни. Чувствовалось, что дни ее сочтены; она счастлива была увидеть меня студентом! «Гришенька, держи себя почище» – было ее последнее наставление. Она скончалась, кажется в июне и похоронена была в Даниловом монастыре, недалеко от Павловской больницы. На могиле ее сделали надпись: «Няня семьи Трубецких». Она всегда гордилась этим званием. С ней вместе отрывался целый период жизни, период счастливого детства, но и то, что наступало, манило вперед ожиданиями и надеждами.

¹³⁷ Альфред Фуйе «Философия Сократа» (франц.).

¹³⁸ Имеется в виду Теодор Моммзен.

Московский университет (1892–1896 годы)

Я поступил в университет осенью 1892 года. Вспоминая свои первые университетские впечатления, я переживаю то обаяние, которое имело для только что испеченного студента то огромное и таинственное учреждение, членом и песчинкой в коем я себя чувствовал. Университет казался действительно храмом науки, и я проникал в него, как какое-то святилище.

Вместе с тем, я, как и мои товарищи, имел самое слабое представление о том, что в действительности представляет из себя университет. Выбор факультета определялся для огромного большинства самыми общими и смутными представлениями. Я не имел какого-нибудь исключительного интереса к той или другой отрасли знания. Может быть я мог бы глубже заинтересоваться философией, под влиянием старших братьев, но с другой стороны меня удерживала и реакция против следования их примеру – желание самому пробить свой путь. Философия представляла для меня интерес не как самодовлеющая цель, а как прожектор, который должен осветить мне жизненный путь и помочь в нем разобраться. Шварц разбудил во мне вкус к древности; с другой стороны, по совету и указаниям моего бо-фрера Ф. Д. Самарина, я прочел некоторые серьезные книги по русской истории и делал выписки.

В университете в начале меня потянуло ко всему зараз, и ни к чему в особенности. Я слушал с увлечением лекции милого старого приват-доцента Степ[ана] Фед[оровича] Фортунатова, который всегда увлекал первокурсников. Он читал историю конституции Сев[е]ро-Америк[анских] Штатов, закрывал глаза и пел как соловей про историю самого свободного государства и народа. В то время, к этому примешивалась прелесть впервые вкушаемого запретного плода. Научной ценности эти лекции разумеется не представляли. Это был так сказать десерт, но в юности десерт ценится больше питательной пищи.

Греческую историю читал Павел Гаврилович Виноградов. Наружно он был фатоват, у него была пошловатая самодовольность в голосе, он отдавал некоторую дань либеральной популярности, но несмотря на все это он был настоящий большой и талантливый ученый. Лекции его были прекрасны, но самой поучительной частью его преподавания был семинарий по древней истории. Одним из первых рефератов, на котором мне пришлось присутствовать, имел своим предметом разбор недавно открытого нового произведения Аристотеля «Государство афинян». Референтом был студент IV курса, известный всему университету Васенька Маклаков. Диспут его с Виноградовым производил блестящее впечатление. Видно было, что он основательно изучил вопрос, и талантливо защищал свою точку зрения. Я также взялся написать реферат по какому-то вопросу Гомеровского эпоса, но еще слишком близок был к гимназии и гимназическим требованиям и меркам, и для меня этот реферат имел только то значение, что когда я его написал, то сам воочию увидел свою несостоятельность, и устыдился своего произведения.

Римскую историю читал старый профессор Владимир Иванович Герье. С большой окладистой бородой, степенной профессорской важностью, он был человеком старого поколения, сверстником Б. Н. Чичерина, хранил традиции Московского университета, преемственную связь Грановского, Станкевича. Он читал скучным монотонным голосом, никогда не гонялся за эффектами, был основательным и почтенным педагогом; я лично чувствую себя обязанным ему больше, чем кому-либо из других университетских преподавателей. Он заставлял работать студентов. Если в его лекциях было мало игры, зато все курсы, которые мне пришлось у него прослушать (римская история, история Возрождения, Французская революция) были основательно и серьезно составлены, изложение его было всегда стройным и продуманным. Кроме того он заставлял студентов проделывать серьезную научную работу над первоисточниками, применяя все методы исторической критики. Эти принудительные занятия могли казаться стеснительными для немногих, посвятивших себя уже с первого курса специальному научному

интересу, но для рядовых студентов с ленцой они были в высшей степени полезны. Герье воспитывал в студентах навыки критического исследования, обучал их научным приемам, требуя всестороннего изучения текста и основательной добросовестной работы. Эти методы нужны были не только одним будущим ученым. Сколько раз, впоследствии, на службе, когда мне приходилось изучать какое-нибудь дело с целым ворохом документов, я о благодарности поминал Герье, который учил, как надо разбираться в документах, чтобы по ним доискаться до сути дела, освобождая ее от тенденция, ее затемняющих. Герье был строг и требователен и мы не очень любили приглашения вечером к нему на квартиру для чтения рефератов. Он угощал нас чаем и предлагал лимон: «хотите лимона...» – таким скрипучим голосом, в котором чувствовались капли лимонного сока. Мы его боялись, но вместе с тем он пользовался общим уважением среди профессоров и студентов, и чувствовалось, как вся жизнь и все интересы этого почтенного старика сосредоточены в дорогом для него Московском университете.

Самым блестящим лектором и ученым был, конечно, Василий Осипович Ключевский. Прежде всего это был совершенно замечательный художник и актер. Его аудитория была всегда полна до отказа, и нужно было заранее пробраться, чтобы заручиться местом. Всегда много народа стояло. Существовало литографированное издание его лекций, но сам Ключевский не признавал его, и только в самые последние годы своей жизни выпустил в свет печатное издание, над которым много и тщательно работал. Эти лекции дают результаты его многолетней работы по русской истории. По ним можно судить, каким крупным ученым был Ключевский, скольким обязана ему русская история, каким критическим чутьем и каким художественным талантом он обладал. Но чтение его лекций совершенно не может восполнить читателю впечатление, которое производило его живое слово. Из года в год, когда он делал свои характеристики, он повторял те же словечки, совершенно так же их произносил, и всякий раз получалось впечатление великого художника-актера. Его манера говорить, его мимика были непередаваемы; он создавал живые образы, воскрешал быт, иногда воспроизводил целые сцены в лицах. История буквально жила в его изображении. Никогда и ни у кого мне не пришлось видеть и слышать ничего подобного по художественному мастерству воспроизведения прошлого. Сам он напоминал старого дьяка, поседевшего в Московском приказе. Как сейчас вижу его перед собой, невысокого сухенького старичка с седой козлиной бородкой, в золотых очках, спешной сгорбленной походкой пробирающегося в аудиторию. Он не поднимался на кафедру, а становился рядом с ней. Ему как будто нужно было откуда-то выглядывать, пока он говорил. Перед тем, чтобы пустить словечко, его голубые глазки щурились и загорались лукавым огоньком. Говорил он немного глухим сдавленным голосом с духовным говором, немного на «о». Язык его был – языком русского книжника. В нем слышались и летописи и древние грамоты и житие святых, и разговор московских площадей. Лекции Ключевского доставляли высокое и незабываемое художественное наслаждение. Талант бил из него ключом. Вместе с тем то, что казалось внезапным и блестящим экспромтом, было вырабатываемо годами. Долгая кропотливая работа предшествовала этому художественному завершению.

Мне пришлось, как студенту, иметь личное общение с Ключевским. Я избрал темой своего кандидатского сочинения историю положения 19 февраля 1861 года об освобождении крестьян от крепостного права. До этого мне пришлось составить несколько предварительных рефератов по изучению положения о государственных крестьянах, выработанного гр[афом] Киселевым^[78]. Всякий раз, как я передавал свои работы Ключевскому на его отзыв, это давало ему повод сыпать блеском самых интересных и тонких мыслей и замечаний. Это был настоящий фейерверк, который меня ошарашивал. Этот живой и вдохновенный ключ бил щедро и неудержимо, но была и обратная сторона медали. Профессор увлекался своими мыслями и забывал выслушивать ученика. Я приходил с обоими вопросами и уходил обыкновенно так и не имев случая и возможности поставить их. Поэтому Ключевский влиял на своих учеников, но не воспитывал их, и ученики только самостоятельно могли докопаться до его методов.

Был еще один редко одаренный профессор на нашем факультете – Федор Евгеньевич Корш. Его специальностью были древние языки. На первом курсе он вел семинарий по латинскому языку. Для зачета семестра надо было представить перевод небольшого рассказа на латинский язык. Совместно с Николаем Гагариным мы взяли какую-то не то народную сказку, не то басню, и представили наш перевод. Мы не перевели, а, что называется, переперли слово за словом текст, но Коршу это давало повод, в течение двух месяцев прочесть ряд блестящих лекций, разбирая каждое слово, сопоставляя два быта, два фольклора – древнерусский и римский. В числе выражений было: «не все коту масленница, придет и Великий пост». Корш пригласил старого профессора Иванова, знатока римских древностей и вместе с ним советовался каким бытовым понятием у римлян могли бы соответствовать наши масленница и Великий пост. От нашего перевода разумеется ничего не осталось, и Корш прозвал нас латинскими мадам Курдюковыми^[79].

Впоследствии мне пришлось ближе познакомиться с Ф. Е. Коршем. Это был человек исключительных дарований и непомерной лени. Он впитал в себя культуру классическую и всяческую, и был духовным сибаритом. Его забавляло проделывать такие фокусы, как например, переводить отрывки из «Евгения Онегина» на древнегреческий язык, или переводить греческие стихи на древнеперсидский язык. Все это он делал шутя, для удовольствия, он был тончайший филолог, но он совершенно не способен был приложить усилий на большой и серьезный труд. В жизни он был необыкновенно приятный, милый и остроумный собеседник, и большой скептик. Наружность его не обличала ученого, сизый нос указывал на вкусы ничего общего с наукой не имевшие. Но он был хороший благородный человек, не способный ни на что мелкое и прожил, как прожило столько талантливых русских людей благодушно погружаясь в быт, представлявший такую опасность засасывания для чистых сердцем, но слабовольных людей.

В период моего студенчества в университете, начинала восходить звезда моего брата Сергея. Он читал лекции по истории древней философии, а кроме того по Ветхому Завету, приблизительно в том порядке и по тому замыслу, который лег впоследствии в основу его книги о логосе. Лекции эти пробуждали религиозный и философский интерес среди молодежи и привлекали довольно большое количество слушателей, если принять во внимание, что курс был необязательный и требовал довольно высокого уровня развития. – Кроме того он стал во главе студенческого общества, ставившего себе задачей разработку научных тем по самым различным отраслям знания – религии, философии, истории, права, экономических наук. К руководству отделами были привлечены наиболее живые и талантливые профессора. Начинание это вызвало самый живой отклик среди молодежи, как что-то новое, свежее, построенное на личном общении профессоров и студентов, вне формальных рамок. Чуткая отзывчивая и светлая фигура моего брата делала его естественным руководителем молодежи, в которой он умел пробуждать лучшие благородные чувства, и увлечь за собой в чистый мир духовных исканий.

В числе руководителей отделов студенческого общества состоял одно время приват-доцент Милюков. В течение года он заменял по кафедре русской истории Ключевского, командированного читать лекции великому князю Георгию Александровичу, который заболел чахоткой и проводил зиму в Аббас-Тумане, где и скончался. Милюков был популярен, как левый. Мне пришлось однажды в связи с работой, которую я вел, по истории освобождения крестьян, пойти к нему на квартиру вечером. На мой звонок дверь отворил сам Милюков, имевший немного смущенный вид. Он попросил меня обождать в передней и прошел в соседнюю комнату, где с моим входом как будто притихло находившееся там общество. – «Не беспокойтесь, это не жандармы, а студент», – объявил Милюков, и раздался общий смех, очевидно не вполне спокойно почувствовавшего себя собрания. Помню, что Милюков по поводу моей работы сделал, между прочим, мне намек, которого я тогда не понял, что вся оценка может быть иная, если подходить с иным пониманием титула собственности, но он не настаивал,

увидя мое недоумение. Он конечно имел в виду новое только что начинавшее нелегальными путями проникать в Россию течение марксизма. Вскоре, не помню уже в связи с какой историей, его выслали из Москвы в Рязань. Этого было достаточно, чтобы создать ему популярность, и в Рязань потянулось паломничество. Оппозиционное настроение только начиналось тогда, в связи с голодным годом и работой общественных организаций в деревне в 1892 году.

У меня осталось воспоминание о Милюкове, как о второстепенном ученом и лекторе. Слишком невыгодно было для него сопоставление с Ключевским. Самостоятельных вкладов в изучение русской истории он не внес. Его мысли были вообще подражательны, и книга его по истории русской культуры в значительной степени заимствована из лекций того же Ключевского по русской историографии. Только оценка окрашена плоским позитивизмом, которого не было в изложении Ключевского. Покойный М. С. Соловьев называл Милюкова «Смердюковым русской истории». Это может быть слишком сурово было бы для общей его характеристики, ибо Милюков обнаруживал не раз подлинный патриотизм и другие не Смердюковские черты. Мне кажется, Милюков ведет свое происхождение от Базарова, здорового разночинца-нигилиста с аппетитом жизни. Он плотью и кровью демократ, требующий своего места на солнце, и считающий пережитком дворянскую культуру, романтизм старого быта, а заодно и религию. К этому присоединяется доктринерство самодовольного позитивиста и темперамент и задор матерого волка, зубами привыкшего прочищать себе путь. Таков Милюков. Ключевский был человеком совсем другого склада, не боевая и не сильная волей натура, но гораздо тоньше и богаче одаренная. Он также был в значительной степени позитивистом, но на его счастье художник и русский человек в нем был часто сильнее позитивиста, и он органически не мог свести всю историю к счетной книжке. Ключевский был соткан из противоречий. Он был позитивистом не нарочно. Духовный скептицизм сидел в нем вроде какого-то внутреннего рака, подтачивавшего цельность его натуры и ослаблявшего ее продуктивность. Рядом с этим у него было другое восприятие, которое влекло его в совершенно другую сторону: он чувствовал красоту православия и созданного им быта. Был ли он верующий или нет – трудно сказать, чужая душа потемки. Я думаю, он принадлежал к тем, кто мог говорить: «Верую Господи, помоги моему неверию». Речь его о Преп[одобном] Сергии написана человеком, которому Господь помог в его неверии. Он ходил в Храм Спасителя, преподавал в Духовной академии. Вместе с тем никогда не забуду одного спора его с моим братом Сергеем.

Мой брат, будучи глубоко религиозным человеком, отстаивал возможность объективного научного исследования в истории Ветхого и Нового Завета. Ключевский, предпослав все типичные для него оговорки – крючки, что он не затрагивает область веры, высказывал мнение, что факты веры не могут входить в область научного изучения. На самом деле чувствовалось, что его мысль идет дальше, и что он считает, что есть столкновение между верой и наукой. «Какая может быть наука в присутствии утверждения верой факта Воскресения Христова...»

Во время этого спора присутствовал другой историк – позитивист Михаил Сергеевич Корелин, который наслаждался словесной дуэлью. «Разве вы не чувствуете, что он ни во что не верит...» – шепнул он моей бель-сёр про Ключевского. – Теперь, когда из свидетелей и участников спора остался только я в живых, я не примкну к заключению Корелина. Ключевский остается для меня человеком с внутренне-раздвоенной душой, и я думаю, что этот моральный недуг отразился на его жизни и творчестве. Он мог бы по своим исключительным дарованиям дать неизмеримо больше того, что дал. При всем уважении и благодарной памяти к нему, я все-таки скажу, что он был из тех, про кого можно сказать, что «он был сам себе по колено». Примеры таких русских людей, к сожалению, не редки.

Раз я упомянул Корелина, то скажу и о нем несколько слов. Он был профессором всеобщей истории, написал диссертацию о Возрождении. Он был не очень даровит, но был прекрасный человек, честный, горячий, убежденный, один из тех, для кого Московский университет

были святынями, и который своим личным примером поддерживал чистый дух уважения к этим святыням среди молодежи. Он рано умер, вызвав всеобщее сочувствие и сожаление. Я помню, как он возмущался, когда однажды, на его семинарии по средневековой истории, я доказывал возможность использовать исторические материалы для диаметрально противоположных выводов.

Я ничего не говорю здесь о других профессорах, с которыми приходилось иметь дело больше на экзаменах, чем в течение учебного года. На другие факультеты я не ходил, но один год усердно посещал курс лекций проф[ессора] Тимирязева в Политехническом музее, если память мне не изменяет, о физиологии растений. Он прекрасно читал и у него всегда была полная аудитория. Он умел сочетать научную содержательность с доступностью изложения.

В общем, университет мне много дал, в смысле общего развития, расширения горизонтов и навыков к приемам научной критики. Ученого из меня не вышло, я слишком разбрасывался в своих интересах и от гимназии унаследовал и не отделался от привычек верхоглядства и недостатка дисциплины в работе. Всю жизнь я сознавал эти недостатки средней школы. От них не излечил меня университет, но у меня сохранилось о нем гораздо более приятное и благодарное воспоминание, чем о гимназии. Бывало учение в гимназии казалось бесконечным и я не раз спрашивал себя неужели когда-нибудь я одолею экзамен зрелости и кончится это мучение. В университете было совершенно наоборот. Хотелось задержать время, было жаль думать, что годы проходят, чувствовалось, что потом, когда что-то придется начинать новое, будет разрыв с этим счастливым неповторимым периодом жизни.

Университетские интересы охватывали, конечно, только часть содержания общей жизни за студенческие годы. Появились новые друзья и знакомства. Но прежде всего несколько слов о внешних условиях нашей жизни для молодежи, выросшей в условиях беженства.

Мои родители, и мы, дети, считали, что у нас очень скромные средства, и это было так, в сравнении со многими семьями, нам близкими, Гагариными, Щербатовыми, Самаринскими, и другими. Мой отец был плохой хозяин, и не преумножил, но значительно уменьшил свое состояние, и вследствие непрактичности, и помогая разорившемуся брату.

С детства нас приучили к большой простоте и умеренности, поэтому мы умели ценить каждое скромное удовольствие. С 16 лет мне стали давать 3 рубля в месяц, а студентом я получал всего 10 рублей, хотя сейчас по беженским расчетам это показалось бы еще не так плохо.

Рядом с этим, мы жили в скромной по тогдашнему мерилу, но отличной квартире; у меня, студента, была и маленькая спальня, и кабинет. У нас были 3 пары лошадей, два кучера, большой штат прислуги, два лакея, повар для нас, кухарка для прислуги; из имения в Пензенской губ[ернии], которое не приносило, а уносило, ибо доход клал себе в карман управляющий, мы получали всякую живность, индеек, гусей, кур, что считалось принадлежностью самого скромного ежедневного стола с обедом из 4-х блюд. Все относительно на белом свете, и то, что до войны казалось минимумом, то показалось бы теперь, в беженстве, неслыханной роскошью, например, скромный ужин по вторникам после винта: осетрина, рябчики и пирожное человек на 80, и все в таком роде...

Одновременно со мною на филологический факультет поступил Николай Гагарин. Мои сестры уже раньше сблизились с его сестрами и бывали друг у друга. В голодный 1892-й год устраивались вечера, во время коих московские девицы шили и вязали всякие носильные вещи для голодающих. Гагарины достали на фасон рубашку и штаны у жены городского, стоявшего у них на перекрестке, но я помню, что почему-то сшитые ими штаны имели вид пирамиды, что вызывало немало шуток. Сомнительно, чтобы голодающие получили существенную помощь от этих *soirées de couture*¹³⁹, на которые допускались и молодые люди для содействия в этом

¹³⁹ «Швейных вечеров» (франц.).

добром деле. Я изредка только встречался с Николаем до совместного поступления в университет, которое нас сразу сблизило. Способствовало этому и наше близкое соседство. Мы жили на Кудринской ул[ицы], а от Кудринской площади начинался Новинский бульвар, где жили Гагарины в своем чудном старинном доме.

Николай был единственный сын, наследник и продолжатель Гагаринского рода, – любимец, надежда и гордость семьи, предмет обожания своих родителей, сестер и теток. Он рос избалованный отношением всей своей семьи и в привычках большой роскоши. В эту пору он был необыкновенно живой, жизнерадостный, впечатлительный и с повышенной нервной отзывчивостью на все юноша. Толстый, бородатый с 15-летнего возраста, он поражал солидностью своей внешности и несолидностью обращения: он прыгал и носился, как теленок, задравший хвост, с раскатами смеха, которые потрясали всю его корпуленцию. Первый раз что я его увидел – это было на балу взрослых и подростков у них дома. Он был в черном сюртуке со своей бородой, ему было всего 15 лет, те кто этого не знали, находили «невозможным этого господина», только младенческие глаза выдавали его возраст.

Чудный дом Гагариных был полон прекрасных старинных картин и произведений искусства. Это собиралось поколениями и представляло традицию утонченной аристократической изнеженной культуры.

Отец Николая князь Виктор Николаевич, воспитанный большей частью за границей, отбыв службу в Кавалергардском полку, женился на дочери тогдашнего нашего посла в Париже барона Будберга, вышел в отставку и жил уединенной жизнью, довольствуясь обществом и дружбой немногих друзей детства, из которых самым большим был, кажется, отец моей жены, – дедушка Бутенев, «L'excellent Costi»¹⁴⁰ и «добрый Виктор» так они говорили друг про друга. Виктор Николаевич жил замкнутой семейной жизнью, отдаваясь главным образом художественным интересам^[80], и проводя время между за границей и Россией, где у него было два очаровательных и великолепных дома в Москве на Новинском, и в подмосковном поместье – в Никольском. Жил он с самыми скромными личными потребностями и барским размахом в то же время. Он был нелюдим, очень застенчив, отвык от общества, и нелегко возобновил знакомства и приемы, когда подросли дети и надо было вывозить дочерей в свет. В нем была смесь эгоизма и горячей сердечности, тяжелого деспотического и подозрительного характера с самой милой и веселой приветливостью и личным шармом. А в общем он был прелестный человек, которого нельзя было не любить. От своих наследственных семейных недостатков, перешедших и к последующим поколениям, он больше всего страдал сам, так же как впоследствии его потомство. Казалось, все было дано Гагариным для приятной счастливой и безмятежной жизни, но часто своим тяжелым характером они портили собственное свое благополучие. К семейным чертам их характера надо еще прибавить болезненно повышенную восприимчивость к мелочам, из которых сотканы отношения между людьми. Они способны были возненавидеть человека, который «не так» держит вилку, или чем-нибудь смешен, или обнаружил какой-нибудь мелочный недостаток. Такой человек погибал в их глазах. Рядом с этим они могли внезапно и совершенно неизвестно почему, незаслуженно увлекаться и превозносить до небес кого-нибудь. Очень часто этот фаворит терял свое обаяние и с таким же преувеличением за ним начинали отрицать малейшие качества и достоинства. «О-о-о-о» подвывали Гагарочки, сестры Николая, приступая к характеристикам, в которых никогда не хватало никаких превосходных степеней для выражения их чувств, или предполагаемых чувств их собеседников.

Кн[ягиня] Марья Андреевна маленькая, толстая, с тонким длинным носом и мелкими чертами лица – была совсем другого уклада. Она жила всю свою жизнь за границей; родным языком ее был французский, на котором она умела писать так, как писали люди старого поколения. Она по вкусам и привычкам была светская дама, любила общество. Она была наблю-

¹⁴⁰ Превосходный Костя (франц.).

дательна и подмечала маленькие смешные стороны людей, что так часто бывает у светских людей, привыкших каждому человеку ставить мысленно его пробу, по тому, как он вошел, сел, поклонился. Вместе с тем она была добрейшее существо, вся отдававшаяся любви к своему мужу, Николаю и дочерям.

Мари и Софи были погодки, сверстницы моих сестер, Лина была младшая в семье, года на 4 их моложе. Мари была воплощением пылкого сердца. Она ни к чему не относилась равнодушно, все преувеличивала, но это было прелестное, чистое любящее существо, созданное для семейного счастья, которого ей не было послано в жизни. Она не была красива, но привлекательна с чудными голубыми глазами, которые каждую минуту готовы были вспыхнуть. Ее сестра Софи, была совсем некрасива, но была не без претензий на ум и тонкость, хотя в общем это были безобидные претензии; обе сестры были очень дружны. Третья сестра Лина была неудавшаяся красавица, с тонкими чертами красивого лица, но некрасивым толстым сложением. Замкнутость семьи, и может быть чрезмерная чувствительность к внешней стороне затрудняли сближение с ними. Вышла замуж только Лина и притом за итальянца – камердинера своего отца. Старшие сестры так и остались старыми девами.

Между нашими семьями установилась все возрастающая близость и дружба. Николай бывал у нас ежедневно. От природы весьма увлекающийся, он увлекся всей нашей семьей. Варя и Лина были уже взрослые барышни. Варя была почти красавица, спокойная и бессознательная, в которой бродили или скорее находились под спудом неведомые ей силы. Она была умна, талантлива, с художественным чутьем, с сильным сердцем, которое пока дремало, но было способно на героизм. Она была воплощенная простота, уравновешенная, но иногда способная вскипать и вся загораться негодованием и протестом против какой-нибудь несправедливости или гадости. И никто не мог с такой любовью согреть, приласкать, пожалеть и обдумать другого. Это было большое сердце себя еще вполне не сознавшее; требовалось, чтобы жизнь пробудила ее силы. Она была высокого роста, с чудным цветом лица, огромными голубыми глазами, и большой седой прядью в волосах, которая еще отмечала ее красоту. Она имела большой успех, и многие ею увлекались. Брат Сережа составил даже акростих из слова «Москва» по начальным буквам ее поклонников: Мимра, Отелло, Сергей, Кудрявый молодой человек, Врач, Адъютант.

Мимра Истомин погибал окончательно. В конце концов, он сделал неожиданное для Вари предложение, которое она отвергла, совершенно не разделяя его чувств. Отелло – это был Ваня Раевский, старший из трех братьев, которые приходились нам троюродными братьями. Они жили в Москве со своей матерью тетей лелей, которая в молодости была дружна с мамой. У нас бывали двое старших – Ваня и Петя, третий Гриша почему-то не бывал. Ваня был огромный, красивый, но с каким-то темным цыганским огнем, который был и в его брате Пете. Он надвигался как туча, на Варю, и она боялась его, как боятся быка, который может забодать, боялась в нем какой-то стихийной силы, которая заставляла его темнеть, когда он к ней приближался. Каждое его движение в ее сторону заставляло ее отодвигаться от него, и эти маневры бесплодно проводились им иногда целый вечер.

Раз на каких-то похоронах, в монастыре, Варя стала около брата Сережи. Ваня стал по другую его сторону. Когда он выдвигался немного вперед, она отступала назад, тогда он отступал, чтобы на нее смотреть, она продвигалась вперед. Так длилось долго. Сережа все это видел, и вдруг бухнулся на колена, головой об пол, скрывая неудержимый смех, а Варя лишилась защитной позиции. Сережа прозвал его Отелло по тем страстям, которые в нем клокотали.

Сергей – это был великий князь Сергей Александрович, который восхищался Варей, и одно время, можно сказать, увлекался, просиживая с ней длинные мазурки и с жаром разговаривая с нею обо всем на свете. Все видели это увлечение, носившее, впрочем, конечно, самый невинный характер и в атмосфере маленького московского Двора это создавало Варе какое-то положение. Все адъютанты за ней ухаживали.

Кудрявый молодой человек был придуман скорее для счета. Это был совершенно лысый адъютант Струков, с которым Варя танцевала на балах.

Врач – был молодой Мамонов, только что приехавший в Москву из Петербурга и начавший свою практику. Его отец [Николай Евграфович] был известный в свое время доктор и друг нашей семьи. Вот почему сын, приехав в Москву, явился к нам.

Адъютант Гадон, состоявший при великом князе, очень красивый и неглупый человек со светским поверхностным умом, любивший легкие словесные дуэли с дамами.

Конечно, кроме первых двух, никто из этих вошедших в акростих не увлекался серьезно Варей. Они пришли к слову и для поддразнивания, но у нее было немало других поклонников, к которым она относилась с одинаковым равнодушием.

Эти годы были расцветом другой моей сестры лины. Она была очаровательна в пору между 18 и 20 годами, но у нее была более хрупкая прелесть, чем у Вари, прежде всего потому, что у нее не было ее здоровья и невозмутимого спокойствия.

У нее были прелестные голубые глаза, нежный румянец и вся она искрилась живостью, ходуном ходила. Она веселилась вовсю и гораздо менее, чем Варя, была забронирована от увлечений. Ею восхищался старик Щербатов и даже в ее честь дал у себя бал. Бедная линочка обожгла свои крылышки.

В это время (когда я только что поступил в университет) вернулись из кругосветного плавания, произведенные в мичманы Алеша Капнист и мой друг Сеня Унковский. Конечно, он у нас бывал ежедневно, и прежняя детская дружба перешла в более серьезное чувство особенно со стороны лины. Семен Иванович был все тот же прелестный малый, добрый, простой, хороший товарищ, израильтянин, в котором не было лукавства, но легкомыслия в нем не убавилось за эти годы морской службы, а наоборот предоставленный сам себе, вне влияния семьи и хорошей среды, он приобрел привычку к кутежам и особенно пьянству. Когда он был в Москве он кутил, но знал меру. Мать свою он привык обманывать, хотя любил ее; наша семья оказывала на него благотворное влияние, и конечно большой сдержкой было чувство его к Линочке. Но это предохраняло его ненадолго, и по слабости характера он не мог противостоять товарищам, увлекавшим его на путь кутежей и пьянства.

После плавания он служил в Кронштадте и тут спивался чуть ли не до белой горячки. С ним происходили курьезные истории. У него было недурное состояние, но вследствие беспорядочной жизни делал долги. Находясь однажды в затруднении, он обратился к какому-то жиду-ростовщику, который дал ему займы деньги на довольно льготных условиях, но в расписке не поставил срока уплаты долга, сказавши на словах, что не потребует денег раньше 3 месяцев. Вместо того, он явился через две недели, ссылаясь на внезапно наступившее затруднение и требуя уплаты. У Семена Ивановича, конечно, не было денег. Тогда жид согласился переписать вексель в двойном размере, снова без срока, и снова обещая, что на этот раз это будет продолжительный срок. Через неделю жид повторил ту же историю. Тогда Семен Иванович сообразил, что жид затягивает над ним петлю и отказался платить. Он вспомнил, что в то время градоначальником в Петербурге был некий Вальц^[81], когда-то подчиненный его отца и сохранивший о нем благодарную память. Недолго думая, С[емен] И[ванович] облекся в парадную форму и отправился к градоначальнику. Тот принял его очень мило, выслушал подробный рассказ о жиде, и отправил домой, обещав принять меры.

Через некоторое время С[емен] И[ванович] получил вызов к градоначальнику. В приемной у него он увидел жиде и испугался, решив, что эта встреча не предвещает ничего доброго и что жид на него пожаловался. Через некоторое время Сем[ена] Ив[новича] требуют в кабинет. Вальц дружески здоровается с ним, разговаривает о разных посторонних предметах. Потом звонит, спрашивает, здесь ли жид, и приказывает ввести его в кабинет. – «У вас вексель, выданный вам г[осподином] офицером...» – «При мне его нет, Ваше Прев[осходительст]во». – Вальц звонит: «Вызвать фельдегера. – я вас отсюда без заезда домой вышлю из Петербурга за

ростовщичество без права возвращения»^[82]. – «Ваше Прев[осходительст]во, кажется вексель при мне». – «Давайте его». – Жид протянул вексель. Вальц взял и разорвал его. – «Сколько вы взяли у него фактически денег...» – «Столько-то...» – «Когда можете отдать...» – «Через месяц Ваше Превосходительство». – «Дайте ему в этом расписку, но без %, чтобы ему не повадно было». – «Теперь можете идти» – отпустил он жида. Оставшись с Унковским, градоначальник все же разнес его и предостерег от возможности повторения подобной истории, ибо второй раз он не сможет выручить его подобным способом. Расправа была действительно, хотя и справедливая, но чересчур патриархальная.

Другой раз С[емен] И[ванович] попался в историю, которая могла кончиться гораздо хуже. Я гостил у Истоминых, которые проводили лето в небольшом доме, принадлежавшем Дворцовому ведомству на Бородинском поле, близ Можайска. Было уже довольно поздно, когда внезапно появился Сеня из Москвы. От него пахло вином, и он имел нервный растерянный вид. Оставшись с Мимрой и мной, он стал рассказывать, как последние три дня проводил время. Он был на скачках и там познакомился с какими-то сомнительными господами, которые завлекли его в непрсыпный кутеж. Он хорошенько не помнит, где был и что делал, ибо все время пьянствовал и играл в карты, смутно помнит, что подписал какие-то бумаги, векселя и завещание. Потом все это кончилось ссорой и решением драться на американской дуэли; кто вынет жребий, должен ночью застрелиться, и оставить записку, чтобы в его смерти никого не винили. Жребий, конечно, вытянул он, и этой ночью должен застрелиться... Все это он рассказывал отрывочно, бессвязно, словно с полупохмелья после пьяного бреда. Насилу мы убедили его, что он попал в руки мошенников, которые хотели его окрутить, и что с его стороны было бы нелепо застрелиться, что тут нет никакого вопроса чести, а уголовное преступление. Сеня волновался, долго не поддавался нашим внушениям. Однако какое-то бессознательное здоровое чутье привело его к Истоминым, и понемногу у него стало прочищаться в мозгах. Мы его уговорили подождать стреляться, пока не выясним с кем он имел дело, и каков повод дуэли, что ему самому было неясно, настолько он находился все время в невменяемом состоянии. Сеня остался ночевать, и как только лег в постель, захрапел богатырским сном. Тем временем мы рассказали все Истомину-отцу, а тот поспешил снести по телефону с обер-полицмейстером. К утру все выяснилось. Оказалось, что Сеня попал в общество какого-то выгнанного из полка офицера, нелегально проживавшего в Москве. Полиция все время следила за ним, и какой-то агент находился в том же зале, где происходил кутеж. Когда он узнал, что его разоблачили, то он притворился, что все происходило под пьяную руку и был счастлив вернуть документы, при условии, чтобы истории не было дано официального хода.

Бедный беспутный Сем[ен] Ив[анович] не мог бороться со своим слабоволием. Моя мать, которую он чтит, и которая его любила и жалела, сказала ему, что он не может и думать о согласии на браке с линочкой, пока не докажет, что бросил пить. Бедная линочка много перестрадала, но она верила мамá и подчинилась ей. Кончилось все тем, что его под пьяную руку женила на себе дочь скрипача Ауэра, которой, видимо, нужно было его состояние. Она была очень неглупая и ловкая девица, но совершенно беспринципная. Она скоро стала изменять своему мужу, а тот в свою очередь убежал с ее сестрой, на которой и женился, получив развод от первой жены. Вторая оказалась добродушнее и, по-видимому, любила бедного Сеню. В это время он был уже в отставке и жил в своем семейном поместье Колышеве – Калужской губ[ернии]. Алкоголизм преждевременно состарил его. В 40 лет он уже казался слабеньким старичком. До конца, несмотря на свою беспутную жизнь, он сохранил то же чистое благородное сердце. Он не мог совладать со своей слабой волей, в свое время допился до того, что в воздухе ловил о[тца] Иоанна Кронштадтского, мог предаваться всякому распутству, а душа у него оставалась младенческой – вся эта грязь как-то шла мимо и не задевала ее, и на что он органически не был способен – это совершить что-нибудь подлое, бесчестное. Я думаю, что этот беспутный Сем. Ив. способен был бы и на геройство, если бы пришлось. – У него был

конский завод, он всегда очень любил лошадей. Когда наступил большевистский режим, у него остался только один рысак, и он сделался извозчиком-лихачом в Калуге. У него был компаньон из простых извозчиков, который заболел сыпным тифом. Семен Иванович посетил его, заразился и умер. – Царствие ему Небесное! я верю, что за его чистое и доброе незлобивое сердце ему отпустятся его грехи.

Воспоминания мои отрывочны и бессвязны. Они скорее похожи на галерею портретов, чем на повесть о прожитой жизни. В них есть тот же внутренний недостаток зрения, как и тот, которым я страдаю с малолетства: близорукость. Я вижу без очков общие контуры, фигуры людей, но пропадает масса ярких мелких подробностей, игра жизни. Что делать... – Буду продолжать свою галерею, как умею и могу.

Среди новых друзей, на втором году моей студенческой жизни у меня прибавился еще один, с которым я очень сблизился. Это был Никс Голицын. Через него я сблизился и с его семьей.

Голицыны были старой коренной московской семьей. В старшем поколении было четыре брата. Старший Иван Михайлович был при Дворе близким человеком императрицы Марии Федоровны. Считалось, что у него особый талант чтения. В патриархальной Голицынской семье, как старший и важный, он пользовался особым почетом. Следующий за ним был в мое время уже старик, красивый и живописный Александр Михайлович, казавшийся старомодным, выходцем XVIII века; он был молчалив и мне всегда казалось, что он как будто с вежливым пренебрежением смотрит на всех окружающих – людей не того воспитания и духа, какого был сам, что делало его каким-то одиноким. По взглядам он был крайний консерватор и славянофил. Среди молодежи я слышал, что ежегодно он ездил в Будапешт, имевший репутацию одного из самых веселых городов, а потом, возвращаясь, отправлялся в Троицу замаливать грехи. Если это верно, то это было бы довершением его типа – московского маркиза, каким он дожил до большевиков, скончавшись в 80 лет.

Следующим братом был Михаил Михайлович – элегантный гвардейский генерал, маленький стройный с седенькой бородкой, всегда в безукоризненном мундире или военной тужурке дома, со звоном шпор и французским грассирующим говорком. *L'année quarante quatre m'a vu naître*¹⁴¹. Он был вдовец, прожил долю своего состояния и жил со своей дочерью Надей, уже немолодой, но умной и бойкой девицей, впрочем доброй и хорошей – у своего младшего брата Владимира Михайловича. Старший брат Александр также жил с ним.

Князь Владимир Михайлович был женат на Софье Николаевне Деляновой – дочери нашей калужской знакомой Елены Абрамовны. Когда мы приехали в Москву, он был совсем молодым московским губернатором. Он был необыкновенно моложав, так что я помню, как, попав гимназистом в первый раз к ним на вечер, я не догадался, что он хозяин дома. В то время генерал-губернатором был князь В. А. Долгоруков. Его оценил великий князь Сергей Александрович, и тогда и Голицын почему-то оказался в опале. Его перевели губернатором в Полтаву, но он туда не поехал и вышел в отставку.

Через некоторое время, как – это секрет московских нравов – он из бывших губернаторов стал общественным деятелем и был выбран московским городским головой, с соответствующей дозой умеренного либерализма.

Теперь (пишу в марте 1926 года), когда жизнь завершила для него свой круг, и он доживает свой одинокий век, потеряв жену, в Москве, окруженный лаской и попечением в семье своего старшего сына, я с любовью и благодарностью вспоминаю и о Владимире Михайловича и о всей его семье.

Он был жизнерадостный добрый и хороший человек. Не очень умный, немного легкомысленный, также, как и его жена Софья Николаевна. У него могла быть иногда торжествен-

¹⁴¹ Я родился в сорок четвертом году (франц.).

ность. Он любил всю церемониальную приветственную часть своих обязанностей. И проделывал ее с теми округленными красивыми и немного старомодными манерами, которые были вообще у Голицыных. Любил и поухаживать, и вообще любил и понимал все удовольствия жизни. Но все это было как-то легко и безобидно, и отвечало совершенно такому же настроению его жены, что не мешало им дружно жить и иметь кучу детей.

Софья Николаевна была в молодости красавицей и сохранилась и до старости красивой женщиной. Она, может быть, была еще более жизнерадостна и молода душой, чем муж, отплясывала на балах, когда была уже бабушкой, страшно мила была с молодежью, с необыкновенным добродушием относилась ко всем ее проказам и затеям и способствовала всегда ее увеселениям.

На нее легко влияла обстановка и условия жизни. Пребывание великого князя создавало в Москве атмосферу маленького Двора, усиливало светскую жизнь, вводило в московский быт чуждое ему соревнование в общественном положении. В свое время этот налет коснулся и Софьи Николаевны, как и многих других. Владимир Михайлович, которому, конечно, также по старым навыкам эта атмосфера и эти вкусы были всего более сродни, в то же время выдерживал безобидную либеральную оппозиционность в рамках, совместимых с участием в придворной жизни.

Все это можно было в Москве, ибо на все это через лупу никто не смотрел, и все покрывалось московским благодушием. Голицыны были коренные москвичи, это было главное. А благодаря своему воспитанию, жизнерадостности и порядочности Владимир Михайлович мог бывать во всех кругах и всюду быть любимым. Также и Софья Николаевна. Врагов, я думаю, у них быть не могло и не было. А за этой веселой легкой внешностью скрывались насквозь хорошие люди. Таким они себя показали в испытаниях, которые бодро переносили несмотря на свои старые годы.

Моим сверстником был собственно старший сын Миша, но он был юрист, а я филолог, – в университете мы были в разных зданиях, имели разные интересы. Я гораздо ближе сошелся со вторым его братом Никсом, близким товарищем Сережи Щербатова, с которым вместе он поступил на филологический факультет, через год после меня. Никс остался для меня на всю жизнь олицетворением московского студента-идеалиста, какие бывали в эпоху Станкевича-Грановского и повторялись всегда. Тихий, скромный, молчаливый, как все Голицыны, серьезный так же, как все дети веселых и легкомысленных родителей Голицыных, с ясно выраженным семейным типом наружности и красивых старомодных манер, он был любим всеми товарищами. Никто не умел так уютно молчать как он, просиживая целыми часами у друзей-товарищей. Он приходил обыкновенно ко мне вечером. За чаем у нас всегда сходилось много молодежи, и нередко я спешил отводить своих товарищей к сестрам, а сам возвращался к себе читать какую-нибудь занимавшую меня книгу. Когда все расходились, Никс приходил ко мне. Это уже бывало после 18 час[ов] ночи. Я при нем же укладывался в постель, иногда тушил лампу, Никс глубоко усаживался в кресло и начинал говорить. В ночной темноте у него развязывался язык и он говорил задушевым мечтательным голосом, который тихо звенел, о самых высоких предметах. Иногда мы спорили, иногда он говорил один, а я засыпал. Когда Никс замечал, что я храплю, он вставал, и, натываясь в темноте на стулья и стены, выходил из комнаты, пробирался коридором через столовую вниз. Он уходил иногда около 3 час[ов] ночи. Мы не думали тогда, каково было лакею, спавшему внизу под лестницей, вставать, чтобы затворять дверь за ночными посетителями. Но нрав и времена были другие, и сами они и не думали роптать.

Голицыны жили в большом старом доме на Б[ольшой] Никитской. Никс помещался в нижнем этаже, в небольшой комнате под сводами, которая напоминала келью и очень подходила к его облику. Он был добросовестный труженик, любивший копошиться в старых книгах, рукописях и архивной пыли. Он был любитель библиотек.

За Никсом шли две сестры-погодки. Старшая Соня скоро стала выезжать в свет и вскоре же вышла замуж за Константина Львова. Вторая Вера – сверстница моей сестры Марины, была еще подростком и выполнила обещание быть красавицей. Было еще два мальчика и две маленькие девочки Эли и Таня, которые гуляли всегда с пуделем.

В доме Голицыных всегда была толчея, было шумно и весело, масса молодежи и знакомых родителей. Бывали и художники. Софья Николаевна приветливо и шумно принимала, Владимир Михайлович был радушен и либерально-оппозиционен, конечно в очень умеренных тонах, Михаил Михайлович элегантно звякал шпорами и приударял за молодыми дамами, отпуская закругленные французские словечки, Александр Михайлович глядел старым маркизом, выходцем прошлого века, скептически относясь к брату-либералу и ко всем, не так родившимся и воспитанным, как он. Под благодушным покровительством Софьи Николаевны молодежь веселилась и шумела без стеснения и все как-то беззаботно себя чувствовали; всех и вся обнимала милая старая Москва, ко всем благожелательная, приветливая, успокоительная, словно старая нянюшка, или добрая предобрая тетушка. Эта атмосфера принимала вас, как только вы входили в дом, где вас приветствовали старые слуги, обыкновенно знавшие всю вашу родню и подноготную. И у Голицыных был необыкновенно уютный типичный старичок-швейцар, очевидно выросший и умерший в их доме.

Помню у них веселый любительский спектакль, под режиссерством актера Малого театра Правдина. Я играл незначительную роль старого слуги, но считки и репетиции создавали веселую атмосферу, сблизжали между собой исполнителей, вместе переживавших волнительное ожидание спектакля. В числе действующих лиц участвовала молодая хорошенькая блондинка г-жа Егорова, за которой ухаживали одновременно элегантно звякавший шпорами князь Михаил Михайлович Голицын и я студент 3-го курса. Спектакли были в моде, и на следующий год Самарины поставили у себя под режиссерством того же Правдина две пьесы Тургенева: «Где тонко, там и рвется» и «Вечер в Сорренто».

Все это было очень весело, и у нас на Пресне была тоже атмосфера молодости, веселья, беззаботности и романтизма. Кроме двух старших сестер незаметно подросла и третья – Марина, прямо из детской превратившаяся в очаровательную молодую девушку, скоро ставшую невестой, не успев почти вырасти и окрепнуть.

Марина... для меня это часть меня самого, такое близкое для меня существо, что мне трудно о ней писать, трудно о ней вспоминать, потому что со смертью ее для меня оторвалась что-то от самого сердца, как у старого дерева, у которого буря вырывает большой сук и оставить дупло, которое не может зарости и в который льет дождь и точит его...

Пусть я буду пристрастен. Я не боюсь этого, и хочу верить в любящее сочувствие тех, для кого я пишу эти строки – моих детей. После моей матери, из тех, кого мне пришлось пережить, не было для меня существа, которое в той же мере озарило бы все мое детство и юность и с которым у меня были бы такие же кровные узы, как Марина. И что за прелестное создание она была!

Это была сама кротость, мягкость и женственность. Вижу ее очаровательным младенцем с большими карими глазами и золотистыми каштановыми кудрями, лет четырех, пяти. Потом девочкой с косичкой с веселыми глазками, любимица тети Лины Самариной, которая смотрит на нее с обожанием. Никогда с самого раннего возраста не способна она была доставить кому-нибудь огорчения и заботу. Она всегда о всех думала, и ко всем повертывалась своей любящей чистой душой. Гувернанткам с ней нечего было делать. Последней гувернанткой при ней была веселая непедагогичная *M-me Duburguet*, которая ее обожала, как и всю семью. Она разделяла все удовольствия нас, молодежи, была и с нами и с молодежью, которая у нас бывала в отношениях веселой *samaraderie*. Я ей пел незатейливые куплеты:

Мадам, мадам, мадам Дю-Бюргэ

Не ведите себя, как Адам,
Плюто, плюто мадам Дю-Бюргэ
Soyez, comme un мюгэ¹⁴².

Мадам покатывалась со смеху, была на товарищеской ноге со всеми моими товарищами, интересовалась их похождениями, дразнила их и очень любила делать наблюдения о завязывавшихся романах. Нам всегда было с нею очень весело, как с добрым товарищем, с которым мы не церемонились, и сама она страшно любила нашу семью, и всегда выделяла ее из других семей, куда заносило ее нелегкое ремесло гувернантки. Впрочем ее любили во всех семьях, куда она попадала, и она настолько обрусела и утратила связи о родиной, что когда после большевистского переворота уехала последняя семья, где она жила, – Наумовых за границу, она осталась в России, где доживает и сейчас свой век, 80-ти с лишком лет.

Когда Марина стала подрастать и ей минуло 16 лет, мамá решила расстаться с мадам, потому что, несмотря на ее милый нрав и сердце, она была неподходящим, слишком шумным шапроном для нее. Бедная мадам Дюбюрге пережила вероятно нелегко эту тяжелую сторону своего ремесла – оторваться от семьи, с которой сблизилась, чтобы вновь искать временное вхождение в другую семью с той же перспективой.

Новой гувернантки не взяла. Зато мамá приняла на себя ближайшее наблюдение за младшей дочерью, и с[о] свойственной ей способностью всецело отдаваться, страстно привязалась к Марине, которая платила ей тем же, раскрывая ей всю свою чистую душу, которая распускалась, как нежный цветок под лучами солнца. – Это было очаровательное время ранней весны ее жизни, когда из маленькой девочки она превращалась в молоденькую девушку. Летом они спали в одной комнате. Мамá руководила ее чтениями, играла с ней в 4 руки, ездила с нею в концерты, передавала ей свое увлечение музыкой и природой, по вечерам играла в «Гальму», и была такая же молодая душой, как ее последняя любимая девочка.

Николай Гагарин, который поступил со мною в университет и ежедневно приходил ко мне вечером, вскоре испытал участь очень молодых людей, посещающих дом, где много привлекательных молодых девушек. Он влюбился в дом, в семью, подпал под обаяние мамá, и вскоре увлекся Мариной. Он тоже был музыкален, ездил во все концерты, разделял те же интересы. Он был тем, что по-французски называют sensitif¹⁴³, нервный, вибрирующий, как струна, чрезмерно чуткий к малейшему неверному тону, весь живший жизнью чувства, легко увлекающийся, живой, бурно веселый и способный от веселья сразу перейти в состояние крайнего уныния, крайне восприимчивый к женской прелести, всегда увлеченный кем-нибудь и чем-нибудь. Сам он был в то время юный мальчик чистый и милый, из прекрасной семьи, которая его обожала, – баловень судьбы. Все эти юношеские свойства его открытой природы были по душе мамá. Она к нему благоволила, и, не замечая того, сама как будто патронировала сначала детскую дружбу потом увлечение этих двух больших детей, Николая и Марины.

Пресня и Меньшово того времени были полны весеннего хмеля. Мы все увлекались музыкой. Помню смерть Чайковского, внушившую мне первую статью, которую я с замирающим сердцем отнес Грингмуту, редактору «Московских ведомостей». Она была полна юношеского лиризма, но когда появился № с моей подписью, мне пришлось выслушать упрек моего брата Сергея, который больно отразился на моем самолюбии и я закаялся повторить когда-нибудь такую смелость. Более снисходительным был отзыв дяди Пети Самарина, который сказал, что у меня есть стиль, и что верно я буду хорошо писать.

¹⁴² Мадам, мадам, мадам Дю-Бюргэ Не ведите себя, как Адам, Скорее, скорее, мадам Дю-Бюргэ Будьте, как ландыш (смесь фр. и рус.).

¹⁴³ Чувствительный (франц.).

Я вспоминаю этот незначительный инцидент только по воспоминанию о том, как я тогда его переживал, и как все мы, молодежь в то время, жили в атмосфере музыкальных эмоций, и я бы сказал даже, немного в каком-то чаду романтического настроения. Какое место в нашей жизни занимали тогда концерты, особенно когда приезжал Антон Рубинштейн и давал концерт! Это были душевные потрясения. Я никогда не забуду впечатления [от] 9-й симфонии Бетховена, впервые услышанной мною под его дирижерством. Только в юности можно так сильно воспринимать музыку, как откровение, или экстаз. До сих пор, на всю жизнь, во мне врезалось воспоминание о целом ряде вещей в его исполнении, напр[имер] соната Шопена с Похоронным маршем, в котором чуялось, как ветер гуляет по могилам, Эрлькёниг¹⁴⁴ Шумана – это олицетворение романтизма в музыка – бешенная скачка на коне, жуть лесного шума, с которым срастается голос лесного царя и нарастание страха и темпа в музыке. То же нарастание темпа в Ruines d’Athènes¹⁴⁵ Бетховена, гениальный полет, глубина, сила и блеск во всем, что он играл. И до сих пор, слушая любого пианиста, я так и слышу рядом с ним, как ту же вещь играл Рубинштейн. Он остается для меня непревзойденным гением музыки, но я признаю, что в то время наше поколение недостаточно ценило Баха, и если нынешние композиторы ничего не говорят моему воображению, и кажутся мне блуждающими впотьмах и по ложному пути, зато современное понимание Баха дает мне надежду, что те, кто его любят, не могут утратить чувства прекрасного и великого в музыке, и оно выведет их из полосы исканий.

Я отвлекся в сторону в своих воспоминаниях, но музыка всегда играла исключительную роль в нашей семье. С нею связано было, в прошлом, сближение и сватовство моих родителей, – и в той же атмосфере и при участии той же мамá возник роман Марины и Николая. А из атмосферы городской музыки естественный переход в другую родственную атмосферу природы и милого усадебного быта в Меньшове, с теплыми лунными вечерами в тишине сада, где каждое слово звучит с какой-то волшебной четкостью, после городского шума, когда вдаль серебрится Рожай и доносится из него кваканье лягушек; и вдруг, как будто рядом где-то в кустах раздастся громкая дробь соловья, или отдаленное эхо кукушки, и вся преображенная в лунном свете природа как будто сладостно замирает, а колыхание ветерка несет густые запахи цветов вместе с шелестом листьев. И не хочется уходить из сада, хотя тут же так радушно горят красные огоньки ламп в доме, и зовут в столовую, где давно кипит самовар и стоит простокваша, и ждут благожелательные и любовно насмешливые взгляды старшего поколения, тети Лины и все понимающего дяди Пети Самариных, и папа зовет играть в «Акулину».

Непрерывный праздник в Меньшове. Утром кофе на террасе, все встают в разное время, и тут же восседают тетя Лина, которая что-то вяжет, дядя Петя раскладывает пасьянс и наблюдает за жизнью дома и каждого из его обитателей; тут же впоследствии Паоло работал над своими скульптурами, папа хлопочет у цветников со стариком-садовником и громко зовет Ольгу, с которой советуется. Иногда до завтрака чтение вслух – Ольга, Марина, я и присоседившийся к нам Сережа Евреинов, читаем историю реформации Häusser’a¹⁴⁶. После завтрака мамá с Мариной играют в Гальму. Днем идем в Посибириху. Проходим наш сад, переходим по тонким доскам мост через овраг и выходим в поле с колыхающейся рожью или овсом над речным обрывом, входим в веселую прелестную березовую рощу – Посибириху, где много грибов. Купаемся в Рожае. Днем часто приезжают из Воробьева Варвара Сергеевна Ершова в допотопном пенюаре с пелеринкой из белого с черными квадратиками ситца и белом чепце. С нею ее сын Владимир Иванович, или тетя Груша из Скабеевки. В саду, в тени раскладывается ломберный стол

¹⁴⁴ «Erlkönig» («лесной царь») – баллада Р. Шумана на стихи И. В. фон Гёте.

¹⁴⁵ Афинские развалины» (*франц.*).

¹⁴⁶ Имеется в виду работа немецкого историка Людвиг Хойссера (1818–1867), изданная на русском языке в 1882 г. в переводе под ред. В. М. Михайловского.

и старшие играют в винт. После обеда, который подается в 6 часов, общие игры, катание на лодке, лаун-теннис, для которого не существует часов во дню и всегда находятся партнеры, забегаем в огород, на грядки клубники, или в кусты малины, к неудовольствию экономки и садовника. У каждого свой излюбленный потаенный угол в саду, или роще, куда он уходит с книгой в руках, и столько же читает, сколько мечтает, развалившись на спину в густой траве, откуда так хорошо смотреть на плывущие облака или следить за хлопотливой возней какого-нибудь маленького жука, запутавшегося между былинки.

Постоянные гости из Москвы, о которых возвещает колокольчик на дуге, и масса молодежи.

Незаметно катятся дни, похожие один на другой, но полные своего интереса для каждого из молодежи, для которой в эти годы роста один месяц не похож на другой и все меняется – словно незримое наливание колоса в поле. Незаметно подходит дело к 17 августа. В этом году (1894) Марине в этот день минет 17 лет – девичье совершеннолетие младшей общей любимки. Готовится большое торжество. Ожидается съезд всех частей. Дядя Петя с циркулем в руках на полу террасы чертит и вырезывает огромный транспарант, будет фейерверк. Раскладывается огромный стол в саду, звенят бубенчики с подъезжающими гостями. Нет незаполненного угла в доме. Только Лидию Лопухину оставляют в покое в ее апартаментах, но к ней бегают поминутно сообщать последние новости, и она с улыбкой их слушает и постепенно диктует мне длинное письмо своей сестре тете Эмили Капнист с описанием хода событий, пересыпая их своими словечками, которые мы все так ценим. В них дается добродушная характеристика действующих лиц и каждый хочет прочесть, что про него написано. Папа утром приехал из города, куда постоянно ездит по делам больницы и института, – где летом обычно производится ремонт, за которым он наблюдает. Он читает газеты у себя в кабинете или возится в цветнике, в чесунчевом или бледно-зеленом полотняном сюртуке, который у него существует с незапамятных времен. И то и дело идет к маме обо всем с ней советоваться и говорить. Неизменное благодушие старших, и такое спокойствие и беспечность нас детей, под их крылышком и с переложением на них всех ответственных решений. – А для нас беззаботное веселье. Конечно не одно это настроение. У каждого из нас свои вопросы и запросы, подчас сложные, с которыми мы уходим уединяться в сад и лес. Всегда с весны целая программа на лето. То то сделать, прочесть, передумать, изучить. Конечно программа эта остается мало выполненной, но все же, не одно благодушие и безделье наполняют жизнь. Марина сияет в день своего рождения, получая ото всех заранее обдуманые подарки, чувствуя, что все ее любят и что хорошо жить на свете, и заливается от беспричинного смеха, после чего я всегда ей кричу: «Звонче и беспечней» – и она опять смеется. Конечно приехал Николай, но кроме него еще толпа двоюродных братьев и молодежи. Шум, гам, всем весело. За обедом окрошка, цыплята, мороженое, ланинское шампанское и многочисленные тосты. Когда темно, зажигается иллюминация, великолепный транспарант и фейерверк. Из деревни пришел народ в сад и раздаются типичные подмосковные песни: Щука – рыба плыла в море, А я девушка в неволе, с неподражаемыми вторыми голосами. Приехали и старшие братья, Женя от Щербатовых, где проводит лето с семьей, Сережа с Пашей, которые наняли дачу в нескольких верстах от Меньшово.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Комментарии

1.

Книга выдержала большое количество публикаций, например: Достоевский Ф. М. Дневник писателя. М., 1989. Электронную версию см. URL: http://rulibrary.ru/dostoevskiy/dnevnik_pisatelya/1 (дата обращения: 13.03.2018).

2.

Трубецкой Е. Н. Из прошлого. М., 1917. Электронную версию см. URL: http://dugward.ru/library/trubetskoy/trubetskoy_iz_proshlogo.html (дата обращения: 13.03.2018).

3.

Автор ошибается: князь Петр Иванович Трубецкой скончался 22 мая 1871 г.

4.

Имеется в виду графиня Эмилия Петровна Витгенштейн (1801–1869). Современники вспоминали ее как женщину властную и суровую. Так известный общественный деятель Б. Н. Чичерин писал: «Эмилия славилась своим сильным характером. Она всю семью держала в руках; но в свет не ездила и у себя не принимала» (Чичерин Б. Н. Воспоминания // Русские мемуары. Избранные страницы 1826–1856. М., 1990. С. 254). А упоминавшийся автором писатель Н. С. Лесков, лично знавший чету Трубецких, описывал ее следующим образом: «Супруга князя Петра Ивановича Трубецкого, урожденная Витгенштейн, была сама очень грозного характера, любила властвовать без раздела. Ее гневность и силу знали не только в городе Орле, но и на почтовых станциях, где ее боялись все ямщики. Необыкновенное воспитание этой знатной дамы составляло для всех неразделимую загадку...» (Лесков Н. С. Умершее сословие. СПб., 1903. С. 119–131).

5.

У П.И. Трубецкого было четверо сыновей: Петр (1822–1892), Иван (1825–1887), Николай (1828–1900) – отец автора – и Александр (1830–1872).

6.

Пажеский корпус являлся привилегированным военно-учебным заведением, куда принимались дети и внуки лиц первых трех классов (то есть не младше генерал-лейтенанта и тайного советника) или же представители фамилий, занесенных в 5-ю и 6-ю части родословных книг (титулованное и древнее столбовое дворянство). Трубецкие удовлетворяли обоим требованиям.

7.

На самом деле, в браке у Петра Петровича и Варвары Юрьевны Трубецких родилось не две, а три дочери: Татьяна (1848–?), Елена (1849–1934) и Мария (1863–1933). Елена вышла замуж за маркиза Поля де Гонтю-Бирона (Gontaut-Biron; 1845–1873), Мария – за князя Александра Александровича Прозоровского-Голицына (1853–1914).

8.

Князь П. П. Трубецкой приобрел поместье (ок. 90 тысяч м²) в Гиффе (Карьяго) с видом на озеро Лаго Маджоре, где был возведен роскошный дом, названный князем в честь жены Виллой Ада.

9.

Памятник императору Александру III работы Паоло Трубецкого был установлен на Знаменской площади у Николаевского вокзала в мае 1909 г.; в 1937 г. он был демонтирован и убран в запасники Русского музея. В 1953 г. памятник перенесен во внутренний двор Русского музея, а в 1994 г. установлен перед входом в Мраморный дворец (Санкт-Петербург).

10.

Имеется в виду памятник Данте Алигьери работы Паоло Трубецкого, установленный в 1919 г. в Сан-Франциско (США).

11.

Скорее всего, имеется в виду Николай Тимофеевич Аксаков, который занимал пост Симбирского губернского предводителя дворянства в 1847–1859 гг.

12.

Вдовый дом был открыт в Москве в 1803 г., в нем содержались вдовы военных и гражданских чинов, получавшие пенсию (всего – 600 человек). Для него по проекту архитектора И. Жилярди было возведено особое здание на Кудринской улице (ныне Баррикадная улица, д. 2/1).

13.

У князя Ивана Петровича Трубецкого были пять сыновей: Петр (1856–1859); Николай (1858–1875); Сергей (1859–1885); Иван (1861–1884), Алексей (1867–1906), а также дочь Елизавета (1855–1859).

14.

Автор ошибается: князь А. П. Трубецкой был женат на Надежде Михайловне Веселовской.

15.

На самом деле, у князя А. П. Трубецкого были сын (Сергей) и не две, а три дочери: Эмилия (1857–1878), Мария в замужестве фон дер Лауниц (1863–1922) и Вера в замужестве Гудимлевкович (1865–?).

16.

А. А. Хвостов лишился слуха и частично зрения в результате покушения, когда 1 января 1906 г. в него, тогда Черниговского губернатора, боевики из Боевой организации партии эсеров бросили бомбу. Взрыв дачи П. А. Столыпина на Аптекарском острове произошел позже, в августе того же года.

17.

Имеется в виду старший сын Хвостовых Алексей (1893–1960), который служил в Белой армии, в ОСВАГе, затем жил в эмиграции в Югославии. В 1945 г. он был захвачен органами контрразведки СМЕРШ, вывезен в СССР и приговорен к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. После освобождения уехал во Францию. Их младший сын – Сергей (1896–1920) – был расстрелян в Ялте большевиками.

18.

Движение протестантского христианства, близкого к баптизму, его приверженцы именуются евангельскими христианами, а по названию основателя секты в России – В. А. Пашкова (1831–1902) – пашковцами.

19.

Имеется в виду сын Александра Александровича Пушкина (старшего сына поэта) Сергей (1874–1898). По официальной версии он сватался к ней, но родители не дали согласия на брак и 21 августа 1898 г. он застрелился. По воспоминаниям, уже будучи замужем за Святополк-Мирским, Мария Александровна с детьми посещала его могилу. См.: Русаков В. М. Рассказы о потомках А. С. Пушкина. Л., 1992. С. 164–166.

20.

Эмилия скончалась в 1917 г., скорее всего, не от сыпного тифа, поскольку эпидемии начались несколько позже. Мария Святополк-Мирская была убита большевиками в Кишиневе в январе 1920 г., а Александр Карлович Бельгард скончался в ноябре 1921 г. в Берлине и также не от сыпного тифа.

21.

Принадлежавший князьям Трубецким в 1808–1882 гг. дом существует и сегодня, он расположен по адресу Большой Знаменский переулок, дом 8 и находится в ведении Министерства обороны РФ.

22.

На самом деле дом был куплен в 1882 г. его отцом – купцом И. В. Щукиным, который в 1886 г. подарил его своему сыну.

23.

По завещанию П. А. Муханова оставила по 50 тысяч рублей Мариинской больнице, Московской духовной академии и Московской духовной семинарии, по 20 тысяч – Московской глазной больнице, православной общине «Утоли моя печали», Братолюбивому обществу, женскому Филаретовскому училищу и Обществу распространения книг духовного содержания.

24.

Имеется в виду замок и отель д’Уши (Château d’Ouchy) в Лозанне на берегу Женевского озера.

25.

Светлейший князь Л. П. Витгенштейн в 1848 г. приобрел в Пруссии развалины родового замка Сайн, вложив большие средства (он был наследником колоссальных земельных владений Радзивиллов), отстроил новый замок, а в 1861 г. король Пруссии Фридрих Вильгельм IV даровал ему титул владетельного князя Сайн-Витгенштейн-Сайн (Sayn-Wittgenstein-Sayn).

26.

Козьма (не Кузьма) Петрович Прутков – коллективный литературный псевдоним поэтов А. К. Толстого, братьев Алексея, Александра и Владимира Михайловичей Жемчужниковых.

27.

Имение Меньшово находится на берегах реки Рожай недалеко от Подольска. В настоящее время входит в состав сельского поселения Лаговское Подольского района Московской области. В семью Лопухиных Меньшово принесла княжна Варвара Александровна Оболенская (1819–1873), вышедшая замуж за Алексея Александровича Лопухина (1813–1872). Их дочь Софья – вторая жена князя Н. П. Трубецкого и мать автора.

28.

На самом деле А. А. Лопухин окончил Школу гвардейских подпрапорщиков и начал службу в 1858 г. юнкером 1-го класса.

29.

История была не совсем ясная и существуют другие ее версии. Более реалистичной представляется версия, что с Ольгой Федоровной Добровольской А. А. Лопухин сошелся уже в Варшаве, куда был назначен председателем окружного суда. Поскольку от жены разрешения на расторжение брака он не получил, Лопухин и Добровольская обвенчались во время поездки в Болгарию. Узнав об этом император отправил Лопухина в отставку. В противном случае предполагается, что Лопухин был назначен председателем суда уже будучи двоеженцем, что крайне сомнительно.

30.

Княжна Ольга Ивановна Оболенская (1891–1984) в 1912 г. вышла замуж за князя Петра Александровича Оболенского. В 1924 г. они развелись. В июне 1924 г. она была арестована, 1 августа приговорена к 3 годам концлагеря и отправлена в Соловецкий лагерь особого назначения. Заболела там тяжелой формой туберкулеза, по ходатайству ПКК освобождена с ограничением проживания на 3 года. В 1929 г. она вышла замуж за Николая Николаевича Звегинцова (1894–1941); он погиб в лагерях. В 1942 г. Ольга бежала за границу и в 1948 г. эмигрировала в США.

31.

А. А. Лопухин был назначен Эстляндским губернатором 4 марта 1905 г., а смещен уже 8 ноября за попустительство революционному движению.

32.

Государственная дума 1-го созыва была распущена 9 июля 1906 г., после 72 дней работы, поскольку депутаты «вместо работы строительства законодательного, уклонились в не принадлежащую им область и обратились к расследованию действий поставленных от Нас местных властей, к указаниям Нам на несовершенство Законов Основных, изменения которых могут быть предприняты лишь Нашею Монаршею волею, и к действиям явно незаконным, как обращение от лица Думы к населению» (из Манифеста императора Николая II).

33.

Интересующихся деталями истории выдачи Лопухиным Азефа отсылаем к книге В. Шубинского «Азеф» (М.: Молодая гвардия, 2016); автором подробно рассмотрены мотивы действий Лопухина, его связи с масонами через брата его жены князя Урусова, а также история с похищением Варвары Лопухиной.

34.

1 мая 1909 г. А. А. Лопухин был приговорен к 5 годам каторжных работ (затем замененных ссылкой в Минусинск) с лишением всех прав состояния. В 1911 г. ему разрешено переехать в Красноярск, а 4 декабря 1912 г. он был помилован и восстановлен в правах. Позже занимал пост вице-директора Сибирского торгового банка.

35.

В книге Б. П. Краевского «Лопухины в истории Отечества» (М.: Центрполиграф, 2001) указано, что Лопухин «В 1923 выпустил книгу “Отрывки из воспоминаний”. Затем, получив разрешение советского правительства, выехал во Францию» (с. 610) и «...эта книжка оказалась последним, что он сделал на Родине. Вскоре после ее выхода он обратился к властям за разрешением выехать за границу. Времена были еще либеральные, и разрешение было дано. Лопухины – он сам, его жена и две дочери – уехали во Францию. Через пять лет, в начале 1928 года Алексей Александрович Лопухин скончался в Париже» (с. 465).

36.

Скорее всего, в данном случае имеется в виду апостол Варнава (франц. и англ. Barnabas) – основатель Кипрской церкви, один из мужей апостольских, который был одним из первых левитов (евреев из колена Левия), принявших христианство.

37.

На момент поступления Д. А. Лопухина в полк он именовался 44-м драгунским Нижегородским Его Величества короля Вюртембергского полком. Позже полк несколько раз менял названия и именовался: с 1891 г. – 44-м драгунским Нижегородским полком, с 1892 г. – 44-м драгунским Нижегородским Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полком, с 1894 г. – 44-м драгунским Нижегородским Его Величества полком, и, наконец, с 1907 г. – 17-м драгунским Нижегородским Его Величества полком.

38.

Во время Русско-японской войны Д. А. Лопухин с 28 марта 1904 по 18 июня 1905 г. занимал пост старшего адъютанта штаба находившейся на Дальнем Востоке Кавказской конной бригады, которой командовал генерал-майор князь Г. И. Орбелиани. После войны Лопухин 18 июня 1905 г. возглавил штаб (в качестве штаб-офицера при управлении) Приамурской сводной казачьей бригады, а затем – 11 марта 1907 г. – 36-й пехотной дивизии. 20 апреля 1911 г. Лопухин был назначен командиром 9-го уланского Бугского, а 4 февраля 1914-го – лейб-гвардии Конно-гренадерского полка.

39.

Корнет Г. Д. Лопухин погиб 6 августа 1914 г. в бою в деревне Каушен в Восточной Пруссии.

40.

Генерал-майор Д. А. Лопухин был смертельно ранен 20 ноября 1914 г. в бою у Белхатова и скончался 23 ноября в госпитале в Варшаве.

41.

В. А. Лопухин был первым браком женат на Нине Исидоровне (1868–1929), дочери управляющего Днестровской линией Русского общества пароходства и торговли Израиля Юделевича Гессена.

42.

По службе у В. А. Лопухина все шло в целом нормально и с поста Тульского губернатора он был 6 декабря 1915 г. назначен членом Совета министра внутренних дел, что было формально повышением, однако фактически означало конец карьеры. После Февральской революции он был немедленно уволен от службы по болезни с мундиром и пенсией.

43.

Вторично В. А. Лопухин женился 6 июля 1920 г. на Надежде (1887–1927), дочери купца 1-й гильдии Николая Петровича Бахрушина (1854–1927) и его жены любви Сергеевны, урожденной Перловой (1864–1912).

44.

В большинстве источников указывается, что Вера Ивановна была урожденная не Бутурлина, а Протасьева (Протасова).

45.

С. А. Лопухин был унтер-офицером (офицерский чин получил позднее), чем и объясняется то, что он был награжден не орденом Святого Георгия, а Знаком военного ордена («солдатским Георгием»). Его имя значится в списке нижних чинов полка, получивших Георгиевские кресты за войну 1877–1878 гг. в кратком очерке истории полка, написанном поручиком П. П. Голодолинским.

46.

Имеется в виду небольшое (26 десятин) имение Хилково в Крапивенском уезде Тульской губернии на левом берегу р. Уперта. В 1915 г. имелось 25 дворов, в которых в селе проживало 278 человек. Ныне села не существует.

47.

Граф Ф. Л. Соллогуб был женат на фрейлине баронессе Наталье Михайловне Боден-Кольчевой (1851–1915), от которой имел двух дочерей: Елену (1874 года рождения) и Веру (1875 года рождения), в замужестве Левшину.

48.

Постановка комедии Л. Н. Толстого «Плоды просвещения» впервые была осуществлена обитателям «ясной поляны», при активном участии самого писателя, который почти ежедневно вносил правки в рукопись. Спектакль состоялся 30 декабря 1889 г.

49.

«Союз 17 октября» (его члены именовались октябристами) был одной из крупнейших в России партий в 1905–1917 гг. Союз являлся право-либеральным и умеренно-монархическим, и представлял, прежде всего, интересы землевладельцев и предпринимателей, а также чиновничества. Свое название получил от Манифеста 17 октября 1905 г. Создан в октябре 1905 – феврале 1906 г. Лидером Союза являлся А. И. Гучков.

50.

Право-либеральная центристская Партия мирного обновления была создана в июле 1906 г. графом П. А. Гейденом, Д. Н. Шиповым, М. А. Стаховичем, Н. Н. Львовым, князем Е. Н. Трубецким и др. и стала позже одной из основ думской фракции прогрессистов. Партия за конституционную монархию, стандартные либеральные права и свободы личности, за ограничение крупного землевладения и наделение земель малоземельного и безземельного крестьянства.

51.

Общественно-политический журнал «Московский еженедельник» издавался братом автора воспоминаний князем Е. Н. Трубецким в 1906–1910 гг. на деньги известной меценатки М. К. Морозовой. В каждом номере выходила статья Е. Н. Трубецкого, кроме него также в журнале

достаточно часто публиковались князь Г. Н. Трубецкой (автор воспоминаний), С. Н. Булгаков, А. Ф. Фортунатов, М. Н. Гернет, П. Б. Струве и др.

52.

Собственно, Особое совещание при Главкоме и выполняло функции правительства при генерале М. В. Алексееве, а затем при генерале А. И. Деникине. Было создано 31 августа 1918 г. как высший орган гражданского управления на территориях, подконтрольных войскам Добровольческой армии (позже ВСЮР). 15 февраля 1919 г. было утверждено Положение об Особом совещании, которое стало выполнять объединенные функции Совета министров и Государственного совета. 30 декабря 1919 г. Особое совещание было преобразовано в правительство при Главкоме ВСЮР. Маслов в Особом совещании возглавлял Управление продовольствия.

53.

С. А. Лопухин скончался 18 февраля 1911 г.

54.

М. А. Лопухина, двоюродная бабка автора, скончалась когда ему было около 4 лет, поэтому помнить ее он практически не мог.

55.

Автор ошибается, матерью А. С. Озерова была не Екатерина, а Наталья Андреевна Озерова, урожденная княжна Оболенская (1812–1902).

56.

На самом деле граф А. П. Капнист был избран предводителем дворянства Мглинского уезда Черниговской губернии.

57.

Автор не совсем точен. После возвращения на службу граф А. П. Капнист 25 января 1916 г. был назначен офицером для поручений и и. д. помощника начальника Морского штаба Верховного главнокомандующего. В июле 1916 г. Капнист был назначен начальником Управления Беломоро-Балтийским районом с правами командующего неотдельной армией. 27 июля 1917 г. – и. о. начальника Морского генштаба, с 8 сентября 1-й помощник морского министра.

58.

Князь Н. П. Трубецкой был выпущен из камер-пажей 14 августа 1847 г. коллежским секретарем и воспитывался дома. 24 мая 1849 г. он был определен на службу в прапорщики лейб-гвардии Преображенского полка, из которого уволен капитаном в 1856 г. См.: Фрейман О. Р. Пажи за 185 лет: Биографии и портреты бывших пажей с 1711 по 1896 г. Фридрихсгамн, 1894–1897. С. 422.

59.

Имеется в виду медаль «За усмирение Венгрии и Трансильвании», 1849 г. В то же время надо отметить, что эта медаль в бронзе не выдавалась, а была серебряной. Либо же, имеется в виду памятная настольная медаль (серебро и бронза), которая, впрочем, выдавалась лишь генералам и старшим штаб-офицерам.

60.

Князь Н. П. Трубецкой состоял адъютантом командующего запасными частями Гвардейского корпуса (наименование должности неоднократно менялось: командующий запасными батальонами, инспектор запасных гвардейских, резервных и запасных гренадерских батальонов, командующий гвардейским резервным пехотным корпусом и др.). А. И. Барятинский был переведен на Кавказ 22 июля 1856 г., именно тогда Трубецкой и оставил военную службу.

61.

Имеется в виду Русское музыкальное общество (с 1868 г. – Императорское), открытое в 1859 г.

62.

Князь П. Н. Трубецкой был назначен Калужским вице-губернатором 5 ноября 1876 г.

63.

Имеется в виду миссионерское братство Калужской епархии, носившее название Братство Святого Апостола Иоанна Богослова. Открытие братства состоялось 25 февраля 1879 г. Согласно Устава, оно ставило перед собой задачи: «а) разъяснение истин веры и правил благочестия; б) заботливость об искоренении предрассудков, суеверий и маловерия; в) возвращение на путь истинной православной церкви заблудших и уклонившихся от нее наших ближних, главным образом, так называемых старообрядцев; г) оказание христианской благотворительности, благоустройство и устройство церковно-приходских школ». В первый состав Совета братства вошли ректор семинарии архимандрит Мисаил (председатель), член Калужского окружного суда В. И. Станкевич и инспектор семинарии Д. Е. Лужецкий (товарищи председателя), кафедральный протоиерей А. М. Колыбелин, вдова полковника С. А. Загряжская, княгиня С. А. Трубецкая (мать автора воспоминаний), протоиерей калужской Предтеченской церкви И. Д. Любимов, Калужский уездный предводитель дворянства Н. С. Яновский, преподаватель семинарии И. И. Никольский, супруга товарища прокурора Калужского окружного суда В. В. Сперанская, управляющий Калужской контрольной палатой Ф. Н. Щеглов и дочь статского советника Е. С. Унковская.

64.

Имеется в виду гравюра с картины Н. Е. Сверчкова «Николай I в санях» (1895).

65.

Мыло с добавлением эфирного масла из опопонакса, имеющего сладковато-древесный аромат с насыщенными пряными и бальзамными нюансами. Масло широко использовалось в парфюмерии и стоило довольно дорого. В данном случае, скорее всего, имеется в виду мыло, выпускавшееся фирмой Брокара.

66.

Дом Кологривовых (усадебный купца Золотарева) – памятник русского классицизма, сегодня – одна из главных достопримечательностей Калуги. Построен в начале XIX в. От Золотаревых дом перешел по наследству к купцам Черновым, в конце XIX в. он был куплен нотариусом Александром Ивановичем Кологривовым. До 1919 г. в здании располагалась нотариальная контора, а с 1922 г. и поныне – Калужский областной краеведческий музей (улица Пушкина, д. 14).

67.

Герой походов в Среднюю Азию генерал М. Г. Черняев, издававший в Санкт-Петербурге журнал «Русский мир», в 1876 г. недолго занимал пост главнокомандующего сербской армией, поднявшейся против Османской империи. Хотя под давлением русской дипломатии Черняев и был вынужден вскоре покинуть Сербию, его имя было чрезвычайно популярно в России, где он стал символом славянского единства и братства.

68.

Третьеэлементщик, то есть представитель «третьего элемента», так в России называли разночинную интеллигенцию, служившую по найму в земских учреждениях, в отличии от первого (правительственные и административные чиновники) и второго (земского выборного) элементов. Большинство представителей третьего элемента было настроено либерально или даже антиправительственно.

69.

М. Ф. Шиллинг окончил юридический факультет Московского университета и в 1894 г. поступил на службу в Министерство иностранных дел. С 1897 г. 3-й секретарь канцелярии министра иностранных дел, с 1899 г. 2-й секретарь посольства в Вене. В 1902–1908 гг. представитель российского консульства в Ватикане. В 1908–1911 гг. 1-й секретарь российского посольства в Париже. В 1911 г. назначен директором Канцелярии министра иностранных дел. С 1 июля 1914 г. советник (начальник) 1-го политического отдела Министерства иностранных дел и начальник Канцелярии министра. 21 июля 1916 г. освобожден от должности и назначен сенатором, однако 20 сентября 1916 г. также назначен состоять по ведомству Министерства иностранных дел.

70.

1 июля 1914 г. Трубецкой был назначен советником (начальником) 2-го (ближневосточного) политического отдела Министерства иностранных дел.

71.

Имеется в виду Георгий Яковлевич Извеков (1874–1937), позже – протоиерей, духовный композитор. 23 ноября 1937 г. он был приговорен к расстрелу «тройкой» при УНКВД СССР по Московской области за «контрреволюционную фашистскую агитацию» и 27 ноября расстрелян на Бутовском полигоне. 24 декабря 2004 г. определением Священного Синода причислен к лику священномучеников.

72.

Имеется в виду XV Всероссийская художественно-промышленная выставка, для которой были специально выстроены павильоны на 30 гектарах на Ходынском поле в Москве. Общее количество участников достигло 5813. Уникальная экспозиция, насчитывавшая 6852 партии предметов, была тематически разбита на 14 отделов и 121 группу. Выставка открылась 20 мая и закрылась 1 октября 1882 г.

73.

Графиня С. В. Толстая унаследовала в 1875 г. Узкое после смерти мужа, графа В. П. Толстого, вместе с его племянницей графиней Марией Егоровной Орловой-Давыдовой, урожденной графиней Толстой (1843–?). По разделу наследства между ними единоличной владелицей Узкого стала С. В. Толстая. Она, в свою очередь, в апреле 1883 г. передала Узкое своему племяннику и воспитаннику князю Петру Николаевичу Трубецкому. Официально была составлена купчая крепость: имение площадью 214 десятин с господским домом, флигелями

и большими и многочисленными хозяйственными постройками было оценено всего в 3500 рублей.

74.

Церковь Бориса и Глеба на Поварской была возведена в 1802 г. в стиле классицизма. Церковь была закрыта в начале 1930-х гг. по постановлению Моссовета и в 1936 г. разрушена. На ее месте сейчас находится здание Российской академии музыки имени Гнесиных.

75.

Антон Степанович Апраксин (1817–1899), граф, флигель-адъютант (1856–1860), генерал-майор Свиты Е. И. В. (1860); известен как один из первых в России воздухоплателей.

76.

Мраморная статуя пророка Моисея (высотой 235 м) работы Микеланджело занимает центральное место в скульптурной гробнице папы Юлия II в римской базилике Сан-Пьетро-ин-Винколи. Это одна из самых известных работ скульптора.

77.

Частная гимназия, основанная С. Н. Фишер в 1872 г. и устроенная по образцу мужских. С 1874 г. располагалась в доме А. И. Держинской во 2-м Ушаковском (ныне Хилков) переулке, дом 3.

78.

Имеется в виду проведенная в 1837–1841 гг. по инициативе министра государственных имуществ П. Д. Киселева реформа управления казенными имуществами и государственными крестьянами. Целью реформы было создание на местах системы крестьянского самоуправления, размежевание земель (для борьбы с малоземельем и уравнивания возможностей крестьянских хозяйств), систематизация начисления и сбора налогов в деревне, строительство в деревнях (за счет самих крестьян) больниц, школ, церквей, дорог. Результатом реформы стало увеличение чиновничьего аппарата, содержать который приходилось самим крестьянам, установление полного контроля полицейского-бюрократического аппарата за деревнями и, как следствие, чиновничий произвол и коррупция, резкий рост налогов, вызвавший крестьянские бунты в государственных деревнях в 1841–1843 гг.

79.

Литературный персонаж, созданный И. П. Мятлевым в его сатирической поэме «Сенсации и замечания госпожи Курдюковой за границую, дан л'этранже», представляющей собой сборник рифмованных путевых очерков, написанных от имени тамбовской помещицы Акулины Курдюковой, путешествующей по Европе и изъясняющейся на смеси русского языка с иностранными, зачастую искаженными, словами и выражениями.

80.

В 1892 г. князь В. Н. Гагарин был назначен членом совета Строгановского училища.

81.

Имеется в виду Виктор Вильгельмович фон Валь (1840–1915), петербургский градоначальник в 1892–1895 гг. Подчиненным отца Семена Унковского фон Валь был, когда занимал в 1876–1878 гг. пост ярославского вице-губернатора, а И. С. Унковский 1861–1877 гг. был ярославским губернатором.

82.

В Уголовном уложении Российской империи (1903 г.) ростовщичество считалось преступлением. В нем приводятся следующие признаки ростовщических сделок: 1) если заемщик вынужден своими известными займодавцу стеснительными обстоятельствами принять крайне тягостные условия ссуды; 2) сокрытие чрезмерности роста включением его в капитальную сумму под видом неустойки, платы за хранение; 3) ссуда в виде промысла на чрезмерно обременительных условиях «сельским обывателям» за вознаграждение частью хлебом, а также скупка хлеба у крестьян по несоразмерно низкой цене при заведомо тяжелых обстоятельствах продавца (этим обычно занимались еврейские факторы). Согласно закону, чрезмерным признавался рост выше 12 % годовых. Ростовщики, чья вина была доказана, наказывались тюрьмой или исправительным домом.